ISSN 0027-8238

Пятидесятилетие Победы

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№3 1995

50-летию Победы посвящается

* * *

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет...

Александр ТВАРДОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей России
Издательско-производственное
объединение писателей России
Международный фонд
славянской письменности и культуры
Сотрудники редакции
и члены Совета редакции

№3 1995

МОСКВА

Содержание

Компьютерная верстка М. Г. Акколаевой
Операторы Ю. Г. Сотова, Н. А. Полякова
Корректоры С. А. Артамонова, С. Н. Извекова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222.
Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 32.
Телефоны: 200-24-24 (секретариат); 200-23-88 (отдел прозы); 200-24-90 (отдел поэзии);
921-4[illegible] (отдел очерка и публицистики; отдел критики);
921-43-59(технический центр); 200-23-05 (факс).
Сдано в набор 01.02.95. Подписано в печать 07.03.95. Формат 70 x 108 1/16.
Бумага газетная. Офсетная печать. Усл.печ.л. 16,8. Усл. кр.-отт.17,5. Уч.-изд. л. 18,9.
Тираж 28 937 экз. Заказ 297.
103750, Цветной бульвар, 32.
Ордена "Знак Почета" типография "Красная звезда", 123826, ГСП,
Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ

50-летию Победы посвящается

МИХАИЛ ТИМОШЕЧКИН

ВОЕННЫЙ АРХИВ

Война, она такое дело,
О ней не вспоминать нельзя.
Та память нам не надоела,
Как мыслят некие “друзья”.

Ее события и даты
Огнем вошли в сердца людей.
Еще живут ее солдаты,
Хранители святых идей.

Еще в душе не охладела
Страда, какой жила страна...
Война — она такое дело,
С ней шутки в сторону, она
Так припечатает однажды,
Так за душу тебя возьмет —
Пьешь не напьешься, мучим жаждой,
Военных сводок горький мед.
В неиссякаемом порыве,
По воле собственной своей
Весь отпуск проведешь в архиве
Во имя тех, ушедших дней,
Чтоб знать все точно, все как было
Там, у сгоревших деревень,
И как оно происходило
И в первый и в последний день,

Где спят в земле, как побратимы,
Красноармеец и комбат,
И сколь потерь невозвратимых,
И кто где рос из тех ребят...
И, чью-то проследив судьбину
По меткам в наградном листу,
Найти среди дорог к Берлину
И лично взятую версту.

Над картами, забыв про отдых,
Корпишь — крюком не оторвать!..
И — да воскреснет новый подвиг!
О сыне пусть узнает мать.

БЫЛИ ЭТО ВСЕ ЖИВЫЕ ЛЮДИ...

Памяти Степана Григорьевича Брюнина, Андрея Ивановича Ныркова, Ивана Афанасьевича Рыжова и других односельчан, павших в битве под Москвой

Были это все живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
Мужики убитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты,
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
Неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Жуткие осенние недели.
Враг у подмосковных деревень.
У орудий серые шинели
Начинали новый трудодень.

Бить по танкам не простое дело.
Все кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастерках прикипела,
Будто на току, на молотьбе.

На руках тяжелые снаряды,
И на лицах копоть, как смола.
Никакой награды им не надо.
Лишь бы только Родина жила.

Тяжела их ратная работа,
Но работать им не в первый раз:
И родились в поле у ометов,
И встречают тут последний час.

Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые — с иголочки — шинели
Теплая пропитывает кровь.

Потонула даль в дыму и гуде.
Враг отброшен. Враг бежит назад.
В новеньких шинелях у орудий
Пахари убитые лежат.

* * *

...А я боялся на войне,
Чтоб сдуру в плен не захватили
И чтоб случайно не убили
От взвода где-то в стороне.
И в охраненье боевом
Чтоб след мой вдруг не затерялся,
Чтоб мертвым я не распластался
Пред торжествующим врагом...

АПРЕЛЬ

Стоял апрель. Взбухали реки,
Жизнь пробуждалась ото сна.
Рождалась в каждом человеке
Одна великая весна.

Не перекликом журавлиным
Она была для нас близка, —
Гремел апрель, и шли к Берлину
Смертельно храбрые войска.

СТИХИ

Стихи как память о войне...
Они еще стучатся в сердце
И продолжают жить во мне,
Суровые единоверцы.

Они людей тревожить душу
Хотят с другими наравне
И ждут, чтоб кто-то их послушал,
Стихи солдата о войне.

Кому-то, может быть, дано
Найти в них родственные чувства,
Приметив в закромах искусства
Мной принесенное зерно.

Взращенные, подобно злакам,
Средь избяных крестьянских стен,
Они еще идут в атаку,
Чтоб никогда не сдаться в плен.

НИКОЛАЙ ЗУСИК

СНЫ

Война... и под набрякшим небом,
Уже не мысля ни о чем,
Давлюсь холодной пайкой хлеба
Я над блокадным котелком...

Опять мне снится Пискаревка,
И снизу вижу я потом,
Как погребальная веревка
Еще колеблется над рвом...

Не караваи снятся хлеба,
Не колосистые поля,
А та, засеянная с неба,
Вся в ржавых брустверах земля.

Не снятся мне друзья живые,
С кем я лишения забыл,
А снятся вечно молодые,
С кем только смерть не разделил...

* * *

Хотелось жить, хотелось жить
В простом достатке.
Мальцам родимым теребить
Льняные прядки.

Хотелось всем до одного —
Четыре года! —
Дойти до дома своего,
До стен завода...

Хотелось все вернуть, что брал,
И дать не меньше;
Отжечь в крови своей металл
Дыханьем женщин...

Хотелось выбиться — не в ранг! —
А в ширь натуры
Бросавшим молодость на танк
И амбразуры...

Идущим в рост и на таран
Сквозь озверелость
И умирающим от ран
Так жить хотелось!..

* * *

Неясного значения полна,
По людным госпитальным коридорам
Зловеще нарастала тишина,
Кладя предел неспешным разговорам.

И вот оно — лазутчицу врага
Охрана между нами проводила...
Она в тот зимний вечер с чердака
На цель бомбардировщик наводила.

Она ступала твердо и легко,
Отбрасывая шагом полы шубы.
И голову держала высоко,
Чуть-чуть кривя обветренные губы...

В палаты молча возвращались мы.
И молча ели свой блокадный ужин.
Я снова слег. В начале той зимы
Я за Невой был ранен и контужен.

Не поднимая сумеречных век,
Я вновь и вновь усмешку злую видел.
Всего одну за свой жестокий век
Я женщину смертельно ненавидел.

ПОБЕДА

Не забывайте зла военных лет.
Не возводите в мифы достоверность!
Четыре года шла солдатам вслед
Кровавыми шагами повседневность.

Не говорите громкие слова
Тем, кто присяге с молодости предан.
Не отживет высокая молва
О тех, над кем склоняется Победа.

Не возвращайте нас к делам былым,
Не бередите старых ран невольно.
Героев чтите павших. А живым...
Живым сыновней верности довольно.

СЛЕД

И то, что был я молод и порывист,
Но, не теряя власти над собой,
Ни на вершок сомнительный не вылез,
Не заскочил ни перед чьей судьбой;

И то, что, свой передавая опыт,
Не подавлял я ум ученика;
И то, что я протопал пол-Европы,
Но не басил об этом свысока;

И то, что был я скучным инвалидом,
Своих походов прерывая счет, —
Все так и шло. И никаких там видов
Я не имел на будущий почет...

Ведь то, что в Ленинграде я испытан
В рядах блокадных сверстников своих,
И то, в чем был я Родиной воспитан,
Дойдет и так до правнуков моих.

ПУТЬ

Еще в давно минувшем сорок пятом,
В пути домой из сопредельных стран,
Досрочно возмужавшего солдата
Сопровождало слово "ветеран".

В дыму годов и лязге пятилеток
Мы стали ветеранами труда.
И дух наш бодр и по-солдатски крепок,
Но силы не такие, как тогда...

Бестрепетно, когда плывут туманы
Над слякотью заезженных дорог,
По одному уходят ветераны
По целине в последний марш-бросок...

Еще не отрешенными глазами
Оглядывая мирный отчий край,
Товарищи, я следую за вами
И потому не говорю "прощай".

ОКТЯБРЬ БУРДЕНКО

МАРШЕВАЯ РОТА

Гудит над бараками ветер, —
Для нас он еще не умолк.
И нам всех дороже на свете
Запасный стрелковый наш полк.

Нас учат, и учат, и учат,
Нам все здесь постигнуть дано!
Пропарывать брюхо у чучел
И резать спирали Бруно.

И сколько же длиться ученьям?..
Но прост командиров ответ:
— Не вечно стрелять по мишеням
И строем ходить на обед...

Нам было тогда по семнадцать —
Молоденький пылкий народ.
На плац приходили прощаться
Мы с каждой из маршевых рот.

Минуй нас, салют поминальный,
Всех двести на гулком плацу...
И марш вышибальный, прощальный
Нас медью хлестал по лицу.

В преддверии 50-летия Великой Победы мы продолжаем знакомство наших читателей с творчеством малоизвестных поэтов-фронтовиков, начатое публикацией в февральской книжке глав из поэмы "Дом" Юрия Лабренцева. Сегодня мы предоставили страницы Михаилу Тимошечкину, Николаю Зусику, Октябрю Бурденко. В очередных номерах надеемся напечатать стихотворения Виктора Авдеева, Анатолия Головкова, Бориса Тедерса и других воинов, полной мерой хлебнувших окопного лиха, на себе изведавших беспощадность вражеского железа, чудом оставшихся в живых, все свои невозвратные годы (на огненной передовой и в послевоенные пятилетки) положивших на алтарь героического Отечества. Низкий поклон им за незнаменитую, но достойно прожитую жизнь! Нам есть кого помнить. Нам есть у кого учиться. Без правдивой и замечательной лирики этих поэтов образ русского советского солдата, воспетый А. Твардовским, А. Недогоновым, С. Гудзенко, М. Дудиным, С. Орловым, С. Наровчатовым будет, на наш взгляд, неполон. Поэтому — слово фронтовикам.

Редакция

К 100-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

ДЕВЯТАЯ КНИГА

Наконец-то закончена книга о судьбе Есенина. Ее история—чуть ли не история всей жизни. Мысли о ней зародились в разговорах с Беловым, Рубцовым, Передреевым, Кожиновым в начале шестидесятых. Они продолжались после поездок на Рязанщину, в Грузию, в Баку. Сердцевина книги определялась в моих стихах и статьях о Есенине шестидесятых—восьмидесятых годов. И наконец—последние семь самых трудных лет: работа над архивами ЧК—ОГПУ—НКВД, спецхраны и спецфонды ЦГАЛИ и ИМЛИ, частные архивы, ставшие доступными зарубежные издания и публикации. Слава Богу, в эти годы мне стал помогать сын Сергей. Вместе с ним в 1986 году мы издали первый по тем временам более или менее полный однотомник Николая Клюева с неопубликованными доселе стихами, с "Плачем о Сергее Есенине", с отрывками из "Погорельщины". Потом была антология "О Русь, взмахни крылами": стихи Есенина и его убиенных, забытых или полузабытых соратников, стихи, засыпанные временем и не публиковавшиеся никогда, краткие жизнеописания, в которых цензура еще не дала нам сказать, как и какой смертью погибло большинство из них. Затем последовали проза поэтов есенинского круга, антология крестьянских поэтов от Есенина до Рубцова, названная нами "Мы дети страшных лет России", однотомник прозы и мемуаров Пимена Карпова. Потом удалось издать в архангельском издательстве пока что единственную (после 1923 года) почти полную книгу стихотворений Алексея Ганина с подробным рассказом о его судьбе и смерти. И все это насыщалось новыми изысканиями, публикациями, документами. За восемь лет—семь книг. Восьмая — "Растерзанные" тени" — дела ЧК—ОГПУ—НКВД, заведенные на Есенина, его друзей и родных, окружавших поэта в течение жизни и прошедших через Лубянку,—выйдет через несколько месяцев в издательстве "Голос". Эти толстые дела с грифом "Совершенно секретно" мы читали все лето 1991 года и лихорадочно записывали их на магнитофон, когда архивы КГБ, готовящегося превратиться в ФСК, после августа начали закрываться для нас. Подготовка этого издания заняла около полутора лет, что также отодвинуло работу над книгой о Есенине.

Восемь книг—восемь лет работы отца и сына, перемежаемые поиском документов, поездками в Константиново, на клюевские места в Вытегру, в Архангельск, к еще живым тогда сестрам Алексея Ганина. И вот наконец рукопись девятой, главной книги—"Божья дудка". Девять кругов ада русской истории. Судьбе было угодно, чтобы книга была закончена к 1995 году, а не к 1992-му, как мы предполагали вначале. Слишком велики оказались объемы нового материала, слишком многое пришлось пересмотреть и переоценить. Оно и к лучшему: 1995-й — год есенинского столетия. Год и славный, и, видимо, роковой для России.

Итак, начинаем публикацию жизнеописания Сергея Есенина в нашем журнале, а к осени должна выйти книга в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей". Это не роман, а именно жизнеописание, завершающее все, что мы узнали о поэте, его друзьях, "о страшных летах России", которые продолжаются...

Станислав КУНЯЕВ

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ
СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

БОЖЬЯ ДУДКА

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?

Марина Цветаева

I

БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЕГЕНДА

Я ведь теперь автобиографий не пишу. И на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят!

С. Есенин в разговоре с В. Эрлихом.

“Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении: *Он мал, как мы, он мерзок, как мы*! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе...”

Эта отповедь Пушкина публике, казалось бы, универсальная и окончательная, оказывается вдруг несостоятельной, когда задумываешься о судьбе Есенина... Да, жизнеописание его, вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же, легендарно. И, конечно же, горы страниц о нем, написанные не только сильными мира сего — политиками, поэтами, актерами, художниками, но и “маленькими людьми” — обывателями, журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, чрезвычайно противоречивы. Во многих из воспоминаний поэт выглядит и алкоголиком, и психиче-

ски нездоровым человеком, и самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, и хулиганом, и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода — житейская правда. Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине как о “черном человеке” не в силах ни размыть, ни очернить, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. А в итоге сказочный облик поэта, слагающийся вот уже почти восемь десятилетий, не умаляется, а разрастается до гигантских размеров, до каких-то немыслимых масштабов, в которых так или иначе высвечиваются все его лучшие черты: гений, обаяние, ум, человечность, мужская стать, искренность... Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни “мелким”, ни “мерзким”, ни “подлым”. И никакому давлению официальной идеологии любых эпох — бухаринской, сталинской, ждановской, яковлевской, никаким усилиям русофобов или адептов казенного патриотизма, соцреализма или нынешнего национал-нигилизма неподвластна эта стихийная работа вот уже нескольких поколений.

Завершены в российской истории легенды о Лермонтове, о Некрасове, о Блоке. Кажется, окончательно оформились жизнеописания — с некоторыми блестками легендарности — Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Разве что легенда о Пушкине за последние годы была чуть-чуть потревожена титаническими усилиями Синявского, вылившимися в своеобразную “писаревщину” или “футурятину” восьмидесятых годов. Но по-настоящему полнокровной и цветущей жизнью дышит лишь есенинская легенда. Она все время выбрасывает новые весенние почки, разворачивается свежей листвой, пускает молодые корни, и никому неведомо — закончится ли ее цветение и когда? Возможно, что не раньше, чем закончится история России. Однако этих горизонтов мы пока не видим. И да не сочтет читатель нашу мысль кощунством, но есть большой соблазн вспомнить слова Гоголя о том, что Пушкин — “русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет”, и приложить их к Есенину. Поскольку история России и судьба русского человека прошли через такие испытания, которые не могли предугадать ни Пушкин, ни Гоголь, то именно есенинская жизнь в большей степени определяет сердцевину русской истории двадцатого века, нежели пушкинская. Есть великий соблазн сегодня поменять имя в пророчестве Гоголя и с дерзкой надеждой подумать: а может быть, сущность русской жизни и русского национального характера мы поймем тогда, когда завершится сотворение легенды о Есенине и когда мы окончательно поймем, что он есть для России. Как будто бы он — последняя роковая и самая крупная наша ставка. Оснований к этому не счесть. Русское время за последнее десятилетие переломилось еще раз, и даже в пророчества “ушедших и великих” Провидение вносит поправки. А в том, что именно Гоголь и Пушкин были бесспорными кумирами Есенина, есть тоже некое предначертание свыше. Ведь не случайно же, что крупнейшие поэты и писатели эпохи и в советской России, и в эмиграции, самые великие актеры, художники, скульпторы, самые значительные идеологи и политики сочли каким-то своим внутренним долгом, какой-то обязанностью оставить воспоминания о Есенине и что именно в них они делали свои предположения о будущем России, русского народа, русского человека.

Любопытно то, что даже многие именитые современники Есенина, хорошо знавшие его, чуть ли не на другой день после смерти поэта, отвернувшись от фактов и житейской правды, начали сочинять о нем бесконечную сказочную эпопею. Борис Пастернак, к примеру, знал о Есенине многое: его характер, его стихи, его быт, его странный роман с Айседорой, его чудачества и его порой весьма расчетливое отношение к жизни. Но пишет он о Есенине так, будто они разделены морем пространства и времени, словно о Байроне или Казанове: “Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке... Он, Иван-Царевичем на сером волке, перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами...”

Валентин Катаев попытался сочинить несколько легенд (“Алмазный мой венец”): о Пастернаке, о Юрии Олеше, о Владимире Маяковском, о Михаиле Булгакове, об Эдуарде Багрицком. Все эти жизнеописания, однако, как ни старался Катаев, не стали легендами, остались всего-навсего новеллами, написанными в стилистике легенды. У них не было предыдущей основы, ядра, к которому должны были бы прирасти эти новеллы, ибо легенда не сочиняется после смерти, она должна зародиться еще при жизни. Но совершенно естественно то, что лишь рассказ Катаева о “королевиче” Есенине как бы “прилип” к медленно катящему-

ся есенинскому снежному кому согласно тайным законам притяжения легендарных молекул к уже существующему атомному ядру воспоминаний. Сейчас уже почти невозможно разобраться, где сам Есенин осмотрительно или легкомысленно заронил зерна своей легенды, а где их сеяли его современники. На первых шагах, когда двадцатилетний поэт всего лишь на два неполных месяца приехал в Петроград, он побывал в нескольких редакциях, встретился с Блоком, Городецким, выступил на нескольких поэтических вечерах, был принят в салоне у Зинаиды Гиппиус. Но тут же по литературному Петрограду поползли слухи. Вот как вспоминает о них один из современников: "О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренёк, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом... О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно, Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а, главное, больше устраивала всех".

Создается впечатление, что литературная столица ждала пришествия некоего поэтического "мессии" из народа и признала его в Есенине. Один из рецензентов даже написал: "Это была нечаянная радость". С осторожностью вспомним, что "Нечаянная Радость" для людей той эпохи была не только названием блоковской поэтической книжки, но и чтимым в России иконописным образом Богородицы. Дальше, как говорится, было некуда. Поэт сразу же почувствовал какую-то почти религиозную основу интереса к себе. Он тут же рассказал Александру Блоку, что происходит из "богатой старообрядческой семьи", потом повторил И. Розанову, что его дед был "старообрядческим начетчиком", который знал "множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них".

Однако дед поэта по отцу Никита Осипович Есенин умер еще до рождения Сергея, а дед по матери Федор Андреевич Титов был отнюдь не книгочеем, а лихим крестьянином, владельцем нескольких барж и, не думая о священных книгах, после удачных заработков гулял по неделе с земляками. Как вспоминает Екатерина Есенина, "бочки браги и вино ставились около дома:

— Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные!—говорил дедушка.—Нечего деньгу копить, умрем—все останется... Давай споем!"

А когда сам И. Розанов в 1926 году приезжал в Константиново, дед поэта откровенно говорил, что к никаким раскольникам он непричастен, что духовных стихов почти не знает, а его сын вообще заметил, что в их селе никаких раскольников и старообрядцев в помине не было.

Но ведь уже после смерти Есенина Сергей Городецкий, выступая на одном из вечеров памяти поэта, заявит, что "от деда начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои песни"!

Легенда о Есенине такова, что если этот сказочный мешок опрокинуть, то содержимое будет сыпаться из него бесконечно. Высыпятся десятки сообщений из газет 1915 — 1917 годов о молодом крестьянском поэте, который "ведет мужицкое хозяйство" и "пашет землю". Ни тем ни другим Есенин в жизни не занимался. Посыпятся слухи о близости Есенина к царской семье. Дело это настолько запутано и мифологизировано, что до сих пор не просто разобраться, кому Есенин читал стихи 22 июля 1916 года — вдовствующей Императрице Марии Федоровне или Императрице Александре Федоровне и кто из царевен находился при этом, и чем наградили поэта за чтение стихов — то ли золотыми часами с орлом, то ли перстнем с изумрудом, который якобы до сих пор хранится у троюродной сестры поэта.

А одна из мемуаристок вспоминает о том, что Есенин рассказывал ей, как Великая княжна Настенька Романова выносила ему с черного хода царскосельской кухни горшочек со сметаной, которую они съедали с царевной "одной ложкой поочередно". "Какая глупость!" — скажет трезвый читатель. Но для мистика в этом фантастическом сюжете не случайно даже то, что, сочиняя подобную историю, поэт выбрал из четырех княжен именно Анастасию, которая потом якобы спаслась от расстрела и недавно скончалась в Англии с ореолом то ли наследницы престола, то ли самозванной авантюристки. Не случайно и то, что именно Анастасия Романова "воскресла" в гениальной "Погорельщине" "антимонархиста" Николая Клюева в облике спившейся, опозоренной, изнасилованной, забывшей свое имя России. Любая выдумка, любая оговорка, любая блажь Есенина таинственным образом обретали дальнейшую судьбу. Любая фантазия — и его собственная, и чужая — как репей, прилипала то к его голубой с крестиком "а ля рюс"

рубашке, то к пушкинской крылатке, то к европейскому модному костюму, то к его родным и близким, то вообще к русской истории. Аж страшно подумать—почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая, а может быть, наоборот, такая тяжелая рука.

В пирамиду есенинской легенды вложили свои камушки чуть ли не все, кто встречался с поэтом: друзья и недруги, русские и евреи, родные и близкие, коммунистические идеологи и столпы белоэмигрантской литературы: Георгий Адамович, Георгий Иванов, Роман Гуль, Ирина Одоевцева. Не говоря уж о Максиме Горьком. Доходило до курьезов. Так, например, трагикомически, вплоть до повторения эпитетов и проклятий, совпало отношение к Есенину Ивана Бунина и Николая Бухарина. То, что сказал о Есенине Бухарин—как о поэте "некрофилии", "жарких свечей", "пьяной икоты", "мордобоя", "российской матерщины", "сисястых баб", "шовинизма", — все или почти все подобными же словами повторил великий русский писатель Иван Бунин. Какой уж тут "златокудрый Лель" и "светлый отрок"! (Бедный Жданов—как он ни старался, из-под его пера не вышло никакой легенды ни об Ахматовой, ни о Зощенко!) История—коварна. Ну, скажите, кому сейчас интересны труды интеллектуала академика Бухарина "Азбука коммунизма" или "Экономика переходного периода"? А "Злые заметки" живут и останутся в истории лишь потому, что они замешаны на нескольких капельках живой есенинской крови, добытой Бухариным из разрезанной руки поэта. А кому интересна груда литературно-идеологического хлама, нагроможденная в свое время усилиями Троцкого, Луначарского, Сосновского? Достойно изучения лишь то, что они сочиняли о Есенине...

В последние годы переизданы почти все книги Анатолия Мариенгофа. Но читаешь их и видишь, что заслуживает внимания только то, что он писал о Есенине. Однажды отец Есенина Александр Никитич, вернувшийся из Москвы, на вопрос матери поэта — видел ли он "Мерингофа" — с простодушной крестьянской проницательностью ответил: "Ничего молодой человек, только лицо длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея"... Вот и получилось так, что до сих пор кормились и в необозримом будущем все эти мерингофы, бухарины, сосновские, шершеневичи, крученых и иже с ними обречены "кормиться возле нашего Сергея"...

Поскольку в обиход снова вошла легенда о Есенине, сотворенная Мариенгофом, не обойтись и без свежих комментариев к ней. Один из нынешних публикаторов "Романа без вранья", размышляя о неоспоримых достоинствах мариенгофских воспоминаний, настаивает, что они "достоверны", что они "незаменимый источник для изучения биографии Есенина" и т. д.

В конце концов можно согласиться с публикатором, что обвинения современников "в оскорблении памяти поэта" несправедливы и что ни в коей мере нельзя считать мемуары "пасквилем"...

Но тем не менее какое-то общее неприятие современниками Есенина мариенгофского "Романа" не случайно. Просто никто из них не сформулировал в свое время, почему мемуары как бы недостойны Есенина. Попробуем это сделать мы.

В одном из эпизодов "Романа без вранья" Мариенгоф рассказывает несвежий, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура: об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и два раза в день поливать в течение трехсот лет. В заключение Мариенгоф легкомысленно заявляет: "Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского".

Не коренной русский человек Анатолий Мариенгоф мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что стало известно из ее мемуаров, опубликованных совсем недавно.

Они сидели втроем — Есенин, Мариенгоф и Вольпин — возле чугунного Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал.

— Ну, как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?

Вольпин ответила:

" — Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь как на ладони, да и я для вас... (тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа). Мы с вами против него, как бы только двумерны. А Сергей... Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!

— Как это?

— Нашей с вами почве—культурной почве—от силы полтораста лет, наши корни — в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя и новая. Мы с вами россияне, он — русский.

(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)

Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что кроме "девятнадцатого века" во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на две тысячи лет?

Сергей слушал молча, потом встал.

— Ну, а ты, Толя? Ты-то ее раскусил?

Ассимилированный в русскую жизнь в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уже о Сергее Есенине. Но надо обмолвиться, что для Вольпин ее двухтысячелетняя культурная традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать ей как литератору никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма "россиян", подобных Вольпин. Кстати, гораздо более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа.

А главный изъян его мемуаров не в "пасквильности" или "вранье", а совсем в другом. "Моя Пенза" — "есенинская Рязань", "Эпоха Есенина и Мариенгофа", "Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу "Пугачева"... Я привез первое действие "Заговора дураков"... Или вот еще: "Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой "Буян-остров" был издан к осени..."

Ну кто сейчас помнит "мариенгофскую Пензу", "Заговор дураков", "Буян-остров"?! Но не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф от первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он—величина, равновеликая Есенину! Он просто лезет как равный в есенинскую легенду. Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил:

— А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжельше Большого театра.

Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы!

"Мне нравился Клюев, — вспоминает Мариенгоф, — ... и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом... и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере".

В этом отрывке Мариенгоф выступает как черный человек по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и, в сущности, рисует свой автопортрет — циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не "великая фальшь", Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь "мистическим ряжением". Потому-то как литератор он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии.

Когда же Есенин понял суть своего друга и его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре:

"Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

— А я тебя съем!

Есенинское "съем" надлежало понимать в литературном смысле.

— Ты не Серый волк, а я не Красная шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку...

Скрипнул челюстями:

— А все-таки... съем!..

Вот наша ссора. Первая за шесть лет".

Мариенгоф не понял, что это не ссора — а конец игры в "двух гениев". Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. "Я тебя съем" означало: "все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия — "великая фальшь", а для меня — жизнь и смерть..."

"Роман без вранья"—не столько завистливая книга (зависть пришла позже, в 50-е годы, когда всем стало ясно, что автор—лишь одна из теней есенинского окружения), сколько глупо-самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Мариенгоф в "Романе" творил не только "легенду о Есенине", но и о самом себе, причисляя "себя любимого" к сонму бессмертных.

Самовлюбленная пошлость Мариенгофа особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: "А Есенин на другой день после смерти догнал славу". Это очень похоже на лихорадочно-завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил...

Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы... Наивные люди! Да не Есенин после смерти догнал славу—она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить.

"Хам", "матерщинник", "хулиган" и "златокудрый Лель", "светлый отрок" — два крупнейших полюса легенды. А всех мелких оттенков не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью и якобы найденная утром 28 декабря 1925 года в "Англетере", о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что "Послание евангелисту Демьяну"— одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 20-х годов—принадлежит перу Есенина. Оно не раз печаталось за рубежом как принадлежащее Есенину, и Екатерина Есенина в 1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат — автор "антисоветского" православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легендой не поверил ей. Чтобы показать диапазон легенды — "от великого до смешного", вспомним напоследок, что маститый литературовед Давид Бурлюк перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал о подробностях жизни поэта: "Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки..."

"Дар поэта — ласкать и карябать, роковая на нем печать", — сказал поэт о себе. Но роковой печатью отмечены так или иначе все, кто прикасался к Есенину и его судьбе. И в этом также таятся суеверные корни есенинской легенды. Судьба многих друзей и недругов Есенина, судьба его родных и близких поистине страшна. В начале "перестройки" в 1987 году один казенный членкор, литературовед, наводя тень на плетень, писал о том, что коммунистическая власть преследовала среди писателей только революционеров-новаторов. "Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали, больше того, они Сталину были нужны".

Эту же точку зрения сформулировал 30 лет тому назад И. Эренбург в мемуарах "Люди. Годы. Жизнь". Он писал: "Вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу... вскоре в "формалистических вывертах" оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов".

Чего в этом утверждении больше, лжи или невежества — сказать трудно, если вспомнить о стихах Пастернака, прославлявших Ленина и Сталина, о лакейском романе Катаева "За власть Советов", об эпопеях Эренбурга, отмеченных сталинскими премиями, о ленинских панегириках Тихонова. Все перечисленные страдальцы (за исключением Бабеля и Заболоцкого), кто относительно, а кто абсолютно, прожили благополучные жизни и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве с Брежневым. Дотошный летописец эпохи и маститый литературовед забыли, что в первое советское двадцатилетие была под корень сведена именно самая "традиционная", народная, есенинская ветвь русской литературы. Расстреляны Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Иван Макаров, Наседкин, Иван Катаев, Иван Приблудный, Павел Васильев, Иван Касаткин. Вместе с ними погибли двое самых заметных рабочих поэта той эпохи — Кириллов и Герасимов, любившие Есенина и сотрудничавшие с ним... Расстрелян товарищ есенинской юности поэт Леонид Канегиссер. Он, в сущности, первый, на ком была поставлена роковая печать уже осенью 1918 года.

Повесился в 1932 году при невыясненных обстоятельствах свидетель последних часов жизни Есенина, его многолетний враг-приятель Георгий Устинов.

Расстрелян в 1937 году автор книги "Право на песнь" поэт Вольф Эрлих.

Отбыла северную ссылку близкая поэту женщина Анна Берзинь.

Умер в карагандинской ссылке товарищ Есенина Александр Сахаров.

А о родных и близких и говорить нечего. Расстрелян в 1937 году его сын-первенец Юрий Есенин. Вкус сумы и тюрьмы узнала сестра Екатерина. Зверски была зарезана в своей квартире мучительная любовь поэта, мать его двоих детей Зинаида Райх...

Бениславская, Блюмкин, Сосновский, Андрей Соболь, Маяковский, Цветаева, Айседора Дункан—все они, "убийцы, самоубийцы, невинно убиенные", которые "прошли, как тени", так или иначе коснувшись есенинского огня, навеки, каждый по-своему, остались жить в есенинском мире. Хотим мы этого или не хотим, но есть нечто неслучайное в том, что круг людей, превратившихся, по словам Пимена Карпова, в "растерзанные тени", круг теней, бывших друзьями, врагами, любовницами, собутыльниками и гонителями Есенина, так необъятен. В этом кругу и его счастливый соперник Всеволод Мейерхольд, и его партийный покровитель Киров, и расстрелянный ЧК адъютант императрицы полковник Ломан... Несть им числа.

"Особую мету" близости к Есенину признавали даже те из его друзей, которые, как говорится, никогда не верили "ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай". Анатолий Мариенгоф в книге "Мой век, мои друзья и подруги" вспоминает о том, как Есенин, вернувшийся из-за границы, увидел новорожденного сына Мариенгофа и решил окрестить его:

"Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются."

Крещение не состоялось, но в 1940 году, как пишет Мариенгоф, "Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный..." Повесился...

Под грудой мемуаров о Есенине можно задохнуться. Особенно сегодня, когда разом опубликовано все, что копилось в спецхранах, в архивах, в частных собраниях, в книгах, изданных когда-то в Берлине, Нью-Йорке, Париже и наконец-то пришедших к нам. Многие новые изыскания из жизни поэта, вроде бы должные заполнить "белые пятна" его судьбы, еще больше усложняют и затемняют ее. Так, в одной из недавно вышедших книг можно прочитать о матери Есенина следующее: "Несчастна была Татьяна. Полюбила она парня, забеременела от него, но что-то не сладилось у молодых. А тут Александр Есенин уже в который раз добивался ее руки. Вышла замуж без любви. Муж обещал скрыть позор, но разве что утаишь в деревне".

В этом же исследовании описываются две встречи Есенина со Сталиным. Во время первой вождь якобы уговаривал Пастернака, Есенина и Маяковского заняться переводами на русский язык грузинских поэтов ("Сталин с кавказской гостеприимностью угощал их чаем, фруктами и вином"), а во время второй встречи, на которой Есенин должен был читать стихи Сталину и старым партийцам, поэт, бывший утром с похмелья, "вместо того, чтобы читать стихи... пару раз качнулся из стороны в сторону, смахнул волосы со лба и зло бросил в зал:

— Вы хотели слушать мои стихи!—помолчал. — Х... вам, а не стихи!—Он повернулся и вышел..." По мнению автора книги, якобы это хулиганство по отношению к Сталину решило судьбу поэта, и можно не удивляться, если подобная версия станет восприниматься через некоторое время читателями как историческая правда.

Так что создание есенинского апокрифа продолжается. "Что быть должно, то быть должно..." А чем, в сущности, отличается новая есенинская фактография от прежней, ну, к примеру, хотя бы изложенной в "Калужской коммуне" от 31 декабря 1925 года: "Слишком остро носил в себе Есенин память бабки, которую запорол во времена крепостные рязанский помещик"? Ну чем же "эта штука" слабее приема у Сталина?

По-прежнему самыми честными, самыми бесхитростными, самыми "нелитературными" остаются воспоминания о Есенине его сестер, его дальних родных по Константинову, его земляков и товарищей детства. То есть тех, для кого он всю жизнь да и после смерти оставался Сережей, Сергунькой, Сергухой, которые вспоминают, как приезжал Есенин на родину, как вместе ловили рыбу, переплывали Оку, купали лошадей. Как играл он на гармошке, во что был одет, какие песни слушал, какие частушки пел. Это—воспоминания тех, кто "вилами пришли вас заколоть" — чужих — за каждый "крик, брошенный" в поэта. Но каждый "брошенный крик" — тоже ложится камушком в необъятную для взора пирамиду.

Вполне достоверны "женские" воспоминания о поэте (Г. Бениславской, Н.

Вольпин, А. Берзинь), хотя бы потому, что единственная пристрастная нота в них сводится к сетованиям на то, "как она одна его спасала" и спасла бы, если бы не роковые пьяницы-друзья и другие, соблазнявшие поэта женщины.

Зачатки легенды человек, конечно же, приносит в мир сам — своим лицом, жестами, словами, поступками и чем-то еще не до конца объяснимым. Но есть несколько объективных условий для ее развития. Необходимо, чтобы древо легенды разрасталось в пассионарное время и в пассионарном народе. В Европе XIX — XX веков лишь несколько — по пальцам на одной руке можно пересчитать! — поэтов удостоились легендарного ореола. Джордж Байрон, Поль Верлен, Гарсиа Лорка.

Для субъекта легенды крайне важно, чтобы ему самому не до конца была ясна роль, ради которой он пришел в мир. Много раз Есенин спрашивал сам себя, "кто он?", "зачем пришел он в мир?". И, как бы пытаясь помочь поэту, его сотворцы по легенде вот уже несколько десятилетий ищут ответ на эти вопросы. Но волю к поиску спровоцировал он сам, примерившийся к Пушкину, а Пушкин, как известно, это "наше все".

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Не зря же все крупнейшие русские поэты двадцатого века—Блок, Ахматова, Маяковский, Цветаева, Пастернак—каждый по-своему пытались примерить свою судьбу "по Пушкину", поговорить с памятниками. Один прощался с Пушкиным на "тихой площади Сената", другой с фамильярной застенчивостью докладывал: "Александр Сергеевич, разрешите представиться". Третья вспоминала о "треуголке и растрепанном томе Парни", четвертая ревниво заявляла — "мой Пушкин"...

Есенин же примерял свою жизнь по пушкинской почти буквально, когда искал себе оправдание:

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

Да, эти милые забавы если не затемнили реальный облик есенинского собеседника, то и не прояснили его, потому что он ушел от прояснения в бронзу, в памятник, в легендарную жизнь. Есенин все это прекрасно понимал и жаждал не реальной судьбы, не биографий и автобиографий, а "бронзы", закутанной в "туман". Вот почему, думая о нем, одними бесхитростными воспоминаниями сестер и земляков не обойдешься. Он сам не желал этого. И однако, без них мы тоже не поймем, откуда истоки того, что Есенин стал бронзой, песней, "русской судьбой".

А разве могла быть другой судьба поэта, стихи которого волновали душу московского чекиста и врангелевского офицера, могли увлечь и царицу Александру Федоровну, и Льва Троцкого, и московскую проститутку, и Василия Качалова? По мнению современного русского писателя Ю. Мамлеева, совершенно особое место Есенина в русской ауре определено тем, что его поэзия "вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой". Миф о Есенине в течение двадцатого века постепенно изменил свое молекулярное строение и из явления истории переродился в явление природы.

* * *

Эта книга была задумана и рождалась в тяжелейшее для России время. Может быть, не менее тяжелое, нежели есенинское. С не меньшей яростью, нежели тогда, унижаются Россия и ее национальные поэты. Но никакие потуги русофобов ничего не могут сделать со светлой частью есенинской легенды. Она обречена разрастаться и увеличиваться. Одновременно с этим никакие благие усилия исследователей-лакировщиков не перечеркнут тень, отбрасываемую "черным человеком" Есенина. Но чем больше тень, тем крупнее и монументальнее фигура,

отбрасывающая ее. Нечистая сила, пытающаяся увеличить есенинскую тень, обречена с отчаяньем видеть, что ее работа приводит к противоположным результатам, что работа против Есенина чудесным образом оборачивается работой на его легенду и на его славу. Есенин, в отличие от Хомы Брута, спокойно выходит за очерченный меловой круг и не падает, как гоголевский герой, замертво, а лишь стоит с непостижимой улыбкой на лице, наблюдая, как нечисть в панике от своего бессилия бросается после третьего петушиного крика в решетчатые окна заброшенного храма и при свете зари превращается в прах, в ветошь, в пыль, в небытие...

II

“РОДИНА КРОТКАЯ...”

Он не такой, как мы. Он Бог его знает кто...

Александр Есенин о сыне Сергее

“Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые полисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.

На хилый курятник похожа магазинная будка села Константинова. Селедка. Всех сортов. Конфеты — подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Черных буханок булыги увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.

В избе Есениных — убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде — слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами — обыкновенное польце.

Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, — и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать: *“На бору со звонами плачут глухари...”* И об этих луговых петлях спокойной Оки: *“Скирды солнца в водах лонных...”*

Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..”

Этот вопрос — “какой же слиток таланта?..” — задавали многие и многие на протяжении десятилетий. А ответил на него сам Есенин буквально за день или два до смерти.

Ведя полушутливый разговор с соседкой по “Англетеру” Елизаветой Устиновой, он проронил тогда: “Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь “божья дудка”.

И когда Елизавета попросила объяснить, что это значит, поэт ответил ей:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же.

“Он смеялся с горькой складочкой около губ”, — вспомнила через несколько дней после гибели поэта Устинова, придавшая его словам фатальный смысл. А это определение своего творческого дара вовсе не было для Есенина неким роковым озарением — он всю жизнь жил с этим сознанием, безжалостно раздаривая себя, щедро тратя свой бесценный дар, и лишь временами с его губ срывалось сожаление, подобное вышеприведенному.

И еще на одно размышление наталкивает солженицынская “крохотка”.

Солженицын писал ее, видимо, в плохом настроении. Потому что высокий берег Оки, заливные луга, темная кромка леса, зеленые овраги, ширь небесная на много верст — все это делает Константиново одним из красивейших уголков России. Конечно же, все тысячелетие местные люди и замечали, и чувствовали

эту красоту, только выражали ее по-своему: отражалась она в их нарядах, в вышивках на рушниках и сарафанах, в песнях и плясках, в свадебных обрядах, в узорных причелинах и наличниках, в пословицах и поговорках — да всего не перечислишь... И все-таки, почему именно здесь в конце концов появился Есенин?

Прежде всего надо обратить внимание на то, что древо есенинского рода было несколько необычным, отмеченным "особой метой". Все его ближайшие родные люди — оба деда, обе бабки, отец и мать, если присмотреться к ним повнимательнее, были людьми необычными: или с некой тонкой душевностью, или с сильным характером, или с тягой к личной независимости, или с любовью к песне, к игре, к молитве, то есть — со своеобразным художественным складом.

Может быть, что унаследованные от каждого из них свойства таким счастливым образом переплелись в Есенине, что он стал средоточием особого крестьянского аристократизма, что проявлялось буквально во всем—в походке, в душевной чуткости, в одежде, в гибком и сильном уме, в целеустремленности натуры. И представьте себе, что все эти свойства были увенчаны сверх того поэтическим даром. Дедушка по отцу — Никита Осипович, проживший всего сорок два года и умерший до рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всяческие прошения, был трезвым и умным человеком и не зря, видимо, занимал в деревне почетный пост сельского старосты. В молодости он хотел уйти в монастырь, за что он и все его потомство получили кличку "монахи" и "монашки".

"Я до самой школы не знала, что наша фамилия Есенины,— вспоминает младшая сестра поэта Катя, — и была уверена, что мать и я с сестрой "монашки", а отец с Сергеем "монахи".

Редкостным в русской деревне было, наверное, встретить молодого крестьянина, мечтавшего не о хозяйстве, не о женитьбе, а о жизни "не от мира сего".

После смерти деда Никиты в доме его вдовы—бабки поэта Аграфены — часто живали сельские богомазы, работавшие в церкви, что была напротив. Бабка постоянно давала приют монахам и монашкам, странникам, богомольцам. Для дохода: ведь она осталась молодой вдовою с четырьмя малолетними детьми на руках. Сама она была женщиной с особым художественным даром. Любила петь, но поскольку в деревне считалось, что вдовам петь как бы неприлично, бабка отводила душу, когда доводилось причитать по покойникам или исполнять обрядовые песни на свадьбах. "Лучше "монашки" никто не покричит", — говорили мужики о нашей бабушке. Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она "покричала" о них:

— Эх, тетка Груня! Покричи обо мне несчастном. Вот тебе деньги за труд, ты бери, а то ведь все равно пропью!

Бабушка причитала, а мужики плакали сами о себе" (из воспоминаний Е. Есениной).

Кстати, и у Николая Клюева матушка была плачеей, известной на всю Олонецкую округу.

Сознавая все это, Сергей Есенин впоследствии, будучи уже известным поэтом, не раз с раздражением открещивался от звания "крестьянский поэт".

— Не хочу надевать хомут Сурикова и Спиридона Дрожжина. Я не крестьянский поэт, я просто поэт!

Да, он мог с гордостью сказать: "У меня отец — крестьянин, ну, а я — крестьянский сын", мог укорить себя: "Только я забыл, что я крестьянин", мог спросить сестру: "Крестьянин я или не крестьянин?!" Он мог с гордостью сознавать, что отцу и матери он дорог "как поле и как плоть", но одно дело быть "крестьянским сыном", "плотью", а совсем другое — поэтом. Ведь поэзия—жизнь души, а душа принадлежит не отцу с матерью, не крестьянскому миру, а лишь Господу Богу и ему самому — Сергею Есенину...

Николай Клюев уже после смерти Есенина рассказывал:

"За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя "из низов". Есенин долго плевался на такое непонимание: "Мы, говорит, Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России; самое аристократическое, что есть в русском народе".

Бельгийский поэт Франц Элленс, переводивший на французский язык есенинского "Пугачева", встречался с русским поэтом в 1923 году в Париже. Есенин был тогда не в лучшей душевной и физической форме. Много пивший, опухший,

с темными подглазьями, он тем не менее произвел на Элленса неотразимое впечатление: "элегантность в одежде и совершенно непринужденная манера держаться", "он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия", "этот крестьянин был безукоризненным аристократом"...

Но ведь и отец Есенина не был похож на обычного крестьянина. Мальчиком он пел в церковном хоре, у него был прекрасный дискант, его, как и Аграфену Панкратьевну, приглашали на свадьбы и похороны, а мать даже пыталась отдать мальчика в рязанский собор в певчие, однако он сам не согласился и поехал в Москву, чтобы начать свою самостоятельную жизнь в мясной лавке. На фотографии видно, какое у него тонкое породистое лицо, аккуратные, даже изящные усы, как он чисто одет, какие у него печальные глаза. Александр Никитич был болен астмой, у него не хватало ни сил, ни опыта для тяжелых крестьянских работ, и потому, когда в 1921 году, после того как в Москве закрылись все мясные лавки, он вернулся в деревню, то зажил там жизнью трудной и безрадостной. Однако заметим, что поэт, который из-за распрей с отцом редко вспоминал его, в автобиографии 1916 года обмолвился: "К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их".

Дед поэта по матери Федор Андреевич Титов не был, вопреки уверениям внука, ни старообрядцем, ни начетчиком. Грамотой он владел еле-еле, но колоритности, характерности, своеобычности ему было не занимать. Неравнодушен был дед к тому, какая слава ходит о нем по деревне. Когда он возвращался из Петербурга, куда гонял баржи с различными грузами, то закатывал пир на весь мир, чтобы все знали, как он щедр, самостоятелен, удачлив. Выкатывал Федор Андреевич на лужайку перед домом бочонок вина, вешал на него ковшик. Как увидит, что мужики, идущие из церкви, нацеживают в ковшик зелье, выходил из дома, выпячивал грудь колесом — и коренастый, рыжебородый, громкоголосый, ударял себя в грудь и похвалялся, словно Васька Буслаев либо Садко — богатый гость:

— Ладная посуда—славой проживу!

"Любил, любил старик похвастать, себя потешить, что и говорить,—вспоминала о нем соседка Анна Ефремова. — Его хлебом, бывало, не корми, только дай ему гоголем себя среди других выставить..."

Он даже часовенку напротив своего дома в благодарность Николе Угоднику за удачи в Петербурге воздвиг. Из красного кирпича. Когда Крестный ход, бывало, шел в праздники по селу, то возле его часовенки останавливались, чтобы отслужить молебен... Любил, любил быть во всех делах первым Федор Андреевич и в душу малого внучонка Сергушки заронил с детских лет желание первенствовать.

Сестра поэта Екатерина вспоминала о том, что дед был "умен в беседе, весел в пиру и жестокий в гневе... умел нравиться людям... Со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей".

В этом доме с 1899 по 1904 год—четыре первых своих детских сознательных года, когда для ребенка так новы "все впечатленья бытия", прожил Сережа Есенин. А попал он в дом деда Федора и бабушки Натальи трехгодовалым дитятей.

Все началось с того, что Татьяна Титова вышла замуж за Александра Есенина не по любви, а по воле своенравного Федора Андреевича. Существуют смутные предположения о том, что она была просватана за некоего угрюмого мужика из деревни Федякино, но нравился ей другой, развеселый, бедовый. Идти замуж за "угрюмого" она отказалась, а тот, кто нравился—тот сватов не заслал. Именно тогда и присмотрел отец для дочери тихого, скромного, задумчивого Александра Есенина. Может быть, отсюда и всплыла сегодняшняя легенда о том, что Александр Есенин покрыл ее девичий грех. А была она, как вспоминают подруги, "хороша необыкновенно, считали ее первой деревенской красавицей". Словом, "хороша была Танюша—краше не было в селе".

Александра Ивановна Разгуляева—жена второго сына Татьяны, прижитого ей в те годы, когда она расходилась с отцом Есенина, вспоминает домостроевские страсти, бушевавшие в доме Титовых.

— Татьяна Федоровна рассказывала мне: отец ее кнутом, а она не шла за Есенина. "Я, говорит, сроду его не любила". А отец ее плетью: "Пойдешь и все". — "Я, говорит, реву: "Не пойду!" А он: "Нет, пойдешь!"

Как бы то ни было, но именно отсюда началась короткая, но яркая драма ребенка, ставшего сиротой при живых родителях.

Шумная свадьба была сыграна в доме Федора Титова на второй день престольного праздника Казанской Божьей матери. Молодых обвенчал отец Иван Смир-

нов, и вскоре после свадьбы Александр Есенин вернулся в Москву в свою мясную лавку, а красавица Татьяна вошла работницей шестнадцати с половиной лет в чужую семью под начало властной свекрови Аграфены Панкратьевны. Молодой муж, отъезжая, дал жене наказ ни в чем не противиться свекрови, которая получила даровую работницу. Весь свой заработок Александр Есенин посылал не жене, а матери. Жене же оставалось только убирать избу, вставать чуть свет кормить и доить скотину, готовить обеды и ужины для постояльцев и лишь изредка, когда на побывки приезжал из Москвы Александр Никитич, вспоминать, что она не просто работница, а еще жена и женщина. Но судьба по-прежнему была немилостива к ней: грудничками умерли ее двое первых детей — мальчик и девочка.

Есенин в конце жизни вспомнил о них в стихах:

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

А 21 сентября 1895 года (3 октября по новому летоисчислению) у Татьяны родился третий ребенок. При крещении отец Иван уговорил Аграфену Панкратьевну назвать внука Сергеем (она не любила соседа с таким же именем):

— Аграфена Панкратьевна, не бойтесь, это будет добрый, хороший человек!

Но вражда матери Сергея со свекровью и неприязнь к нелюбимому мужу все нарастали, и, наконец, с трехлетним Сергеем на руках Татьяна ушла из есенинского дома к своим родителям. Дед с бабкой взяли внука к себе на воспитание, а дочь послали в Рязань, зарабатывать на жизнь для себя и для ребенка. К тому времени Федор Андреевич разорился, две его баржи сгорели, остальные унесло половодьем. Новая бабушка Сережи — Наталья Евтеевна в отличие от певуньи и плачеи Аграфены была женщиной кроткой и набожной. "Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: "Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст" (С. Есенин. Из "Автобиографии").

Память ребенка сохранила картины жизни в доме, где часто собирались странники, слепцы, пели духовные стихи о Голубиной Книге, о райском вертограде, о Лазаре, о заступнике крестьянском Миколе, о женихе светлом, госте из Града Неведомого. Сам полуграмотный, дед пытался учить внука читать, а по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи из священной истории. Через четверть века внук с благодарностью вспоминал:

Наивность милая
Нетронутой души!
Недаром прадед
За овса три меры
Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить: "Достойно есть"
И с "Отче" "Символ веры".

Хорошего коня пасут,
Отборный корм
Ему любви порука.
И самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

В повести "Яр" двадцатилетний Есенин изобразил деревенского дурачка, который катается на хворостине и задает землякам всяческие загадки.

"— Эх, мужик-то какой был!—сказал, проезжая верхом, старик. — Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался... Дотошный был. Все пытал, как земля

устроена... "Это, грил, враки, что Бог на небе живет". Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги".

В отрывке угадываются какие-то приметы судьбы самого деда, которого обучали у дьячка за "овса три меры" и несколько самоотстраненные религиозные сомнения молодого поэта, и что, может быть, самое главное — явное соотнесение своего облика с обликом деревенского юродивого, рехнувшегося "с думы", то есть от слишком глубоких и дерзких мыслей. Многие воспоминания родных и земляков о детстве Есенина как бы сфокусированы на одном: "У Татьяны сын какой-то не такой", "не от мира сего", "он не такой, как мы. Он Бог знает кто". Да и прозвище от деда Никиты — "монах" время от времени мелькает в воспоминаниях земляков применительно к поэту.

А жизнь его в доме бабки и деда складывалась не просто. Вроде бы любила бабушка Наталья золотоголового внука и нежности ее не было границ, мыла его по субботам, стригла ноготки, гарным маслом гофрила голову, расчесывала кудри деревянным гребешком. Но бабка — бабкой, а мать — матерью. Рос мальчонка без материнской любви.

Сиротство Есенина при живых родителях в какой-то степени всегда затушевывалось советскими есениноведами. Ну про отца еще писали. А про мать—поскольку сын в стихах 1924 — 1925 годов создал почти общенародный культ матери, ждущей сына и страдающей о нем, — есениноведы 50 — 80-х годов предпочитали умалчивать.

Видимо, всякого рода этические, семейные причины до смерти матери удерживали и авторов мемуаров, и издателей от публикации подробностей из жизни есенинского клана. Ну, а по инерции, оглядываясь на еще многочисленную в 60—70-е годы есенинскую родню, литературоведы не торопились осмысливать всю сложность душевного склада поэта, исходящую от семейной драмы его родителей.

Знакомая Есенина по московской жизни двадцатых годов Софья Виноградская вспоминала в 1926 году со слов поэта:

"Мать свою он в детстве принимал за чужую женщину, и, когда она приходила к деду, где жил Есенин, и плакалась на неудачи в семье, он утешал ее. — Ты чего плачешь? Тебя женихи не берут? Не плачь, мы тебе найдем жениха".

То, что это не выдумка, а суровая правда, подтверждают и воспоминания сестры поэта Екатерины: "Мать пять лет не жила с нашим отцом, и Сергей все это время был на воспитании у дедушки и бабушки Натальи Евтеевны. Сергей, не видя матери и отца, привык считать себя сиротою, а подчас ему было обидней и больней, чем настоящему сироте. Бабушка Наталья Евтеевна часто кормила его потихоньку от снох, на всякий случай, чтобы не вызвать неприятности".

Получается, что Есенин, как и Лермонтов, в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, не отцом, а бабушкой. Сиротство при живых родителях властно повлияло на его душевный облик. Впечатлительность, душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным деревенским "юнкерством", за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта, — вот, видимо, суть есенинского детства и отрочества. В 14 лет, как вспоминает Николай Сардановский, Есенин наизусть выучил "Мцыри". Такой подвиг можно было совершить только от необыкновенной любви к герою поэмы и от сознания братской близости к нему — одинокому, ранимому, беспредельно обиженному судьбой отроку-монаху.

А тут еще по-деревенски грубые дядья: ну представьте себе, чтобы трехлетнего ребенка посадить на лошадь без седла и сразу пустить в галоп! "Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку". Тут очумеешь! От этого и нервные припадки можно заработать, и заиканье получить, не говоря уже о том, что сломать шею или руки-ноги мальчоночке ничего не стоило. А дядя Саша брал дитенка в лодку, отъезжал от берега, раздевал и бросал, как щенка, в воду, пока тот, неумело побарахтавшись, не начинал захлебываться. Дядя Саша при этом кричал: "Эх, стерва! Ну куда ты годишься!" "Стерва" у него было словом ласкательным.

Дядьям и в голову не приходило, что их брат дядя Петя стал припадочным из-за того, что отец его, восьмилетнего, спрятавшегося из-за какой-то проказы на чердак, в приступе глубокого гнева сбросил с чердака и на всю жизнь искалечил психику ребенка. Наверное, когда Есенин рисовал образ юродивого в повести

"Яр", он думал и о себе, и о несчастном дяде Пете, который, как вспоминает Екатерина, "был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки". Поэтому, творя легенду о себе, Сережа Есенин старался представить себя коноводом, вожаком, лидером, как бы мы сейчас сказали, во всех своих автобиографиях. Он всюду подчеркивает свою силу и ловкость, любит вспоминать, как дрался со сверстниками, как был "средь мальчишек всегда герой", как удачливо ловил рыбу, как ловко — ловчее всех! — лазил по деревьям и птичьим гнездам, как "обносил" огороды, играл в бабки, плавал за подстреленными утками. Но маска деревенского "супермена" на самом деле скрывала легко ранимую душу и отнюдь не богатырское тело. В позднейших стихах он не единожды проговаривается о своей некрестьянской хрупкости, о физической и душевной утонченности, что, конечно, отличало его от обычных константиновских ребятишек.

Тихо от хлебного духа,
Снится кому-то апрель.
Кашляет бабка старуха,
Грудью склонясь на кудель.

Рыжеволосый внучонок
Щупает в книжке листы.
Стан его гибок и тонок,
Руки белей бересты.

Нечто женственное есть в этом внучонке, и даже его рыжеволосость—признак некой физической утонченности, почти слабости. (Недаром рыжеволосых людей и блондинов на нашей земле становится все меньше, они почему-то вырождаются, их генетическая система не выдерживает давления современной цивилизации.) В разговорах поэт признавался, что из-за физической слабости ему частенько приходилось в детстве терпеть неудачи. И. Розанову он как-то рассказал, что и дед, и бабка "видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить". Сверстник поэта Василий Ефремов вспоминает: "Был горяч, куда там... и все время драки затевал, ему же поэтому больше всех и доставалось". А переплывши однажды реку с двумя товарищами, Сергей долго сидел на песчаном откосе и отплевывался кровью, видимо, от переутомления. Бабушка знала о слабостях своего рыжеволосого любимца и укрепляла его здоровье всеми народными средствами.

С глазу ль, с немилого ль взора
Часто она под удой
Поит его с наговором
Преполовенской водой.

Да никакой он не коновод, не драчун, не атаман—все это он придумает о себе году в девятнадцатом, в двадцатом, а пока в пятнадцатом, в шестнадцатом он еще не стесняется говорить о своей почти девичьей стати, о милой ему немужественности, о природной изнеженности:

Ждут на крылечке там бабка и дед
Резвого внука подсолнечных лет.

Строен и бел, как березка, их внук,
С медом волосьев и бархатом рук.

(Впоследствии "березка" для Есенина станет сравнением лишь с женщиной или, скорее, девушкой!) И уже непонятно: то ли бабушка держит на руках женственного внучонка, то ли юная Дева Мария своего Сына, лишенного по замыслу Божию привычного для людей облика мужественности.

С тихой улыбкой на тонких губах
Держит их внука она на руках.

Отроческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность—

все это определило во многом и тон и тематику поэзии Есенина на рубеже 1916—1917-х годов.

Уже давно мне стали сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе—высокая светлица,
А мне — далекий монастырь.

Константиновский Мцыри через поколение как бы повторяет монашеские настроения деда Никиты.

Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Пахота и жатва — основные вехи русской крестьянской страды обойдены поэзией Есенина. Он живет более светлыми, более праздничными чувствами и картинами: сенокос, хоровод, гулянка, песня, молитвенная служба. В этих картинах нет некрасовских, надрывающихся под тяжестью труда пахарей, нет несжатых полосок. Поэту, как он вспоминает в позднейшем стихотворении, гораздо ближе вишневый сад в цветенье, нежели необходимое для жизни картофельное поле.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Далекий от сына, скептически относящийся к его "стихоплетству" и во многом не понимающий его, отец становится губителем столь нужной для отроческого сердца красоты — цветущего вишневого сада. Всю свою жизнь, любя родину и крестьянство, Есенин тем не менее чувствовал, что многое и отделяет его от тех,

Что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Он не брезговал этим трудом, не унижал его, называя эту ношу даже "веселой". Он просто никак не хотел и не мог "опростеть" сердцем и душою. Не желая опрощения, он бежал в книги, в песни, в кашинскую усадьбу на театральное представление. Потому и сочинял легенду о деде-старообрядце, чтобы усложнить свое происхождение, выделить себя из окружения "опростевших", даже любя их и сознавая свою кровную связь с ними.

Не скандалистом и сорванцом рос мальчик Есенин, а, скорее, мечтателем. Мечтал о любви, о тайне, о дружбе. Эта мечтательность порой оборачивалась для него тяжким осознанием своего изгойства, и он сам начинал обвинять себя в этом.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

И так всю жизнь. Вплоть до предсмертного:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле...

Усталый от жизни, почерневший, измученный гонениями, предательством, тоскою, он по-прежнему не может "опростеть" сердцем...

А началось все с малых лет, когда Есенин стал формироваться как тип русского коренного духовно одаренного человека, народного "аристократа", которых стала обильно рождать русская земля на переломе веков.

Образ "забияки и сорванца" стал соблазнительным для Есенина значительно

позднее—после жизни в Петербурге, а потом в Москве, когда жестокие нравы революционной эпохи как бы вынудили его сделать ставку на "хулиганство", на "пугачевщину", на "разбойность". Ему хотелось в детстве и отрочестве быть гораздо отчаяннее и бесстрашнее, чем он был на самом деле; но о такой возможности он всегда думал с затаенным чувством ужаса и восторга:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

Но это стихи 1915 года, до них еще долго жить, а пока после пятилетнего бунта мать поэта возвращается в дом к мужу. Бунтовала она отчаянно. Судилась с Александром Есениным, требовала развода, требовала разрешения на получение паспорта, даже прижила ребенка на стороне. Муж был неумолим. Закон защищал его права властвовать над женой. Татьяна ничего не смогла добиться. Муж не дал ей развода. То ли он все-таки любил свою строптивую жену, то ли считал развод позором для себя, но в конце 1904 года, когда Сергей уже пошел учиться в Константиновское земское четырехгодичное училище, семья объединилась. Мальчику пришлось вернуться в отцовский дом к другой бабушке и к женщине, которую надо было называть своей матерью.

"Когда Сергей вернулся с матерью в наш строгий и угрюмый дом, где хозяйствовала другая бабушка и другая сноха (жена нашего дяди по отцу), он до смерти бабушки Аграфены не мог привыкнуть к нашему дому и часто из школы уходил к Титовым". (Из воспоминаний Е. Есениной).

* * *

Учебный день в земском училище начинался с "Отче наш". Закон божий преподавал священник Иван Смирнов, пятьдесят (!) лет прослуживший в Константиновском приходе. Он венчал родителей поэта, крестил его самого, и ему пришлось через много лет отпевать раба Божия Сергея, потому что отец Иван так и не поверил в то, что его крестник и ученик наложил на себя руки.

Жизнь в те три года, пока Сергей учился в Константинове, была для него достаточно легкой и беззаботной. В доме хозяйничали три женщины, но не было ни одной лошади, ни земли, чтобы пахать, сеять, боронить, жать, скирдовать, возить снопы на гумно, а зерно в амбары. Единственная работа, где мог помогать Сергей, была в лугах, на сенокосе. И эта работа была ему по душе, как никакая другая.

"Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки. Разбросанные то тут, то там покосные станы походят на цыганские таборы. Мерцают вдали огоньки многочисленных костров, и в тихую погоду дым от них, расстилаясь по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, застланный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю".

Так выразительно вспоминает о сенокосной поре Александра Есенина, как бы еще раз подтверждая особую художественную одаренность всех Есениных. В летние каникулы Сергей с утра до вечера пропадал в лугах или на Оке, грелся у костров, рыбачил, собирал утиные яйца и, конечно же, начинал потихоньку прислушиваться к самому себе, непроизвольно складывая в рифму свои мысли и чувства и про себя напевая их. Его школьный друг Н. Калинкин свидетельствует, что где-то в середине учебы они узнали, что Есенин пишет стихи. Сергей показал их как-то учителю Власову. Учитель был суров:

— Ты, Сережа, учись. А сочинять всякие глупости, это не твое дело. Рано еще тебе...

Есенин не успокоился, вновь и вновь показывал стихи Власову, желая, чтобы тот оценил их достоинства и недостатки. Воспоминания относятся к 1908—1909 годам, но стихов того времени у Есенина не сохранилось. Видимо, Сергей все-таки послушался своего наставника, и первые дошедшие до нас стихи сочинены им уже в Спас-Клепиковской учительской школе, куда он поступил в сентябре 1909 года. Сельское же училище, несмотря на то, что его однажды за баловство оставили на второй год, он закончил с похвальным листом. Тот же Николай Калинкин вспо-

минает, как они завершили учебу: все ребята серьезно готовились к школьным экзаменам, несколько человек, в том числе и Сергей, сдали экзамены на "пятерки". Когда вручали похвальные листы и подарки, священник отец Иван объявил: особо отличившиеся ученики Есенин, Воронцов и Данилин рекомендованы для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или в Рязанское духовное училище. Дома у Татьяны Федоровны случился настоящий праздник. Неожиданно из Москвы приехал отец Сергея с гостинцами и двумя красивыми застекленными рамками. Одна для сыновьего похвального листа, другая для свидетельства об окончании сельской школы. Обе награды отец своими руками повесил на стенку. А вечером за столом шла беседа — что делать с Сергеем дальше? Отец Иван настаивал на своем:

— Учиться Сереже надо дальше, учиться. Мальчик способный! — Так и порешили. Через несколько дней к есенинскому дому подъехала подвода, мать помолилась на лик Николы Угодника, собрала сыновьи вещички в сундучок, села вместе с Сергеем на подводу, и неторопливая лошадка повезла их в Спас-Клепики.

В год окончания Есениным сельской школы отмечалось столетие со дня рождения Гоголя. По случаю юбилея дирекция народных училищ распорядилась в этот день освободить учащихся от учебных занятий, в стенах училищ отслужить панихиды по Николаю Васильевичу, раздать учащимся его портреты, а также поелику возможно и "отдельные сочинения его, существующие в дешевых изданиях". Вся программа празднества была осуществлена в Константинове, и каждый выпускник школы получил по четыре книги — "Ночь перед Рождеством", "Старосветские помещики", "Вий", "Тарас Бульба". С той поры Гоголь стал для Есенина писателем, о котором в автобиографии 1922 года поэт записывает: "Любимый мой писатель". Не счесть гоголевских образов, строчек, словечек, намеков, которые растворены в его стихах и письмах. Знакомая Сергея Есенина учительница Полина Гнилосырова вспоминает о том, как однажды она с Есениным поехала на подводе в Рязань за учебниками для школьной библиотеки. Сергей был за кучера и, возвращаясь, возле угора, за которым начиналась деревня, он хлестнул кобылу вожжами:

— Прокатимся под уклон, Полина Сергеевна, чтобы в ушах звенело, а? — и погнал лошадей, крича: — И какой же русский не любит быстрой езды!

* * *

Учится Сергей в Спас-Клепиках в школе-интернате, как бы сказали сейчас, живет среди сверстников, как Лермонтов в юнкерском казарменном общежитии, а все никак не становится похожим на всех, никак не умеет подладиться к бурсацким правилам жизни, все больше и больше с каждым месяцем выделяется он из толпы собранных со всей рязанской земли подростков. Свидетельства тех времен при всей их разноречивости сходятся в одном: Сергей не похож на других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, душевной сложностью. Вскоре после начала учебы он как-то приехал с константиновскими мужиками обратно в деревню. Сначала соврал, что распустили всю школу, а на другой день показал матери следы от побоев на теле и заявил, что больше в школу не воротится. Бунт был подавлен, но очевидным стало то, что Сергей в школе живет на положении некой "белой вороны". Учитель литературы Е. М. Хитров вспоминает, что Есенин отличался "нежностью своего характера", "у него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном", "в драке себя не щадил и часто был пострадавшим". Учился хорошо, и учителя поручали Есенину проверять уроки всех лодырей, которых оставляли без обеда готовить несделанные домашние задания. Естественно, что такое возвышение над ними своего однокашника лодырям не нравилось, и драки частенько возникали на этой почве. Способности к стихосложению не прибавляли Есенину авторитета. Его товарищ Н. Сардановский вспоминает:

"Его намерения и способности писать стихи ничуть не возвышали его в наших глазах, а его заносчивость при оценке своего таланта и его постоянные разговоры о своих стихах казались нам скучными". Уязвленное самолюбие, непризнание его талантов, драки и ссоры—все это развивало в отроке и мнительность, и замкнутость, и волю к сопротивлению, и ощущение своего особого пути, особого призвания. Вольно или невольно, но в нем все явственней проступали странности харак-

тера, сближающие его с персонажем юродивого из будущей повести "Яр", свихнувшегося от чтения книг. Домашние стали обращать внимание на эти странности:

"К Рождеству на каникулы приехал Сергей... Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку... Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было, в это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

— Ты что смеешься-то?

— Да так, смешно,—ответил Сергей.

— И ты часто так смеешься, один-то?

— А что?—спросил Сергей.

— Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А от чего? Все книжки. Дьячок-то какой был!..

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но ничего из этого не выходило". (Из воспоминаний Е. Есениной).

Гораздо охотней Сергей, если дело было летом, плел младшей сестре Александре платья из цветов, разных фасонов шляпы, приносил ее домой всю в луговых цветах, уходил к Поповым играть в крокет либо на берег Оки—созерцать бескрайнюю ширь лугов, черную кромку леса, голубую, отражающую небо и облака извилистую ленту реки. Любил прогуляться по деревне, одевшись в свой хороший, хотя и единственный, костюм. Стеснялся сестры Кати, когда она в своем потрепанном платьишке прибегала к Поповым поглядеть на чудную игру в крокет:

— Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой,—тихо, чтобы не слышал никто вокруг, говорил он огорченной сестренке.

Была в нем эта неприятная черта: стеснялся своих родных, когда они появлялись в "интеллигентном" обществе на вечерах у священника Ивана Смирнова, где молодежь порой ставила различные простенькие пьесы или разыгрывала музыкальные концерты. Однажды мать потихоньку от него с дочерью Катей проникла на одно из представлений. Сергей увидел их и досадливо нахмурился:

— Уходите сейчас же, а иначе я уйду!—И настоял на своем.

Так же ревниво и настороженно юноша оберегал свои отношения с семейством местной молодой помещицы Лидии Кашиной от посягательств и насмешек домашних. К самой Лидии Кашиной, несмотря на то, что она, мать двоих детей, замужняя женщина, была на десять лет старше его, Есенин несомненно испытывал чувства более глубокие, нежели почтительные или уважительные. Есенин любил бывать в кашинском доме, богатом и красивом, обрамленном декоративными кустарниками и цветочными клумбами. Каждое лето Лидия Кашина приезжала в деревню с детьми, но без мужа. По деревне ходили слухи, что ее муж очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить. А потому молодая барыня развлекалась в деревне, как только могла. В усадьбе завелись породистые лошади, на которых барыню учил кататься верхом хмурый наездник, потом в доме появились кучер, кухарка, прачка и даже садовник, который умудрялся в оранжереях выращивать зимой клубнику. Частенько Кашина в костюме амазонки выезжала в поля на породистой лошади. В усадьбе частые гости играли с хозяйкой в крокет, а время от времени в доме ставились спектакли, куда друг Сергея Тимоша Данилин, приглядывавший за детьми Кашиной, однажды пригласил Сергея. С тех пор, познакомившись с хозяйкой, шестнадцатилетний поэт и зачастил в барский дом, столь поразивший его воображение.

Татьяне Федоровне страсть как не нравилось, что ее сын пропадает в барской усадьбе. Она спокойно относилась к тому, что он флиртовал с учительницами или коротал вечера в доме священника, но барыня! Замужняя, старше его намного, да с двумя детьми! Нет, это не дело!

— Опять у барыни пропадал?—сердилась мать.—Что вы там делаете?

— Читаем, играем,—хмуро отвечал Сергей. А иногда и огрызался: — Какое тебе дело, где я бываю!

Мать ворчала:

— Не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь, нашла с кем играть!

Кульминацией этого странного и таинственного романа была, видимо, встреча Сергея Есенина с Лидией Кашиной летом 1917 года, после того как хозяйка

усадьбы уже отдала свой двухэтажный дом в Константинове деревенскому миру, а сама переехала жить на другую усадьбу в Белый Яр, на луговую сторону Оки, в нескольких верстах от Константинова. Однажды утром Сергей сказал домашним, что уезжает на Яр с барыней. После обеда в округе началась настоящая буря, ливень хлестал тяжелыми струями по стеклам, старые деревья ломались под порывами бешеного ветра, сверкала молния, и раскаты грома то и дело проносились над разбушевавшейся Окой. От Оки вдруг раздались крики: "Тонут! Помогите! Тонут!" Мать Сергея бросилась вон из избы. Сестренки остались дома, и Катя, чтобы как-то отвлечься в мыслях о Сергее, стала сочинять стихи:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Татьяна Федоровна вернулась вся вымокшая и сердитая: на реке оборвался паромный канат и паром унесло к шлюзам. Но Сергея там не было. Он вернулся лишь поздно ночью, никому ничего не рассказывая, взял полушубок и ушел ночевать в амбар. Память об этом дне, о разговорах, которые он вел с Лидией Кашиной, видимо, отразилась впоследствии в поэме "Анна Снегина". Но не только:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Строки того же лета семнадцатого года, в которых угадываются отзвуки бури, шумевшей и в природе, и в душе поэта. В память о том лете и о каком-то прощании, ведомом только ему одному, Есенин вскоре написал стихотворение, посвященное Лидии Кашиной:

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
....
И мне в ответ березка:
"О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна светила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня..."

Лидия Кашина в отличие от героини поэмы "Анна Снегина" никуда не эмигрировала. После того, как новая власть отобрала у нее усадьбу на Белом Яру, он переехала в Москву. Работала переводчицей, машинисткой, стенографисткой. Об отношениях ее с Есениным в это время можно судить по есенинскому письму осени 1918 года, адресованному Андрею Белому:

"Дорогой Борис Николаевич, какая превратность: хотел Вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели.

Черкните мне (если не повезло мне в сей раз), когда Вы будете свободны еще.

Любящий Вас

С. Есенин.

Адрес: Скатертный пер., д. 20.

Лидии Ивановне Кашиной для С. Е."

Умерла Кашина в 1937 году и похоронена на том же Ваганьковском кладбище, где покоится и ее поэт.

* * *

"У нас все уехали на сенокос. Я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности", — писал Есенин 7 июля 1911 года своему ближайшему другу по Спас-Клепикам Грише Панфилову.

"Я был в Москве одну неделю. Купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию... Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе". Итак, Есенин уже начинает делать вылазки в большой мир. Письма его той поры — а ему всего-то 15 — 16 лет — необыкновенно интересны. Они очень многое добавляют к его внутреннему облику юноши раздвоенного, мучительно ищущего путей в жизни, пытающегося нащупать ее цели и ее смысл. Он часто, но не надолго влюбляется в девушек из учительских семей—то в Анну Сардановскую, то в Машу Бальзамову, пишет им письма искренние, трагические и мелодраматические одновременно, как бы желая вызвать сочувствие к своей судьбе в девичьих душах: "Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии?.. Или — жить или — не жить?.. Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле..." (М. Бальзамовой, июль 1912 г.)

Из другого письма ей же: "Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселия, но это еле-еле заметно... Ох, Маня! Тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить... Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти. Потому что он меня проклянет, если это узнает".

Из письма Грише Панфилову: "Глядишь на жизнь и думаешь: живешь или нет? Уж очень она протекает-то слишком однообразно... все старое становится противным, жаждешь нового, лучшего, чистого..."

Как раз в это время у Есенина разлад с отцом: отец против того, чтобы сын пытался жить стихами. Он требует, чтобы Сергей пошел по его стезе, поступал в торговую лавку, имел надежный кусок хлеба. А в конце 1912 года Есенин, разочарованный охлаждением к нему Анны Сардановской, уязвленный, как ему показалось, насмешками над ним, вообще совершает отчаянный поступок, подтверждающий, насколько хрупкой и уязвимой была его натура:

"Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и... и теперь оттого болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мною немного все застилалось какой-то мутною дымкой..."

Словом, как пелось в популярном романсе тех лет, "Маруся отравилась". Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой. Несомненно, что в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся во всеми своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. "Небольшую, но ухватистую силу" поэт приобрел позже, после знакомства и дружбы с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от "страшного мира". С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души—это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и темных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в "Черном человеке":

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство.

Первые его стихи 1912—1913 годов лишены всех масок, всей многомерности натуры, всех защитных средств, которыми он в совершенстве овладел позднее:

Душно мне в этих холодных стенах,
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах —
Вот она, доля поэта.

В 1912 году он составил маленький цикл стихотворений и назвал его бесхитростно: "Больные думы". В них явственно прямое влияние Надсона, самой риторической части наследия Алексея Кольцова, поэзии Ивана Никитина и молодого Лермонтова. Названия стихотворений говорят сами за себя: "Звуки печали", "Слезы", "Мои мечты", "Брату Человеку" и т. д. Надсоном Есенин переболел очень быстро. Сергей Соколов—учитель константиновской школы вспоминает разговор с Есениным летом 1925 года:

"Заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах и даже процитировал:

Тяжелое детство мне пало на долю.
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской.

Есенин слушал внимательно, а потом сказал:

—Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин—вот истинно русская душа..."

Весь цикл "Больные думы" вместе с другими стихами спас-клепиковского периода, написанными в 1910—1912 годах, настолько несамостоятелен, подражателен, однообразен, что Есенин в будущем как бы навсегда забыл об этих стихах, никогда не вспоминал о них и не включал ни в один из своих сборников. Тем более парадоксальным кажется то, что несколько своих стихотворений "Сыплет черемуха снегом...", "Там, где капустные грядки...", "Подражание песне", "Выткался на озере...", "Дымом половодье...", готовя последнее "собрание сочинений", он датировал незадолго до смерти 1910 годом! Эти стихи — подлинные шедевры есенинской лирики, неизмеримо значительнее, нежели подражательные опыты из Спас-Клепиковской тетрадочки, написанной вроде бы гораздо позже.

Объяснение такому противоречию может быть только одно: ставя в 1925 году даты, Есенин либо случайно, а скорее всего сознательно, для того чтобы внедрить в читательское сознание легенду о необыкновенно раннем созревании его поэтического таланта, "прибавил возраста" нескольким своим любимым стихотворениям. Лишних четыре-пять лет. Для того чтобы написать их, он должен был знать не только народные песни, частушки и жестокие романсы, звучавшие в константиновской избе, прочитать не только Надсона и Кольцова, но еще и Пушкина с Гоголем, и Алексея Толстого и, конечно, усвоить современную ему поэзию: Блока, Белого, Клюева. Не просто прочитать, но еще и прочувствовать, обдумать, сделать ее своей, а потом написать по-блоковски:

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заворожит, не обмашет
Твой разукрашенный рукав.

И "Выткался на озере..", и "Ты поила коня из горстей в поводу..."—перекликаются с этим стихотворением 1916 года, служат как бы подступами к нему.

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец...

Блоковский бубенец...

III

"В МОСКВУ! В МОСКВУ!"

Я люблю этот город вязевый...

С. Есенин

Москва. Август 1912 — март 1915-го. В три московских года жизни начинающего поэта уместилось многое: работа в типографии ради хлеба насущного и роман с Анной Изрядновой, закончившийся рождением сына; флирт с социал-демократией и полтора года образования в университете Шанявского; признание в литературно-музыкальном Суриковском кружке и переписка в письмах с другом юности Гришей Панфиловым.

Первая встреча с "порфироносной вдовой", "городом вязевым", "сердцем России" произошла у него год назад. Есенин вспоминал, как он впервые бродил вокруг златоглавых соборов и дворцов Кремля, как возле Китайской стены попал в шумное чрево Никольского книжного рынка. С затаенным дыханием листал он тогда сборники русских былин, бережно ощупывал старые издания "Слова о полку Игореве", прицененялся к заветным томикам Лермонтова, Некрасова, Кольцова... И вот он снова в Москве, в комнатке у отца, в доме на Строченовском переулке. Он заходил в этот дом с тяжелым сердцем: отец не верил, что можно прожить на деньги, заработанные стихами. Ему казалось, что ничего путного из стихотворства не выйдет. Именно поэтому, получив впервые гонорар за стихи, Есенин отдал его отцу. Целых три рубля! Эти рубли стали как бы доказательством его правоты в споре с отцом. Отец отнесся к жертве весьма спокойно, не счел ее священной и все равно не дал отцовского благословения на стихотворство... Но это случилось чуть позже, в 1914 году, а пока, летом 1912-го, отец устроил сына в контору к своему хозяину с условием, что Сергей осенью поступит в учительский институт. Однако Сергей сразу же показал характер: ему не понравились конторские порядки — не мог примириться с тем, что всем служащим конторы, словно школьникам, надо вставать, когда к ним заходит хозяйка. Через неделю он взял расчет и заявил отцу, что ни в какой учительский институт не пойдет и что сам будет искать себе место в жизни.

Из письма Грише Панфилову в Спас-Клепики: "Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом, не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души... Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить—спать и после сна на мгновение сознаваться, слишком скверно. Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю".

Письма Есенина к Грише Панфилову—удивительная страница жизни поэта. Он посылал их из Москвы с 1912 по 1914 год. Было ему тогда 17—18 лет. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Блока—да кого угодно возьмем—Гоголя, Некрасова, Тютчева—мы не найдем в таком возрасте столь глубоких размышлений, вопросов о самых сложных тайнах бытия, совести, человеческого призвания, религиозного поиска. Диапазон сомнений и чувств в письмах поистине необъятен—от наивности до мудрости, от глубочайшей веры до отчаянья, от мучительного самоанализа до растворения своего "я" в море христианского чувства. Именно последнее обстоятельство сыграло роковую роль в том, что содержание писем не исследовалось всерьез.

"Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как образец в последовании любви к ближнему.

Жизнь... Я не могу понять ее назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому неизвестно. Невольно почему-то лезут в голову думы Кольцова

"*Мир есть тайна Бога,*
Бог есть тайна мира".

Да, однако, если это тайна, то пусть ей и останется..."

Автору этих мыслей всего лишь семнадцать с половиной лет. Из письма Грише Панфилову от 23.4.1913 года: "Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего? Ох, Гриша! Как нелепа вся наша жизнь. Она коверкает нас с колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды... Меня считают сумасшедшим и уже хотели было везти к психиатру, но я послал всех к сатане и живу, хотя некоторые опасаются моего приближения... Да, Гриша, люби и жалей людей — и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей... *Все люди— одна душа. Истина должна быть истиной, у нее нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега...* Нет истины без света, и нет света без истины, ибо свет исходит от истины, а истина исходит от света. Что мне блага мирские? Зачем завидовать тому, кто обладает талантом, — я есть ты, и мне доступно все, что доступно тебе. Ты богат в истине, и я тоже могу достигнуть того, чем обладает твоя душа... Так вот она загадка жизни людей... Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди: вокруг тебя стоны и плач заглушают твою радость..."

Право, если бы не поэтический талант, то Есенин смог бы стать незаурядным религиозным проповедником, ибо перед нами не письмо, а готовая проповедь...

Кто-то из древних проницательно заметил, что "душа человеческая от рождения христианка". Видимо, есенинская душа была именно такой. Но с одной поправкой: на нее роковую печать наложили все религиозные сомнения русского двадцатого века, что сделало душу поэта родственной душам главных героев Достоевского. Через год с небольшим после того, как он написал Грише Панфилову о том, что "Христос для меня совершенство", двадцатилетний Есенин сочиняет письмо Маше Бальзамовой, в котором обнаруживает глубокое знание характеров Ставрогина, либо Версилова, либо вообще человека "из подполья". Актерское самоуничижение, которое он выказал в этом письме, поистине восхищает: "...хранить письма такого человека, как я, — не достойно уважения. Мое я — это позор личности. Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту, — и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека, — у меня... Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек... Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, — подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь..." И далее он заключает почти что как Раскольников: "Значит, я еще больше мерзкий человек".

Такое письмо талантливый русский девятнадцатилетний интеллигент, конечно же, мог написать лишь после того, как целых два русских поколения "прошли" через Достоевского, угадавшего в новых людях такую веру и одновременно такое религиозное сомнение, что оно могло быть разрешено либо выстрелом в Распятие, либо расщепкой иконы на лучину, либо залихватскими, похабными надписями на стенах Страстного монастыря...

Любопытно в этом письме еще одно обстоятельство, подтверждающее то, что Есенин мог играть уже в 20 лет с петроградскими мэтрами, словно кошка с мышками. Он цитирует Бальзамовой строки из Сологуба: "Хулу над миром я поставлю и соблазняя — соблазню". И добавляет: "Эта сологубовщина — мой девиз". А год спустя он побывал у Сологуба, и тот рассказывал Георгию Иванову: "Я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал..." Наивный старик! Он и не понял, что его стихи просто не нравились Есенину.

Гриша Панфилов был чуть-чуть постарше Сергея. Его отец служил приказчиком у купца в Спас-Клепиках. В просторном панфиловском доме часто собирались Гришины товарищи по интернату, естественно, и Сережа Есенин приходил с ними и настолько привязался к Гришиному дому, что частенько оставался там ночевать, и вскоре они стали близкими друзьями. Гришина мать Марфа Никитична из всех учеников выделяла Сергея: "Может потому, что видела, как он тоскует по дому, по материнской ласке". Когда Сергей писал Григорию письма, тот умирал от скоротечной чахотки. (Отсюда, видимо, и у Есенина позднее были приступы страха перед этой болезнью). Наверное, осознание близкой утраты лучшего друга и побуждало Есенина исповедоваться перед ним, искать в глубинах души

все самое искреннее, человечное, доброе, что он обычно таил от других. Не потому ли его письма похожи на сокровенные страницы дневника, на тайную исповедь человека, пишущего для себя, для своей совести, а не для кого-то другого: "Мои муки—твоя печаль, твоя печаль—мои терзанья. Я, страдая, могу радоваться твоей жизнью, которая протекает в довольстве и наслаждении в истине...

Злобою сердце томиться устало,
Много в нем правды, да радости мало.

Да, Гриша, тяжело на белом свете".

Последнее письмо Есенин написал Грише в феврале четырнадцатого года. В том же феврале Панфилов умер. Он ждал этого письма. Перед смертью все время вспоминал о Есенине.

"Я прихожу в 6 часов вечера,—писал Гришин отец Сергею о последних предсмертных часах сына. — Первым его вопросом было: — А что, папа, от Сережи письма нет? Я ответил: — Нет. — Жаль, — говорит, — что я от него ответа не дождусь." После смерти Гриши Есенин подобных столь искренних и столь исповедальных писем не писал больше никому и никогда...

* * *

В начале марта 1913 года Есенин устроился работать в знаменитую типографию И. Д. Сытина. "Был болен, и с отцом шла неприятность,— писал он через месяц Грише. — Теперь решено. Я один... Ну что ж! Я отвоевал свою свободу. Теперь на квартиру к нему я хожу редко. Он мне сказал, что у них мне нечего делать".

Трудовая жизнь Есенина сразу же осложнилась чрезвычайным событием. Буквально и двух недель не прошло после его устройства на работу, как он попал в центр сомнительной политической интриги: неизвестно при каких обстоятельствах Есенин подписал письмо "пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района", которое, как пишет один из исследователей жизни Есенина, "резко осуждало раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газеты "Луч". Дело это было сугубо партийное, склочное, сектантское, в его основе лежали противоречия между семью депутатами-меньшевиками и шестью депутатами-большевиками, которые составляли в Государственной Думе одну социал-демократическую фракцию. "Семерка" имела перевес в один голос перед "шестеркой" и проводила какую-то "ликвидаторскую платформу". Письмо, подписанное пятьюдесятью "сознательными рабочими", среди которых была и подпись Есенина, начиналось так:

"Мы, нижеподписавшиеся, пять групп сознательных рабочих Замоскворецкого района гор. Москвы, прочитав в газетах "Правде" и "Луч" о тех разногласиях, какие существуют среди депутатов с.-д. фракции и рабочей прессой, мы приветствуем отказ шести депутатов от сотрудничества в газете "Луч"... Мы возмущаемся тем насилием, производимым семи против шести, которые лишают последних возможности проводить взгляды пославших их, требовать осуществления тех начертанных старых лозунгов, за которые боролись и пали жертвой наши товарищи в 1905 году... Ликвидаторы, приспособляясь к национальным чувствам народности, идя к им навстречу, для того чтобы привлечь их в свой лагерь, выставляют требования: "Культурно-национальную автономию". Этим самым ослабляют единство пролетариата России к Интернационалу. Идя на компромисс с правительством и реакцией, выставляют требования полного народного представительства, а не полновластия народа... Мы глубоко возмущаемся узурпаторствам семерки против шести. Если они будут уклоняться и дальше от старопрограммных требований... прикрываясь единством, а в принципе делая раскол, то мы их более не можем признать как принадлежащих к с.-д. п.... Кто же является в действительности раскольником, антиликвидаторы, признающие подполье и партию, объединившись вокруг газеты "Правда"... или, может быть, ликвидаторы "Луча", ведущие борьбу против подполья и старой партии?"... И т. д. и т. п.

Мы так подробно цитируем это полуграмотное, написанное на революционно-местечковом жаргоне письмо только потому, что оно наглядно свидетельствует, как задолго до 1917 года в недрах социал-демократии уже вырабатывался склочный, сектантский, мертвенно-бюрократический стиль борьбы за власть, как легко эти косноязычные штампы перешли в резолюции и постановления пар-

съездов и партконференций двадцатых годов, в формулировки о "правом" и "левом" уклонах, о всяческих "троцкистских", "военных", "рютинских", "шляпниковских", "профсоюзных" и прочих оппозициях. Это письмо, написанное якобы "пятью группами сознательных рабочих", но составленное каким-то партийным функционером, хорошо знающим расстановку внутрипартийных сил, настроения и политику партийных лидеров, живших в это время то ли в Швейцарии, то ли в Париже, стало на десятилетия "праосновой" всех документов подобного рода, писавшихся от имени "сознательных рабочих", "общественности" (обязательно "прогрессивной"), от имени крестьянства (обязательно "трудового"), от имени пролетариата (обязательно "мирового"). Впрочем, стиль этот сложился уже в 70-е годы XIX века. Народнические штампы практически без изменений перекочевали в документы, составленные марксистами. Манифест "Народной расправы" или лавровские статьи мало чем отличались от документов группы "Освобождение труда".

Несомненно, что стратегия письма вырабатывалась ленинским окружением или даже им самим, писавшим в это же время: "Каждый русский социал-демократ должен сделать выбор между марксистами и ликвидаторами". Можно не удивляться тому, что Ильич был прямо или косвенно причастен к тексту письма. Оно в его стиле: его въедливая казуистика, его демагогический напор, его сектантская ярость.

А грозные штампы вроде "мы нижеподписавшиеся", "мы приветствуем", "мы глубоко возмущены", "мы их более не можем признать", "мы предлагаем", выработанные в письме, утвердились на десятилетия как образцы классического железобетонного стиля для сотен и тысяч писем и постановлений подобного рода, без которых невозможно себе представить историю партии.

Ну разве можно поверить в то, что Есенин, думающий в это время о тайне Бога и тайне Человека, действительно стал разбираться во всей этой сектантско-подпольной казуистике, в этой меньшевистско-большевистской разборке? Что он мог вникнуть в политические хитросплетения всяческих Малиновских, Бадаевых, Петровских и прочих социал-демократов, заваривших эту кашу? Есенин, спрашивающий в это время в письмах к Грише Панфилову — "что есть Христос?", Есенин, буквально в те же дни писавший умирающему другу: "люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей"? И вдруг: "ликвидаторы", "антиликвидаторы", "платформы", "фракции"! Есенин, который их речей, их программ, их внутрипартийных злобных и мелких распрей уже и тогда, конечно, "ни при какой погоде" не читал, чтобы он "сознательно" подписал письмо, инспирированное какими-то функционерами, как "мнение народное"? Есенин, всего только две недели ставший рабочим-экспедитором (то есть грузчиком) при типографии? Есенин, в это время запоем читающий Блока, Клюева, Андрея Белого?

Об этой, видимо, совершенно случайно поставленной юношей подписи приходится говорить столь подробно потому, что история с письмом сыграла определенную роль в его судьбе. Она привела к полицейскому расследованию дела (письмо, адресованное депутату Государственной Думы В. Малиновскому, попало в полицию), к поискам "сознательных рабочих", его подписавших, а в конце концов даже к слежке за Есениным и к двум обыскам на квартире, которую он тогда снимал. Несколько месяцев полиция разыскивала "подписантов". Дело было не простым: одних "Есениных", как сообщил адресный отдел охранному отделению, в Москве в то время проживало аж 200 человек. Лишь через несколько месяцев после письма полиция всех "вычислила", вышла на Есенина, за ним в начале ноября на целую неделю было установлено наружное наблюдение, на него был заведен журнал, на обложке которого было указано: "1913 год. Кличка наблюдения — "Набор". Установка: Есенин Сергей Александрович, 19 лет". Царская бюрократия бросила вызов бюрократии социал-демократической. Целую неделю филеры добросовестно писали в журнале — во сколько Есенин выходил на работу, во сколько возвращался, когда заходил в "мясную и колониальную лавку", когда к нему на свидание приходила его уже беременная на седьмом месяце гражданская жена Анна Изряднова. Ей тоже дали кличку — "Доска". Следили, писали, наблюдали целую неделю, потом, видимо, решили, что толку не будет. На всякий случай в ноябре произвели на квартире Есенина второй обыск. Первый был в сентябре. Ничего не нашли. Никаких прокламаций, никакой социал-демократической брошюрятины. И отстали...

Ну какие еще у Есенина были заслуги перед социал-демократическим дви-

жением? В начале 1913 года он помогал распространять суриковский журнал "Огни". Есть воспоминания о том, что иногда "приходил домой с целой охапкой прокламаций, возбужденный, взволнованный. Надо прокламации разослать по адресам". Видимо, Есенин бывал на каких-то рабочих собраниях и митингах. О том, чтобы выступал на них — ничего неизвестно. Когда сытинская типография бастовала, естественно, не работал и он, то есть бастовал. Словом, у есенинских биографов 50 — 80-х годов было несколько мелких оснований предполагать, что Есенин играл в типографии какую-то роль эпизодического пропагандиста, маленького "винтика" большого пролетарского дела. Но количество страниц, исследований и диссертаций, исследовавших этот сюжет, было несоизмеримо велико по сравнению с теми пустячными поручениями, которые выполнял тогда Есенин. На деле он не придавал в дальнейшей свой судьбе этой социал-демократической странице своей жизни никакого значения. Ни в одной из нескольких своих последующих автобиографий он даже не упомянул ни о письме "сознательных рабочих", ни о прокламациях, ни о слежке за ним, ни о двух обысках. О том, что бабушка за сорок километров в Радовецкий монастырь его таскала, о том, что дед "не дурак был выпить", о том, что он самой императрице стихи читал — помнил, а о своем революционном прошлом — ни слова. Легенду о революционных заслугах он предоставил сочинять есениноведам. А уж легенды он, когда хотел, умел сочинять сам, как никто другой. Каким бы революционером-профессионалом Есенин мог изобразить себя в те времена, когда от этого зависело многое—и репутация в глазах Троцкого, Луначарского или Кирова, и благосклонность цензуры, и издание книг, не менее обильное, чем у Демьяна Бедного, и получение квартиры. Маяковский в своей автобиографии не забыл ничего. Все вспомнил. А Есенин "забыл" все начисто. Тьфу! Плюнул на свои революционные заслуги и растер ногою...

Сразу после второго обыска он с легкой иронией пишет Грише Панфилову: "Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все. Живется мне тоже здесь незавидно". Но почему? Потому ли, что слежка и обыски? Нет, Есенину не по себе по другим причинам, о чем он дальше пишет уже безо всякой иронии: "Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер... Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала... Есть, но которые только годны на помойку вроде "Вокруг света", "Огонек"...

Вот где собака зарыта, вот почему, побаловавшись игрой в "сознательного рабочего", Есенин начал собираться в Питер, который влечет его отнюдь не как "колыбель" будущей революции, а как средоточие настоящей литературной жизни.

* * *

Типография "товарищества И. Д. Сытина", где Есенин сначала работал грузчиком в экспедиции, а потом корректором, была крупнейшей в России. Каждая четвертая русская книга печаталась здесь. Сам хозяин приехал в Москву, будучи еще моложе Есенина (четырнадцати лет), из костромской глуши. Так же, как Есенин, без копейки в кармане. По-есенински без отцовской помощи поступил "мальчиком на побегушках" в книжную лавку на Никольском рынке, что раскинулся возле Китайгородской стены. (Есенин двадцатью годами позже, как и Сытин, зарабатывал какое-то время на жизнь в книжной лавке на Страстной площади.) Четыре года Сытин отворял в книжной лавке дверь посетителям. Но, как вспоминает писатель Н. Телешов: "Призванный "отворять двери" в книжную лавку, Сытин впоследствии... во всю ширь распахнул дверь к книге, так распахнул, что через отворенную дверь он вскоре засыпал печатными листами города и деревни, и самые глухие "медвежьи углы" России". Интересы народного просвещения для Сытина всегда были выше интересов предпринимательских. Он был человеком из породы Третьяковых, Мальцовых, Сувориных, Морозовых, работавших для России и ценивших русского человека. "Это великолепный, может быть, лучший в Европе рабочий! Уровень талантливости, находчивости и догадки чрезвычайно высок... Во главе моей фабрики, которая как-никак была самой большой в России и насчитывала сотни машин, стоял сын дворника, человек без образования и без всякой технической подготовки... Как он вел дело? Выше всякой похвалы", — писал уже после революции Сытин в книге воспоминаний.

Вскоре после того, как Есенин устроился в типографию, он познакомился с молодой москвичкой Анной Изрядновой и ее сестрами Серафимой и Надеждой. Три "чеховских сестры", жившие, однако, в Москве, были типичными прогрессивными девушками той эпохи. Сами зарабатывали себе на жизнь, бегали на лекции и митинги, увлекались модными поэтами Бальмонтом, Северяниным, Ахматовой. Сергей Есенин при первой же встрече взволновал сердце Анны: "Пришел он, кроткий, застенчивый, стесняющийся всех и всего... По внешнему виду на деревенского парня похож не был... На нем был надет коричневый костюм, высокий крахмальный воротничок и ярко-зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие окрестили его по первому впечатлению вербочным херувимом. Был он очень заносчив, его невзлюбили за это". Как все случилось дальше, можно только гадать: то ли молодая Анна (носившая, кстати, особенно притягательное для поэта имя) влюбилась в "сказочного херувима", то ли он, страдавший от одиночества, ушедший от отца, не нашедший в Москве друзей, истосковался по чьей-нибудь заботе и ласке? Но, как вспоминает Изряднова, "ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать".

Молодые сняли комнату возле Серпуховской заставы и начали семейную жизнь. Однако скоро выяснилось, что Есенин не из тех мужей, которые ищут счастья в семейном очаге, в жене, в детях, в налаженном быте. "Жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить",— жаловалась Анна. А думать между тем надо было: Анна ждала ребенка, но Есенин как бы не замечал этого. Его внутреннее состояние резко и капризно меняется. Он мечется, не зная, как ему жить и что делать дальше. Жена ждет ребенка, а он летом 1914 года бросает работу в типографии: "Москва неприветливая — поедем в Крым". В Крым едет, но без жены—не хватает на двоих денег. Из Крыма кое-как вернулся через месяц — Анна была вынуждена пойти на поклон к отцу Есенина и выпросила у него деньги на обратную дорогу для Сергея. Есенин возвращается, но, как вспоминает Изряднова, "опять безденежье, без работы, живет у товарищей". Чтобы как-то содержать семью, он снова в отчаяньи идет на корректорскую работу в типографию Чернышева-Кобелькова. Но его энергии хватает всего лишь на два месяца: "Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями... В конце декабря у меня родился сын" (А. Изряднова). Молодая жена уже почувствовала, что его "чистота" и "свет", его "нетронутая хорошая душа" предназначены не для семейной жизни, а для чего-то другого. Хотя, воротясь домой с ребенком на руках, она была тронута: "У него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: "Вот я и отец"... "Твердить-то твердил, но "в марте поехал в Петроград искать счастья". От добра добра и от счастья счастья не ищут. Юная мать, видимо, понимала, что убранная квартира, обед с пирожными — это лишь трогательный эпизод и с виноватой застенчивостью пишет: "Есенину пришлось много канителиться со мной". Есенин же в это время был занят только мыслями о стихах, о будущей поэтической судьбе, и, конечно же, его первый брак (впрочем, как и все остальные) был обречен на неудачу. Несмотря на то, что Изряднова была верной и преданной ему женщиной, одной из тех, по воспоминаниям современницы, "на которых мир стоит".

В подобной ситуации разные поэты ведут себя по-разному.

Я бедствовал, у нас родился сын,
Ребячество пришлось на время бросить, —

писал о подобном же периоде своей жизни Борис Пастернак. Есенин бросить свое "ребячество" не мог и не желал. Но воспоминание о прошедшем осталось, и причудливым образом оно высветится в стихах 1916 года:

Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.

И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

Но о преданности ему Анны Есенин помнил всегда. В трудную для него осень 1925 года пришел именно к ней на Вспольный переулок, в ее полуподвальную комнатку, попросил затопить плиту, вытащил какой-то сверток с бумагами и стал бросать их в пламя: "В своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным".

Точно так же незадолго до смерти Александр Блок сжег какие-то свои бумаги и записные книжки. У поэтов, видимо, есть предчувствие, когда им пора освобождаться от лишних бумаг. Что сжег Есенин в сентябре 1925 года, мы не узнаем никогда.

В последний раз Анна Изряднова видела его перед роковой поездкой в Ленинград: "Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: "Что? Почему?" — говорит: "Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, скоро умру". Просил не баловать, беречь сына".

Не уберегла. Юрий Есенин был расстрелян 27 июня 1937 года в Москве, где и родился, по обвинению в подготовке к покушению на Сталина.

* * *

В семидесятые годы прошлого века в Москве вокруг довольно известного в то время поэта Ивана Сурикова образовался кружок литераторов, который стал называться "Суриковским". Он объединял начинающих писателей из рабочей и крестьянской среды и был тем очагом культуры, возле которого грелись не великие и знаменитые, но по-своему тянущиеся к литературе люди. Весной 1912 года в суриковский кружок Есенина привел его московский знакомый, тогдашний руководитель кружка, С. Кошкаров. Есенин был принят сначала членом-соревнователем, а в начале 1914 года оформил свое полное членство, написав следующее заявление: "Настоящим покорнейше прошу Совет кружка зачислить меня в действительные члены. Печатные материалы появлялись: "Рязанская жизнь", "Новь", "Мирок", "Проталинка", "Путеводный огонек".

Все перечисленные журналы были крохотными, малоизвестными детскими и юношескими изданиями. Но тем не менее для поэта все-таки был праздник, когда в журнале "Мирок" он увидел первое свое опубликованное стихотворенье "Береза" под высокопарным псевдонимом "Аристон", заимствованным у Державина.

Правда, в письмах к Бальзамовой он сообщал ей о публикациях своих стихов под еще одним "красивым" псевдонимом — "Метеор", но эти материалы до сих пор не обнаружены, так же, как и первая публикация стихотворения "Сыплет черемуха снегом...", о которой через десяток лет Есенин рассказывал Ивану Никаноровичу Розанову—своему возможному биографу и которое уже содержало в себе мотив ожидания чудесного пришествия.

Радугой тайные вести
Светятся в душу мою...

Суриковский кружок был своеобразным профсоюзом, где существовала касса взаимопомощи, устраивались выставки, существовало слабенькое кооперативное издательство. Некоторое сектантство суриковцев было явлением неизбежным, потому что, отворачиваясь от питерской дворянской и интеллигентской литературы, они считали, что в их кружке "действительным членом может быть писатель, вышедший из народа и не порвавший с ним духовной связи". Этот народнически-классовый, вульгарный подход к литературе, своеобразная "махаевщина" на короткое время подействовали на Есенина и как бы "помрачили" его сознание, о чем свидетельствует одно из писем поэта к Грише Панфилову, в котором он выражал "симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златовратский" и вдруг отказывал в любви Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Гоголю... "Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский..." Но вульгарное народническое помрачение и рецидив писаревщины у Есенина быстро выветрились, и, к счастью, больше они к нему никогда не возвращались. Около года Есенин грелся возле суриковцев, слушал их стихи,

"полные печали и гнева", призывающие народ к борьбе "с темными силами". Вершиной славы суриковцев было стихотворенье Филиппа Шкулева "Мы кузнецы и дух наш молод, куем мы к счастию ключи..." Есенин в подражание Шкулеву даже написал своего "Кузнеца": "Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот. Зажигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод..." Однако поэт быстро понял, что путь социально-народнических деклараций не для него, и резко отошел от самодеятельности кружковцев. Как это происходило—в 1926 году весьма выразительно рассказал критик и публицист Г. Деев-Хомяковский. Из его воспоминаний явствует, что суриковцы приняли Есенина лишь как перспективного общественника и пропагандиста передовых идей, умеющего писать стихи: "Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков-литераторов, но и на политическую работу... Под видом экскурсий литераторов мы... ввели Есенина в круг общественной и политической жизни... Сережа был очень ценен... как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы... Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник."

Им "казалось", а Есенин уже в свои девятнадцать лет быстро постигал науку жить своим умом. Авторитетным старейшинам кружка — Кошкарову, Дееву-Хомяковскому, Завражному, Арскому вскоре стало казаться странным, что юноша через несколько месяцев после того, как его заметили, обласкали, устроили на работу, не делает никаких усилий, чтобы стать хорошим "общественником". ("Правда, нам через товарища Клейнборта удалось на некоторое время задержать падение Есенина".) Ему гораздо интереснее было ходить в университет Шанявского, вести переписку с питерскими журналами, постоянно отлучаться из Москвы то в Крым, то в Константиново, нежели распространять легальную и нелегальную литературу. Он уже не тот, каким был в первые месяцы дружбы с суриковцами, когда "выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны со значительным риском". Думается, что Деев-Хомяковский значительно преувеличивает степень риска во время выступлений, но он фиксирует, что вскоре Есенин "стал выказывать некоторую нервозность", стал тяготиться "безденежьем" суриковского кружка, не позволявшим кружковцам издавать свои книги. А когда в марте пятнадцатого года Есенин уехал в Питер, то, по словам Хомяковского, "с этого момента и начинается гибель Есенина, как поэта-общественника, и появляется поэт тоскующей лиры", "он окончательно ушел в салоны", "это возмутительное хождение Есенина по салонам окончательно заставило кружок, вследствие ареста ряда товарищей переживавший тяжелый кризис, порвать окончательно с ним (Есениным)". В последнем письме, посланном суриковцами Есенину, "указывалось на его предательство дела рабочих и крестьян". Вот так. Ни больше ни меньше. Суриковцы даже после смерти поэта так и не поняли, что в пятнадцатом году ему нужны были не маевки и нелегальщина, а лучшие поэты России, лучшие ее газеты и журналы, находящиеся в столице, лучшие издательства. А тут—Арский, Клейнборт, Шкулев... Когда Есенин читал им свои стихи, то, по воспоминаниям очевидца, "они, искушенные поэты, просто пожимали плечами в крайнем недоумении и смущении... А когда он кончил читать, то все смотрели друг на друга, не зная, что сказать, как реагировать на совсем непохожее, что приходилось слышать до сих пор".

Любительский, семейный, сектантский уровень суриковского кружка Есенин перерос меньше чем за год. Но с ним считались, и когда зимой пятнадцатого года он прочитал на очередном заседании кружка стихотворенье "Русь", то был избран в редколлегию журнала "Доброе утро" и ...тут же повел себя, как хозяин. Он сразу заявил, что уровень стихотворений, публикующихся в журнале, жалок и что надо отбирать стихи более строго. Редколлегия возмутилась, и Есенин был выведен из ее состава. В отместку он через день принес старейшинам-суриковцам заявление: "Прошу Совет кружка вычеркнуть меня из числа действительных членов и возложенных на меня обязанностей кружка". Не очень грамотно, но очень ясно Есенин сказал кружковцам, что делать ему у них больше нечего.

Когда речь шла о его поэтической судьбе, Есенин уже в молодости умел принимать самые резкие решения и делать самые рискованные шаги, не обращая внимания на недовольство товарищей, помощников, меценатов. В будущем эта способность к разрывам и к стремлению жить своим русским умом не раз помогала поэту разговаривать на равных с самыми значительными людьми его эпохи.

* * *

Гораздо больше, нежели суриковский кружок, дал Есенину народный университет Шанявского, который он начал посещать с начала сентября 1913 года. Меценат польского происхождения, Альфонс Львович Шанявский, разбогатевший на золотых сибирских рудниках, в 1905 году предложил Московской городской думе "принять от него в дар дом в Москве для почина, в целях устройства и содержания в нем или из его доходов народного университета". Три года дебаты о том, открывать или не открывать, шли в Государственной Думе. Пуришкевич не без оснований предупреждал депутатов, что новый народный университет может стать "источником новых вспышек революции". В том же духе высказывался и министр просвещения Шварц. Однако сопротивление охранителей и консерваторов было в конце концов сломлено, и в 1913 году университет открылся. Преподавателями института были поэт Валерий Брюсов, критик Юрий Айхенвальд, ботаник К. А. Тимирязев, физик П. Н. Лебедев, московские гуманитарные профессора П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, М. Н. Сперанский. Полтора года университета дали Сергею Есенину ту основу образования, которой так ему не хватало до сих пор.

"Слушаем лекцию профессора Айхенвальда, — вспоминает однокашник Есенина по университету Б. Сорокин,—он почти полностью цитирует высказывание Белинского о Боратынском. Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу, как его рука с карандашом бежит по листу тетради: "Изо всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит Боратынскому". Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает. После лекции идем на второй этаж. Остановившись на лестнице, Есенин говорит: "Надо еще раз почитать Боратынского."

Вместе с товарищами-шанявцами, будущими поэтами Василием Наседкиным, Николаем Колоколовым, Дмитрием Семеновским Есенин наслаждается культурной жизнью Москвы, бродит по Третьяковской галерее, задумывается над картинами Поленова, Репина, Левитана.

— Смотрел Поленова. Конечно, у "Оки" его задержался и так потянуло от булыжных мостовых домой, в рязанский простор,—обмолвился он как-то Борису Сорокину.

Их компания собирается в маленькой квартирке студентки Марии Бауер, дочери богатого сибирского промышленника, впоследствии в 30-е годы ушедшей в ссылку по "делу" старшего друга Есенина критика Иванова-Разумника. Мария угощает их чаем с пирожными, кокетничает с Есениным, предлагает всем вместе пойти на "Вишневый сад", посмотреть тогда уже знаменитых актеров—Качалова, Москвина, Леонидова, Книппер-Чехову... "В антракте... облокотившись на кресло, Сергей молчит. И только когда Наседкин спросил его, нравится ли спектакль, он, словно очнувшись, сердито проронил: "Об этом сейчас говорить нельзя! Понимаешь?"

На одном из поэтических вечеров в университете Есенин прочитал новые стихи:

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

О своем впечатлении от стихов один из студентов вспоминает так:

— Особенно хороши были стихи о деревенской природе. Как на свежий стог сена сел...

Именно в университете Есенин впервые и основательно знакомится с европейской и американской литературой, впоследствии он свободно будет ориентироваться в ней, вспоминая произведения Данте, Шекспира, Оскара Уайльда, Эдгара По, Лонгфелло, Уитмена. Услышав о молодом поэте, его приглашает к себе маститый профессор Сакулин, просит почитать стихи. "Отзыв критика был, повидимому, очень лестен для Сергея. Из передаваемых им подробностей этого визита я помню, что стихотворенье "Выткался на озере..." Сергей для Сакулина читал дважды" (Н. Сардановский). Но с кем бы он ни встречался, какие бы разговоры и споры ни вел, а к концу 1914 года он все чаще и чаще повторял:

— Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет!

Судьбоносное решение было окончательно принято. В марте пятнадцатого Есенин сошел на платформу Николаевского вокзала. Не зная, где искать Блока, побрел по Невскому, увидел большую книжную лавку, зашел. Робко спросил продавца, не знает ли он, где живет поэт Александр Блок. Продавец, к счастью, знал адрес...

По сравнению с тем юношей, который появился в Москве три года назад, Есенин, идущий по Невскому, был уже другим человеком. За эти три года он навсегда расстался с мыслью о работе, о службе, о постоянном заработке. Его будущая жизнь виделась ему только как жизнь поэта, только как жизнь свободного художника.

Он навсегда — ясно ли, смутно ли, но понял, что поэзия уже окончательно взяла его душу в полон, и не его судьба, не его дело — семья, дети, жена, уют, спокойствие. Ни сил, ни желания у него для этой столь необходимой каждому нормальному человеку стороны жизни не будет. Женщины, романы, увлечения— другое дело, как же поэту без них!

Он навсегда расстался с мыслями о своем месте в революционном движении, о социал-демократических соблазнах, с мыслями о нелегальщине, общественной работе, политической карьере. Он поэт. А все, что было,—временная лихорадка молодого незрелого ума.

Он навсегда расстался с иллюзиями удобного самодеятельного полуграфоманского существования при всякого рода кружках и литобъединениях типа суриковского. Он — Сергей Есенин, а они — все остальные.

Он на всю жизнь понял, что таких исповедальных писем, какие ему довелось писать Грише Панфилову, он больше никому и никогда не напишет. Во всех будущих письмах он откровенен, но в меру, практичен, прикрыт маской, защищен тем своим пониманием жизненного успеха, о котором сказал в "Черном человеке": "Казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство". А вся исповедальная энергия его души отныне только в стихах.

IV

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПАРНАС

Быть в траве зеленым и на камне серым...

Н. Клюев.

Итак, к весне 1915 года девиз Есенина "В Москву! В Москву!" сменился другим: "В Петербург! К Блоку! К Блоку!"

Но в "Автобиографии" поэт пишет нечто странное:

"19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде". Как бы случайно попал, по пути, проездом. А вообще мог бы и не заезжать... Лукавил Есенин, лукавил. Не хотелось ему, признанному поэту, в 1923 году, когда он сочинял свою очередную автобиографию, признаваться читателям в том, что в Москве он спал и видел, как бы добраться до столицы, до короля поэтов Александра Блока, до признания петербургской элитой его, Сергея Есенина.

С высоты своего опыта и всероссийской славы 1923 года Есенину, видимо, уже казались малодостойными и умаляющими его эти честолюбивые планы, и поэт умело замаскировал их: "попал проездом"...

Анатолий Мариенгоф, видимо, был более точен, когда в "Романе без вранья" записал следующий рассказ Есенина:

"Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом..."

Возможно, что Есенин держал в уме: если его попытка завоевать Петербург будет неудачной—тогда делать нечего, придется ехать в Ревель. Но, скорее всего, он прогонял от себя всякие мысли о неудаче. Петербург должен пасть перед его, Есенина, натиском. Путь к завоеванию лежал через признание Есенина Блоком. Недаром, не теряя ни одного дня, прямо с вокзала он отправился на Офицерскую. Не застав Блока, написал ему записку: "Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть,

где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин".

И как охотничья собака по следу, ринулся Есенин на поиски Блока по Петербургу. Сначала в редакцию "Огонька". Блока там не было. Подождав в приемной какое-то время, нервничая, комкал свою старенькую кошачью шапку, когда в приемную редактора, где он сидел, отворялась дверь, с надеждой вскидывал голову: кто пришел? уж не Блок ли? Не вытерпел: а вдруг Блок уже воротился домой, а он здесь сидит, теряет золотое время? Попросил клочок бумаги, на котором торопливо и уже безо всяких подробностей и безо всякого политеса нацарапал: "Я — поэт, приехал из деревни, прошу меня принять". Записка, по сравнению с той, которую Есенин оставил на квартире Блока, была глуповатой и бестактной, но он от волнения уже не понимал ничего. Хлопнул дверью и помчался на Офицерскую. Дверь квартиры ему отворил сам Александр Александрович. Высокий, статный, замкнутый, в темной домашней фланелевой куртке с белым воротничком. Через десять лет после того свидания уже знаменитый Сергей Есенин напишет в последней своей "Автобиографии":

"Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта".

Тем самым Есенин сразу как бы отделил и Блока, и себя от всех якобы поэтов, с которыми ему пришлось встречаться в трехлетний московский период жизни. Всем "суриковцам" и всем "шанявцам", Колоколову, Семеновскому, Филипченко, Белоусову, Кошкарову, Шкулеву — всем им, недавним своим товарищам и наставникам, Есенин как бы отказал в высоком звании "поэтов", потому что "не капал у него пот со лба", когда он встречался с ними...

Вскоре он встретился с Зинаидой Гиппиус и Мережковским, навестил живших в Царском Селе Ахматову и Гумилева, осенью побратался с Николаем Клюевым, приехавшим в Питер, чтобы познакомиться с рязанским Лелем... Но пот на лбу, оттого что Есенин увидел "живых поэтов", уже более не проступал ни разу.

Петербург 1915 — 1916 года жил призрачной жизнью. Прошлое интересовало петербургскую художественную элиту куда больше, нежели непонятное настоящее и грозное будущее.

Петербургские снобы жили в мире Оскара Уайльда и Обри Бердслея, Теодора Гофмана и Карло Гоцци, встречались на спектаклях, воспроизводивших античные и средневековые сюжеты, на выставках старинных портретов, дорогого фарфора, мебели XVIII века, гравюр.

Особняки и квартиры меценатов, модных артистов и художников были обставлены так, словно бы они жили во времена Людовика XVI или в крайнем случае Александра Благословенного. Преобладал стиль модерн, но коллекции составлялись из мебели и безделушек самых разных эпох. Костюмы, прически, манеры— все дополняло этот грандиозный исторический маскарад... Любовь к маскараду в среде петербургской богемы подогревал замечательный поэт и лицедей Михаил Кузмин, с его культом игрушечности окружающего мира, в котором жизнь упрощалась до своеобразного мюзик-холла на сцене "Бродячей собаки", до костюма и причесок.

Есенин, пожелавший завоевать художественный Петербург, не мог, естественно, миновать его соблазнов, о которых предупреждал Александр Блок: "За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души: сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло".

С легкой руки Александра Блока, давшего Сергею Есенину рекомендательные письма для поэта Сергея Городецкого и влиятельного журналиста из "Биржевых ведомостей" Михаила Мурашова, начинается взлет есенинской известности в северной столице.

" — Знаешь, как я на Парнас восходил? — передавал рассказ Есенина Мариенгоф, сильно марширую. —Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? — Ввел. Клюев ввел? — Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? — Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уже он тоненьким таким голосочком: "Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах!.." и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои "ахи" расточая тоненьким

голоском. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!.. Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: "Не надо ли чего покрасить..." И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта сейчас к барину: "Так-де и так". Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: "Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу". Барин предлагает садиться. Клюев мнется: "Уж мы постоим". Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал..."

Наверное, за исключением некоторых деталей, дело обстояло именно так, но Есенину повезло в том, что петербургское общество было как бы подготовлено к его появлению.

Мистическая, экзальтированная любовь к России в военную эпоху достигла своего апогея. Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и Рериха, увлечение вышедшим из олонецких лесов Николаем Клюевым, новые дворцы в древнерусском стиле — все это как бы увенчалось появлением чудесного гостя, вестника, гения из народа, который, в отличие от Клюева, завоевал не только умы, но и сердца пресыщенных искусством петербуржцев.

"Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда", — так написал в 1926 году один из первых покровителей Есенина в Петербурге Сергей Городецкий.

"Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь, но даже такие "метры", как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой" (Р. Ивнев).

Итак, приехав в Петербург 9 марта и в тот же день встретившись с Блоком, Есенин 11 марта—уже у Городецкого. От него получает два рекомендательных письма — к журналисту С. Либровичу, а также к издателю "Ежемесячного журнала" В. С. Миролюбову с просьбами помочь, напечатать, дать авансы, заплатить хорошие гонорары—поскольку появился "новый юный талант" из народа.

Михаил Мурашев, к которому Есенин пришел с запискою от Блока, радушно принимает юношу, кормит обедом, слушает его стихи, оставляет ночевать, а утром отправляет сразу в несколько редакций со своими рекомендательными письмами. Публикации стихов Есенина и отзывы о нем посыпались, как из ведра. Поэта наперебой стали приглашать в салоны петербургских меценатов и на литературные вечера.

Поэт Всеволод Рождественский вспоминает, как уверенно и в то же время умно вел себя Есенин в редакциях тогдашних чопорных журналов.

"...Он вошел в приемную редактора, окинул взглядом не без некоторой дерзости всех ожидающих приема — сесть было негде — тогда зорким взглядом он разглядел по потертой студенческой тужурке начинающего поэта Рождественского и решительно направился к нему через всю комнату:

— Может, вдвоем поместимся?—широкая улыбка сузила его лукавые глаза .— Стихи? — спросил он шепотом.

— Стихи! — ответил ему студент.

Молодые поэты разговорились, а когда к концу их беседы выяснилось, что редактор, которого они ожидали, давно уехал, Есенин расхохотался:

— Ловко! А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного! Ну да ладно! Я еще своего добьюсь. Будут Есенина печатать!"

28 марта 1915 года Есенин был на вечере поэтов в Зале армии и флота, где выступали Александр Блок, Игорь Северянин, Федор Сологуб. Вечером он уже в гостях у молодых поэтов Рюрика Ивнева и Кости Ляндау. А через день читает стихи в редакции "Нового журнала для всех" вместе с Осипом Мандельштамом, Георгием Ивановым, Георгием Адамовичем.

Литературный быт Петербурга той эпохи, достаточно рельефно изображенный Анной Ахматовой в "Поэме без героя", был, конечно же, странен для Есенина. Он сразу почувствовал, что интерес к нему в этом обществе не всегда чист и бескорыстен.

В литературных салонах его окружили молодые поэты, равнодушные к женщинам, остроумные сплетники, представители не столько золотой, сколько "голубой" молодежи. Они пудрили щеки, мазали губной помадой рты, подкрашивали брови и ресницы. Их называли "юрочками", имея в виду самого типичного из

этой среды — Юрия Юркуна, интимного друга Михаила Кузмина, петербуржского "александрийца". Такова же была и атмосфера на вечеринках у Рюрика Ивнева, где однажды Сергея Есенина, который был "гвоздем" вечера, настойчиво попросили спеть частушки, причем обязательно "похабные"... Сергей с легкой ухмылочкой согласился, однако простая деревенская похабщина не заинтересовала изысканных снобов. По углам шушукались одинокие парочки, то ли посмеивались над Есениным, то ли интимничали в своих отношениях. Есенин, обескураженный, стал сбиваться, петь с перерывами, нескладно и невесело. Ему стало не по себе. И когда чей-то голос громко произнес что-то изощренно непристойное, Есенин оборвал частушку на полуслове. Наступило общее неловкое молчание, и развлечение бесславно закончилось.

По-другому проходили его вечера в богатых буржуазных гостиных. За ним ухаживали, ему удивлялись, ахали, охали, его лорнировали толстые дамы, молодого поэта угощали на инкрустированных столах, с тарелок коллекционного фарфора, он сиживал, читая стихи, на золоченых стульях, вдыхая дым благовонных дорогих папирос, которыми дымили под шартрез отцы семейств. Внутренне посмеиваясь над публикой, поэт читал:

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко́,
Старый кот к махотке кра́дется
На парное молоко.

Дамы изнывали от восторга:

— Как вы сказали? "Ухватами"? Прелестно!

— Махотка? Ах, это замечательно! Вы слышали, милочка, как он произнес: "Махотка!" "Мо́-ло́-ко́"! "Ко́-ро́-ва́"! Ну конечно же, он истинный поэт! И кудри, крупные какие, поглядите! Пастушок, истинный пастушок!..

Молодой Есенин улыбался, позволял гладить себя по "бархатной шерсти", воспринимая эти благоглупости спокойно, в чем сказывалась его крестьянская благовоспитанность. Лишь иногда в глазах загорался недобрый огонек и чувствовалось, что долго такое добродушие длиться не сможет.

На всю жизнь Есенину запомнилась встреча в салоне Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, где хозяйка навела на него лорнет и с холодной издевкой спросила:

— Что это на вас за гетры?

Есенин, опешив, что с ним тогда случалось редко, ответил:

— Это валенки!

Прозорливая ведьма не успокоилась:

— Вы вообще кривляетесь!

Несмотря на ставший для него уже привычным успех во время чтения стихов в ее салоне, Есенин всю жизнь не мог простить Зинаиде Гиппиус унижения и растерянности, которые он испытал.

В очерке "Дама с лорнетом", написанном уже после возвращения из-за границы, Есенин дал волю своему застарелому гневу, назвав Мережковского "дураком и бездарностью", а Гиппиус "лживой и скверной". Но, по правде говоря, это было ответом на фельетон Мережковского о Есенине в парижской газете, где почтенный эмигрант тоже не постеснялся в выражениях: "Альфонс, пьяница, большевик..." Любопытно, однако, что Есенин "расплевывается" с Гиппиус, но помнит, что когда-то, в 1915 году, она написала о нем в "Голосе жизни" одобрительную статью под псевдонимом "Роман Аренский" ("Хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные"). Такое признание означало для него в те времена многое. Недаром в своем первом письме Николаю Клюеву от 24 апреля 1915 года Есенин не преминул с похвальбой сообщить будущему другу и наставнику о статье Зинаиды Гиппиус.

То, что юноша уже тогда был себе на уме, все запоминал и вел свою игру, свидетельствует его письмо к Н. Ливкину, написанное через год с лишним после посещения "дамы с лорнетом".

"Когда Мережковский, гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скитании... Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их — и с деньгами, и со всем, что в них есть...

Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны".

Есенин кое-что придумывает и преувеличивает в этом письме ("ночлежки", "взять за горло"), но ясно одно: к славе и успеху он идет самым кратчайшим путем, понимая, как надо использовать всех журналистов, всех издателей, всех хозяев салонов, кто встречается на его пути и кто неравнодушен к нему... Лишь к немногим из них он сохранил на всю жизнь бескорыстные и дружеские чувства.

Он очень рано сообразил, какими средствами достигаются успех и слава. Он пристально следил за журналами и газетами, вырезал все, что они писали о нем. Бюро вырезок, существовавшее тогда в Петрограде, присылало ему все отзывы и рецензии на его стихи. Есенин, живший в то время весьма стесненно, не жалел на это денег.

В ответ на наивное и хвастливое письмо Есенина, в котором тот сообщает о своих успехах ("Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли "Северные записки", "Русская мысль", "Ежемесячный журнал" и др."), о статье Гиппиус, о том, что "осенью Городецкий выпускает мою книгу "Радуница", Николай Клюев, прошедший до Есенина все соблазны питерских салонов, летом 1915 года присылает ему письмо, которое, видимо, было для Есенина чрезвычайно важным и которое, несомненно, помогло ему выжить и не отравиться угаром салонной славы.

Многое из того, что Есенин ощущал инстинктивно, у Клюева было взвешено, измерено и четко сформулировано. Они еще не знакомы. Клюев знает Есенина лишь по стихам и по двум письмам. И тем не менее открывает ему всю свою душу, делится всем своим опытом, и поистине после такого письма брат Николай мог написать в "Плаче о Сергее Есенине" после его смерти: "Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка".

"Голубь мой белый... Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем... Особенно я боюсь за тебя: ты как куст лесной щипицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драченами объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском... Быть в траве зеленым и на камне серым—вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, между тем как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь "Бродячей собаке", где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наинесчастнейшим существом... Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики... Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишья в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: "Да, хорошо быть крестьянином. Видишь ли—неважен дух твой, бессмертное в тебе, и интересно лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, заговорил членораздельно..."

Несомненно, что такие предостережения были необходимы Есенину. Каким бы здравым и трезвым умом ни обладал он сам, — трудно было ему, девятнадцатилетнему, понять, где лесть, где зависть, где искреннее чувство, слишком уж по-ребячески наивно относился он к каждой своей публикации, к каждой статье или газетному отчету, где упоминалось его имя.

"Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось" (М. Мурашев).

А имя его все чаще и чаще попадало на страницы самых разных изданий. И несомненно то, что Есенин, собиравший все упоминания о себе, прочитывал эти номера газет и журналов вдоль и поперек. А исторический, политический и социальный фон, отраженный в изданиях 1915 — 1916 годов, был чрезвычайно поучителен.

Газета "Кубанская мысль" от 29 ноября 1915 года опубликовала стихотворение Есенина "Плясунья".

Ты играй, гармонь, под трензель,
Отсыпай, плясунья, дробь!
На платке краснеет вензель,
Знай прищелкивай, не робь!

В этом же номере статья П. Кузько "О поэтах из народа"—Есенине, Клюеве, Городецком. И тут же информация "Еще о "черном съезде", в которой журналист издевается над черносотенцами, сеющими панику от предчувствия какой-то наступающей мифической революции: "А шумят-то как! В России — революция. Москва и Петроград уже захвачены революционерами. Отечество на краю гибели". (История показала, кто был прав — прогрессивный журналист или реакционеры-черносотенцы.)

В солидных "Биржевых новостях" от 13 декабря 1915 года опубликовано стихотворение Есенина "Магдалина", тут же — информация об отъезде государя императора в действующую армию, но что самое любопытное — газета призывает своих читателей подписываться на 1916 год и привлекает их списками авторского актива газеты. В нем, наряду с литературными знаменитостями В. Брюсовым, А. Блоком, Н. Гумилевым, А. Куприным, Вяч. Ивановым, Д. Мережковским, — философы Н. Бердяев и Л. Карсавин, политические вожди В. Маклаков и П. Струве, академик Рерих, профессор Ф. Зелинский и... девятнадцатилетний юноша Есенин, который лишь несколько месяцев назад переступил порог салона Мережковских и вытирал пот со лба при свидании с Александром Блоком!

В этом же номере — информация о вечере поэзии Бальмонта ("Лекции Бальмонта были похожи не на лекцию, а на литургию солнцу, огню и луне".)

Рядом, в рубрике "Летопись войны",— "Записки кавалериста" Николая Гумилева — о буднях войны, ее бестолковщине, об окопах, залитых водой, об отступлении, о смертях и ранениях.

И конечно же, опять о черносотенцах. Не могла же уважающая себя газета не пинать тогда в каждом номере этих замшелых антисемитов, то и дело пугавших общество якобы приближающейся революцией!

"Петроградские ведомости" от 11.6. 1915 года:

"Из рязанской губернии приехал 19-летний крестьянский поэт Сергей Есенин. Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделял лучшее в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами. Стихи его очаровывают прежде всего своей непосредственностью; они идут прямо от земли, дышат полем, хлебом и даже прозаическими предметами крестьянского обихода".

Автор рецензии цитирует стихотворение "Пахнет рыхлыми драченами..." и продолжает: "Вот поистине новые слова, новые темы, новые картины! В каждой губернии целое изобилие своих местных выражений, несравненно более точных, красочных и метких, чем пошлые, вычурные словообразования Игоря Северянина, Маяковского и их присных".

Автор заметки — Зоя Бухарова. "Петроградские ведомости" были авторитетной официальной газетой с государственным гербом России — двуглавым орлом— и примечанием: "Сто восемьдесят девятый год издания".

4 ноября 1915 года тот же автор в той же газете публикует рецензию на вечер "Красы" — литературной группы "крестьянских" поэтов и писателей, созданной в 1915 году Сергеем Городецким и Алексеем Ремизовым.

Вечер состоялся 25 октября в концертном зале Тенишевского училища. Рецензентша была очарована Есениным и Клюевым.

"Когда-нибудь мы с восторгом и умилением вспомним о сопричастии нашем к этому вечеру, где впервые предстали нам ясные "ржаные лики" двух крестьянских поэтов, которых скоро с гордостью узнает и полюбит вся Россия...

Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкой вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу уже одним милым доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на "о" рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни ("Русь"), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, когда перед нами предстал овеянный ржаным и лесным благоуханием "Божией милостью" юноша поэт, — размягчились, согрелись, холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля".

В номере от 17 апреля 1916 года "Биржевых ведомостей" было напечатано одно из лучших стихотворений Есенина тех лет "Запели тесные дроги..." — а на первой полосе размышления сербского премьера Николая Пашича, которыми он поделился с корреспондентом газеты незадолго до сараевского выстрела: "Сербия

навсегда связала свою судьбу с судьбой России. Мы, если привязываемся, то навеки, всем сердцем, и никакие испытания не могут поколебать сербских тяготений к своей защитнице... Великая война неизбежна, и тогда-то Россия убедится, кто будет верен ей". Может быть, прочитав эту страницу, Есенин написал сонет "Греция", где были строки:

Возьми свой меч.
Будь Сербии сестрою.

Летом 1915 года Сергей Есенин, по свидетельству сестры поэта Екатерины, за 18 ночей набросал вчерне повесть "Яр", которая вскоре была опубликована в журнале "Северные записки".

20 апреля 1916 года в "Биржевых ведомостях" появилась статья Измайлова "Темы и парадоксы". Статья о Горьком, но одновременно рецензент обращает внимание и на повесть Есенина, что само по себе было необычным (мировая знаменитость и молодой поэт, начинающий прозаик!). Г-н Измайлов понимает, что "Есенин отнюдь не сторонник Горького", он называет его "свободным писателем" и заключает тем, что Есенин в повести, видимо, хотел произнести проклятие деревне, а изрек "благословение". Но дело даже не в оценке первого прозаического опыта Есенина, а в отрывках из публицистики Горького, приведенных в статье, из которых видно — где, в каких салонах и каким людям приходилось в то время читать стихи Сергею Есенину:

"Наживая огромные деньги без труда, без забот, люди болезненно стремились к развлечениям: кабаки и театры битком набиты, развилась маниакальная страсть покупать предметы роскоши. Уж если мы можем похвастаться чем-то перед Европой, так это тем, что у нас воруют бесстыднее и больше..."

Любопытен номер "Биржевых ведомостей" от 10 января 1916 года. Рядом Есенин—стихотворение "Лисица" — и Блок — "Мадонна", некролог А. Куприна, посвященный Анатолию Дурову. А в следующем номере продолжение "Записок кавалериста" Н. Гумилева, которое стоит того, чтобы его процитировать:

"Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать в "гражданстве северной державы", то они незаменимы "в ее воинственной судьбе", а поэт знал, что это — одно и то же".

...Есенин, как комета, ворвался в сонм петербургских светил.

В номере "Биржевых ведомостей" от 25 декабря 1915 года, посвященном "Дню Рождества Христова" — целый парад планет: новелла Леонида Андреева, стихотворенья Мережковского, Бальмонта, Бунина — и Есенин. Но что любопытнее всего — отрывок из "Возмездия" Александра Блока о Польше и Варшаве, начинающийся со строчки "Страна под бременем обид...", напечатан с цензурным исправлением одного блоковского слова:

Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных прусских пошляков?

Но ведь у Блока было "русских пошляков", а цензура, видимо, воспользовавшись тем, что в то время Варшава находилась под немецкой оккупацией, ловко отредактировала строчки Блока, написанные задолго до начала войны.

Анна Ахматова весной 1965 года в разговоре с литературоведом А. П. Ломаном вспомнила, как именно этот номер "Биржевых ведомостей" на Рождество полувековой давности привезли в Царское Село ей и Николаю Гумилеву Сергей Есенин и Николай Клюев.

"Видимо, это было уже на второй или третий день Рождества, потому что он привез с собой рождественский номер "Биржевых ведомостей". Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, ЕСЕНИН весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его "вечный спутник" Клюев.

— Как же, высокочтимая Анна Андреевна, — расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк,— мой Сереженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская "знать", как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты — Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин,Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремизов, Скиталец, Сологуб, Тренев, Тэффи, Шагинян, Щепкина-Куперник, и Есенин, и Клюев. Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя...

Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имен и каких-то идей, ведь ему было всего двадцать лет и он был, или только казался мне, страшно открытым.

Но я чувствовала, что ему очень хочется прочесть его стихи, и попросила прочитать. Он назвал меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать — Сережа, но это противоречило бы всем правилам неписаного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей "вере", вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович.

И он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения, жесты были угловаты.

Край родной! Поля, как святцы,
Рощи в венчиках иконных...
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы—кроткие монашки...

Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые, он считал, имеют особое значение, растягивал, и они действительно выделялись...

Я просила еще читать, и он читал, а Клюев смотрел на него просто влюбленными глазами, чему-то ухмыляясь. Читая, Есенин был еще очаровательнее. Иногда он прямо смотрел на меня, и в эти мгновения я чувствовала, что он действительно "все встречает, все приемлет", одно тревожило, и эту тревогу за него я так и сохранила, пока он был с нами, тревожила последняя строка: "Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть..."

Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был спорить. Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится — уж очень красивые и "о любви много", только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно...

Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви — у него преобладала любовь к далекой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские, и, может быть, поэтому я его в те годы всерьез не принимала..."

Эта запись, сделанная Александром Петровичем Ломаном, опровергает усиленно внедрявшуюся много десятилетий легенду о том, что Ахматова якобы не любила поэзию Есенина.

Воспоминания эти довольно обширны, мы процитировали лишь малую часть, относящуюся к 1915 году, а заканчиваются они так: "Ушел поэт, а это всегда катастрофа. После смерти Блока, ошеломившей меня, это была вторая утрата".

А в тот рождественский день поэты дружески расстались. Ахматова подарила Есенину свою поэму "У самого моря", вырезанную из журнала "Аполлон", с надписью: "Сергею Есенину — Анна Ахматова. Память встречи. Царское село 25 декабря 1915 года". Николай Гумилев подарил ему свой сборник стихотворений "Чужое небо" с подобной надписью...

* * *

Внешняя канва жизни Есенина в 1915 году заплеталась и завязывалась всяческими узелками.

9 марта, в день приезда Есенина в Питер, вышел царский указ об очередном

призыве на воинскую службу, а к концу апреля Есенин отправился в Рязань на призыв в армию. По пути он заехал в Москву, навестил Анну Изряднову с сыном. Менее двух месяцев не было его в Москве, и любящая женщина заметила, что с ним произошли разительные перемены. Он был уверен в себе, излучал обаяние человека возмужавшего и окрыленного, усмехался. "Приехал в Москву, уже другой", — вспоминает Анна.

В конце мая Есенин приезжает в Рязань—на место призыва, но от армии ему удалось отвертеться: "От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли", — писал поэт петербургскому актеру Чернявскому. Поскольку со зрением у него всегда было все в порядке, можно предположить, что Есенин симулировал какой-то дефект зрения. Стоит обратить внимание на замечание В. Чернявского: "Не без зависти и лукавства рассказывал он о деревенских парнях, производящих особым, не очень опасным способом, искусственный вывих конечностей при помощи колеса".

Летом 1915 года Сергей Есенин писал тому же В. Чернявскому:

"Дорогой Володя!.. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере".

Бесполезно было бы до последнего времени искать в изданиях есенинских писем подробный комментарий к инициалу "К". А между тем здесь идет речь о Леониде Каннегисере. Гимназисте, поэте, своего рода "экземпляре" "золотой молодежи" середины 1910-х годов, убийце Моисея Урицкого...

Вот отрывок из эссе Цветаевой "Нездешний вечер". Пир во время чумы... Начало января 1916 года. Пиршество духа собравшихся поэтов в грозовой атмосфере. Действующие лица: Марина Цветаева, Михаил Кузмин, Осип Мандельштам, Константин Ляндау, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Рюрик Ивнев, Леонид Каннегисер, Сергей Есенин.

"Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись— через все и вся — поэты.

Леня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы — на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее.) Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины".

Каннегисер, очевидно, стал одним из его первых петербургских знакомых наряду с Владимиром Чернявским, Рюриком Ивневым, Константином Ляндау.

Они были из слоя "золотой молодежи", которая часто посещала салон Михаила Кузмина, где Есенин сразу же стал ощущаться личностью чужеродной, но лучших из этой молодежи он сразу выделил и потянулся к ним, как и они к нему. Среди немногих был Леонид Каннегисер.

Четыре письма Каннегисер—это все, что сохранилось из его переписки с Есениным. После 1917 года они, очевидно, не встречались, и Есенин никогда впредь не упоминал о друге, поэте, своей рукой уничтожившем кровавого палача Петрограда и погибшем в застенках ВЧК.

Впрочем, Есенин послал как бы прощальный привет Леониду в январе 1925 года, одновременно оспаривая победительную восторженность своего друга, овладевшую им в февральские дни 1917 года и воплотившуюся в стихотворении, написанном 27 июня 1917 года в Павловске.

На солнце сверкая штыками, —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос,—запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.
И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле

С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Почти через 10 лет Есенин в "Анне Снегиной" с печальной улыбкой вспомнит своего восторженного друга и его стихи, и свою собственную восторженность, овладевшую им в первые дни февраля, и подведет решительную черту под той "краснобанточно-лимонадной" эпохой краснобайства и фарисейства, непосредственно отталкиваясь от ликующего гимна молодого мстителя, так страшно закончившего свою жизнь.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
Война "до конца", "до победы".
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

...Письма Сергея Есенина Л. Каннегисеру не найдены по сей день. Возможно, они были изъяты у Каннегисера при обыске его квартиры и уничтожены, а может быть, след их отыщется в архивах петроградской ВЧК.

Из писем Леонида Каннегисера Сергею Есенину:

"21 июня 1915 г.

Свободны Вы на июнь или нет? Если свободны, то пишите мне сейчас, когда думаете отправляться в путь,—я складываю вещи, котомку на плечи, за Вами в Кузьминское—и мы идем вдоль Оки до самого Кирпяю. Так ведь мы с Вами решили?"

"21 июля 1915 г.

Через какую деревню или село я теперь бы не проходил (я бываю за городом) — мне всегда вспоминается Константиново и не было еще ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его".

"25 августа 1915 г.

А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестренки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провел у вас. А что теперь твой приятель Гриша? Помнишь: "проводила мужа—под ногами лужа..." Я-то помню, и даже очень, как все, что касается милого Константинова. Помню, как мы взлазили с ним втроем на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был красивый вид!"

"С.-Петербург, 1915, 11 сентября

Осенью жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати мне мало... Твой Леня".

Летом пятнадцатого года Есенин чуть ли не каждый день уходил в свой любимый овин и писал, писал. Кроме повести "Яр", закончил рассказы "У Белой воды", "Бобыль и Дружок". Когда надоедало свивать затейливую ткань прозы, выходил по вечерам на берег Оки за церковь, смотрел на покосные станы, на шалаши, над которыми тянулись дымки от костров, мерцающих то здесь, то там на огромном пространстве пойменного луга.

Отдыхая от повести и рассказов, играючи написал несколько стихотворений— "Я странник убогий...", "Корова", "Белая свитка и алый кушак...", "Табун"...

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.

Эти строчки очень понравились ему, повторил раз, другой, щелкнул от радости языком, засмеялся. Слава Богу, что на недельку приехал Леня Каннегисер, побродил с ним по старым заокским тропам, удалось передохнуть от каторжной добровольной работы. Это же надо — повесть "Яр" за восемнадцать дней написал!

Но на всякий случай Есенин в письме В. Чернявскому из деревни изображает себя не "работником в поте лица", а "гулякой праздным", легкомысленным поэтом, не придающим никакого значения своим архивам и черновикам: "Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать".

В конце сентября, получив открыточку от Клюева, в которой тот извещал, что будет в Петрограде до 5 сентября, Есенин заторопился; с Клюевым повидаться надо обязательно, ну и через Москву не проскочишь разом, жену да сына навестить.

"Осенью опять заехал, — с грустью вспоминает Анна Изряднова. — "Еду в Петроград". Звал с собой... Тут же говорил: "Я скоро вернусь, не буду жить там долго." Вот так было всегда: зовет с собой, а "долго жить" не собирается.

Роковое свидание с Клюевым положило начало их легендарной дружбе-вражде, в глубинах и тонкостях которой до сих пор разбираются литературоведы и биографы.

* * *

Клюев приезжает в Петроград и пишет Есенину письмо, полное дружеских излияний, братских чувств и столь свойственной для него в письмах к Есенину экзальтации: "Я смертельно желаю повидаться с тобой — дорогим и любимым, и если ты — ради сего — имеешь возможность приехать, то приезжай немедля..." Скорей всего они встретились и познакомились осенью у Городецкого, который помнит, как Клюев "впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы... Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением... Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время".

Всю осень 1915 года Есенин и Клюев неразлучны. Они ходят парочкой в гости, позируют художникам, навещают Блока, постоянно печатаются, как правило на одних полосах в петербургских газетах, сменяя друг друга, читают стихи на квартирах и в салонах.

И здесь не обойдем, не объедем то обстоятельство, тщательно замалчиваемое до сих пор, что любовь у Клюева к Есенину была не только любовью поэта к поэту. Клюев, как и Кузмин с его окружением, как и многие молодые поэты из "Бродячей Собаки" и "Привала Комедиантов", был подвержен пороку, весьма распространенному в петербургской культурной элите той эпохи: содомскому греху. И естественно, что обаятельный Есенин сразу же стал объектом и его поклонения, и его притязаний.

"Видимо Клюев очень любил Есенина, — пишет в своих воспоминаниях переводчик Ф. Фидлер, у которого два поэта как-то были в гостях,— склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам".

Есенин, который сразу же признал Клюева как учителя и в жизни, и в поэзии, оказался в дурацком положении. Рвать с Клюевым, стихи которого он ценил и без которого не мыслил своего дальнейшего пути к завоеванию читательских умов и сердец, ему, конечно же, не хотелось. Но и потакать Клюеву — он, молодой красивый юноша со здоровыми мужскими инстинктами, конечно же, не мог.

В неопубликованной части мемуаров одного из современников Есенина рассказывается о том, как Есенин, живший осенью 1915 года с Клюевым в одной комнате, уходил вечерами на свидание с женщинами, а Клюев буквально садился перед порогом и по-бабьи, с визгливой ревностью хватал его за полы пальто и кричал: "Не пущу, Сереженька!" Но Сергей сжимал челюсти, суживал глаза, вырывался из цепких рук соблазнителя и, хлопая дверью, уходил в ночь.

Но приставания "старшего брата", видимо, надоедали ему, иногда он жаловался:

— Я его пырну ножом когда-нибудь! Ей-Богу, пырну!

Скорее всего Есенин отстоял себя от болезненных притязаний собрата, и именно это позволяло ему с добродушным смехом относиться к клюевской патологической слабости, видеть в ней не драматические, а именно комические черты.

Галина Бениславская вспоминает, как обычно доверчивый и наивный Иван

Приблудный вроде бы ни с того ни с сего стал весьма злобно высмеивать и подзуживать Клюева:

"Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А С. А. слушал, стравлял их и покатывался со смеху. Позже я узнала, что одной из причин послужило то, что в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному, а последний, совершенно не ожидавший ничего подобного, озверев от отвращения и страха, поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол; сам сбежал и прошатался всю ночь по улицам Петрограда..."

Есенин, отвергая ласковые домогательства Клюева, в отличие от Приблудного понимал, чем он обязан Клюеву, и окончательно никогда не мог порвать с ним: "Клюев расчищал нам всем дорогу, — говорил поэт Бениславской.— Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым и борьба всей тяжестью на его плечи легла". Цитируя эти слова из разговора с Есениным, Бениславская от себя добавляет: "Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, С. А. не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему "смиренного Миколая", хоть и хотел этого".

Но эти отношения "жалости" и "отчужденности" и даже "брезгливости" возникнут через несколько лет, а пока — пока поэты живут молодой, бурной, праздничной жизнью. Ради того, чтобы как-то обособиться от дворянско-интеллигентского слоя питерских литераторов и привлечь внимание к себе как к писателям народным по предложению Сергея Городецкого Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевец вместе с Алексеем Ремизовым образовали осенью 1915 года группу писателей и назвали ее "Краса". Мечты и планы Сергея Городецкого простирались к тому, чтобы в "Красу" вошли и Николай Рерих, и Вячеслав Иванов, и даже Илья Репин. Но это в будущем, а пока на Невском проспекте и примыкающим к нему улицам появилась афиша, что в Концертном зале Тенишевского училища 25 октября в 8 1/2 часов вечера состоится вечер "Красы". "Сергей Городецкий. Зачальное присловие. Ржаные лики. Алексей Ремизов. Слово. Сергей Есенин. Русь. Маковые побаски..." В программе были и "Избяные песни" Клюева, и "Рязанские и заонежские частушки, побаски, канавушки, веленки и страдания (под ливенку)". По одним сведениям, вечер "успех имел грандиозный", "обширный зал Тенишевского училища был буквально переполнен", по свидетельству других очевидцев— "в зале собралась немногочисленная, но благоговейно-чуткая и признательная аудитория".

Лариса Рейснер в журнале "Рудин", близком к взглядам социал-демократов, дала откровенно ироничный отчет о вечере со злой карикатурой, на которой Городецкий был изображен в облике попугая, Клюев— совы, Ремизов — снегиря, а Есенин — как желторотый, еще не совсем оперившийся воробей.

Но несмотря на иронию такого рода, Есенин прочнее и прочнее входил в культурную жизнь столицы.

Он знакомится с Максимом Горьким и его окружением в журнале "Летопись". Но главного дела поэт не упускает из виду: в октябре— ноябре ведет переговоры с издателем М. Аверьяновым о выпуске книги "Радуница", которая вышла через несколько месяцев, в начале 1916 года, и окончательно узаконила пребывание Есенина на русском поэтическом Олимпе.

Общество "Краса" между тем то ли прекратило свою деятельность, то ли естественно растворилось в новом литературном объединении "Страда", учрежденном 17 октября 1915 года на квартире того же Городецкого. Председателем "Страды" был избран плодовитый романист и публицист Иероним Ясинский, и 19 ноября "Страда" закатила в "Зале гражданских инженеров" вечер в трех отделениях. В первом выступали все известные нам писатели и поэты, во втором популярные певицы О. Нардуччи и Л. Некрасова. Были "артисты императорских театров", "русские сказки", "хор гусляров". Словом, программа пестрая и богатая, как меню в ресторане. Вечер, о котором писали чуть ли не все питерские газеты, прошел успешно. А 1915 год закончился для Есенина и Клюева поездкой в Царское Село к Ахматовой и Гумилеву, о которой мы уже упоминали.

Побывав в Царском Селе, Есенин и не подозревал, что в этом "Питерском Версале" ему придется прожить чуть ли не весь новый 1916 год. Внимательно вглядываясь в события жизни поэта, происшедшие в 1915 году, начинаем улавливать некоторые любопытные устойчивые черты его характера.

С наслаждением играет он с питерской интеллигенцией в человека из глубин-

ной сказочной Руси, из народного чрева, где и живут по-другому, и говорят на настоящем, живом, непонятном столичной, вымороченной интеллигенции языке. Особенно эта черта, прикрытая лукавой иронией, угадывается в надписях, с которыми Есенин дарил свои книжечки самым разным питерским светилам:

"Иерониму Иеронимовичу Ясинскому на добрую память от размышливых упевов сохи-дерехи и поемов константиновских — мещерских певнозубых озер".

"Другу Натану Венгрову на добрую память от ипостаси сохи-дерехи за песни рыцаря, который ничего не отворил, когда спросили его о крови".

Ю. Балтрушайтису: "От поемов Улыбыша перегудной мещеры... от баяшника соломенных суёмов".

"Максиму Горькому... от баяшника соломенных суемов"...

Есенин как бы с чувством превосходства, даже не утруждая себя разнообразием автографов, загадывает своим именитым адресатам филологические загадки и лукаво предполагает, как они недоуменно и растерянно полезут в словари, чтобы разгадать их... Недаром же он хлопал себя по лбу и говорил: "Даль-то у меня, вот он где!" — и был прав. Ни у Натана Венгрова, ни у Балтрушайтиса в голове Даль, конечно же, и не ночевал.

С наслаждением "валял дурака" Сергей Есенин осенью 1915 и в 1916 году, иногда один, а иногда в паре с Клюевым, когда они выпрашивали деньги на жизнь из различных фондов и организаций, с удовольствием при этом сочиняя и дополняя легенды о самих себе.

Из прошения в Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии наук:

"Мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи". Далее Клюев и Есенин заявляли, что они— "единственные кормильцы" своих престарелых родителей— просят по триста рублей на каждого. Старцы из комиссии, очевидно, поняли, что никаким "крестьянским трудом" поэты не занимаются, "единственными кормильцами" не являются, они выдали вместо трехсот рублей Есенину— двадцать, а Клюеву, как более известному,— сорок.

В том же духе Есенин незадолго перед этим вышибал слезу из Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым:

"С войной мне нынешний год приходилось ехать в Ревель, пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся... Ввиду этого я попросил бы... о ссуде руб. в 200..." Ни в какой Ревель "пробивать паклю" Сережа, конечно, не ездил, но бессрочную ссуду "в размере 50 рублей" получил-таки...

А когда он уже служил санитаром в Царскосельском Федоровском городке и ходил в военной форме, новой, добротной, — в крепких яловых сапогах, шароварах и новой гимнастерке, он тем не менее разыгрывал комитет Литературного фонда: "Прошу покорнейше литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное, в размере ста пятидесяти рублей... Получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принужден из немоготной пищи голодать и ходить оборванным..." Но в комитете Литературного фонда сидели стреляные воробьи. Они выяснили, какой гонорар получил поэт от "Северных записок" за повесть "Яр", и пришли к выводу, что "г-н Есенин теперь не нуждается".

Осенью 1916 года он познакомился и с Маяковским.

"В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир" (Маяковский. "Как делать стихи").

Произошло это, если быть точными, на квартире у Сологуба. Есенин был в сапогах, а не в лаптях. Лапти он в жизни никогда не носил. Есенина попросили почитать стихи после Маяковского. Он прочитал. А когда стали просить еще, с улыбчивой неприязнью заявил:

— Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими Маяковскими. У них и одежда, и щиблеты модные, и голос трубный, а мы ведь тихенькие, смиренные.

Маяковский тут же отреагировал, со свойственной ему показной грубостью:

— Да ты не ломайся, парень, не ломайся, миленок, тогда и у тебя будут модные щиблеты, помада в кармане и галстук с аршин.

А главный теоретик футуризма Давид Бурлюк, разглядывая Есенина, спросил:

— А зачем вы ходите в салоны?

Но не на того напал. Есенин не смутился и с лукавой откровенностью ответил:

— Глядишь, понравлюсь— и меня в люди выведут...

Вот как началась распря Есенина с Маяковским, которая длилась не только всю их жизнь, но продолжалась после смерти и того, и другого.

Хмурым октябрьским днем Есенин, продолжая свой план завоевания Петербурга, побывал на квартире сначала у Алексея Ремизова, потом — у Леонида Андреева. Андреева не было дома, и Есенин оставил ему в дар "Радуницу" с вариантом уже знакомой нам и неотразимо действующей на сердца столичных литераторов дарственной надписью: "Великому писателю земли русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок на память сердечную о сохе и понёве"...

Конец года. Есенин занят составлением книжки "Голубень" и мелкими бытовыми заботами: просит "рублей 35" у издателя М. В. Аверьянова ("Впредь буду обязан вам "Голубенью"), пишет письма И. Ясинскому и Л. Андрееву с просьбой посодействовать публикациям его стихов в различных газетах и еженедельниках. Настроение ухудшается: вроде бы все знают, печатают, хвалят, а все равно жизнь держит его в черном теле. Ну кто он такой — молодой человек, уже двадцати одного года от роду? Ни кола ни двора, служит рядовым санитаром, несмотря на льготы, все равно приходится выносить урыльники за ранеными да слушать назидания и пожелания Ломана... Для питерских интеллектуалов — прав Клюев! — все равно он экзотический персонаж. Побалуются, побалуются да и остынут... Уже остывают.

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,
Всстормошит других...

Заканчивался шестнадцатый год. Слава, словно пена, осела в салонах. Со всеми великими поэтами и писателями земли русской — знаком, а радости мало. Да и на лицах у всех— ожидание чего-то высшего и страшного. Все начинают жить иными, пока неясными предчувствиями, и не до Есенина уже им, а ему не до них. Не сказалось еще в стихах то, ради чего он, "божья дудка", пришел в мир, да и скажется ли?.. Разгадает ли он свое предназначенье? А если и разгадает — все равно "не изменят лик земли напевы"... Да, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, скучно... Полный переворот в жизни нужен. Революция. Народная. Крестьянская. Второе Пришествие нужно. И чувствует он в себе силы, чтобы стать его глашатаем и пророком... Наступал одна тысяча девятьсот семнадцатый год.

Но пока в жизни поэта возникает еще один сюжет.

Завоевав симпатии в революционно-народнических, а также в либерально-интеллигентских кругах, Есенин и Клюев не отказались от случая наладить связи с кругами монархическими. Они были верны своему правилу — опираться на всех, кто принимает их поэзию. Тут следует заметить, что в политическом смысле Сергей Есенин гораздо в большей степени, чем Клюев, был всеяден. Поскольку свою судьбу поэта он очень рано, еще в юности, осознал самым главным делом жизни, то ему было совершенно все равно, кто помогает ему, "божьей дудке", петь, жить, очаровывать... Народники? Хорошо: Социал-демократы? Годится. Суриковцы? А почему бы нет! Питерские эстеты? С паршивой овцы хоть шерсти клок. Монархисты? Ну что же, и Пушкин, и Гоголь были монархистами. Левые эсеры? Ну что ж, у них газеты, крестьянская программа, влияние, организация... Большевики? Да я давно уже "гораздо левее" их...

В начале 1916 года они едут в Москву, где в течение января выступают не

только в московском обществе "Свободная эстетика", но трижды (!) в аудиториях отнюдь не народнических и не революционных: в лазарете имени великой княгини Елизаветы Федоровны, в Марфо-Мариинской обители, находящейся под ее же покровительством, и наконец 12 января — перед самой великой княгиней в ее собственном доме. Об этом выступлении остались интересные воспоминания близкого в те годы к высшему свету Москвы художника Михаила Нестерова.

"В начале месяца мы с женой получили приглашение великой княгини послушать у нее "сказителей". Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке... Великая княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей". Далее Михаил Нестеров описывает встречу с зоркой точностью художника, запоминающего подробности и детали.

"В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин, с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой — сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом". В обществе же "Свободной эстетики" они уже читали стихи в новых костюмах, заказанных для них Ломаном и как раз изготовленных в Москве к их приезду.

"Оба были в черных бархатных кафтанах, цветных рубахах и желтых сапогах", — писала газета "Утро России".

Адъютант императрицы полковник Ломан, заказавший эти костюмы и устроивший, видимо, вечер "сказителей" у великой княгини, смотрел далеко вперед. Он уже думал о том, чтобы "сказители" стали своими людьми в самом Царском Селе. Его планы совпадали с планами самих поэтов.

Дело и для Ломана, и для Есенина упростилось после того, как 25 марта, через месяц после возвращения в Питер, Сергей Есенин был призван в армию окончательно. Отсрочка, которую он получил после симуляции со зрением, кончилась. Но Есенин, почувствовавший над собой ощутимое покровительство адъютанта императрицы, уже не расстраивался. Он понимал, что в действующую армию, на передовую, под пули он уже не попадет.

Так оно и случилось. В течение февраля — марта полковник Ломан, преодолевая бюрократические рогатки, делает все от него зависящее, чтобы Есенин не попал на фронт. Сначала Сергея Есенина, уже зачисленного в запасной батальон, переводят в трофейную комиссию, составлявшуюся из работников искусств, а в начале апреля Есенин получает удостоверение, которое гласило:

"...С Высочайшего соизволения назначен санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны... Апрель 5—1916 г. Царское Село".

На прощанье перед отъездом в "ставку" императрицы выступает в концертном зале Тенишевского училища вместе с Клюевым и Блоком, в окружении высокопарных и свято блюдущих свое "орденское" замкнутое братство акмеистов — Ахматовой, Адамовича, Г. Иванова, О. Мандельштама...

Перед отъездом в Царское Село Сергей Есенин попал в один аристократический дом, к почтенному академику преклонного возраста с большими заслугами перед отечественной словесностью.

Хозяйке дома он понравился, поскольку вилку и нож держал за столом правильно, поддерживал разговор, не наглел, но и не конфузился. А разговор с академиком расстроил Сергея... Мэтр слушал его снисходительно:

— Милый друг, а Пушкина вы читали?

— Конечно, читал.

— Ну так подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится "на известку колоколен"? Во-первых, на известку креститься нельзя, во-вторых, неужели вы не понимаете, что крестится не рука ваша, а вы сами?..

Сергей опускал глаза, темнел лицом, сжимал скулы, но терпел...

Двадцатого апреля 1916 года он прибыл в Царское Село, по месту своей привилегированной, "блатной" службы, под покровительство полковника Д. Н. Ломана. Его покровитель был любителем древнерусской старины. В его царскосельской квартире побывали в те годы художники братья Васнецовы, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин.

Захаживали к нему в гости и знаменитый архитектор А. Щусев, и создатель великорусского оркестра В. Андреев. Д. Ломан руководил в Царском Селе строительством Федоровского городка. Это был как бы маленький русский Кремль в миниатюре — пять домов в древнерусском стиле, обнесенные кремлевской стеной,

с резными каменными воротами. Городок был задуман как музейный экспонат, воскресивший древнее наше зодчество...

Благодаря покровительству полковника Ломана военная служба не была для новобранца тяжким бременем.

Ему, правда, пришлось дважды— сначала в апреле и мае, сопровождать раненых из петроградских и царскосельских госпиталей в Крым, а потом, в июне, съездить с эшелонами за новой партией раненых к линии фронта— в Киев, Конотоп, Шепетовку, но по возвращении он подал прошение об отпуске для поездки домой, и ему выписали увольнительный лист "в Рязань сроком на 15 дней". А всего Есенин служил в Царском Селе ровно год и в течение года постоянно отлучался со службы. В июне на две недели получил увольнительную в Москву и Константиново после операции аппендицита, в начале июля— в Петроград, 17 июля уехал на несколько дней в Вологду с Алексеем Ганиным, с которым познакомился в Царском Селе, в октябре опять побывал в Петрограде, 3 ноября на три недели прибыл в Москву, в декабре— снова отлучился в Питер...

Так что в "Автобиографии" 1923 года поэт не очень уж присочинял, когда писал:

"При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.

Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове-Разумнике..."

В этом маленьком отрывочке смесь правды и поэтической фантазии. Ко льготам Есенин действительно был представлен. И стихи читал. На концерте, который был дан 22 июля 1916 года в Царскосельском лазарете по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны. Одни исследователи считают, что, кроме двух именинниц, на концерте никого больше из царствующей фамилии не было, что Александра Федоровна должна была приехать, но не приехала. Другие все-таки убеждены, что Сергея Есенина слушали все четыре великих княжны вместе с матерью и что разговор о "грустной России" произошел именно с ней, после того, как Есенин прочитал стихотворение "Русь":

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.
....
Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглистые
На березах висят галуны.

Конечно же, невеселое стихотворение написал Есенин, посвященное страшной войне. И лермонтовскую строчку ("Но я люблю, за что не знаю сам") по-своему переосмыслил:

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что— разгадать не могу.

И все-таки его выбор для чтения был очень удачен. Он прочитал стихотворение обеим императрицам и княжнам лишь потому, что идет в нем речь о войне как о великой страде народной.

"Понакаркали черные вороны" войну, и вот уже собираются ополченцы, провожают их жены с детишками. И поэт шлет им свое благословение:

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...

Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

Нет в этом стихотворении прямого "ура-патриотизма", но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий "империалистической бойне". Война в нем как тяжкая, но неизбежная работа, как общее переживание народное, особенно трогательное в те минуты, когда вся деревня, получив весточки с фронта, собирается и кто-то из баб, умеющих читать, разбирает "каракули", выведенные "в родных грамотках":

Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

А где-то между этими избами, среди баб и детей, бродит поэт и шепчет слово "люблю", "верю" — каждый раз по-разному:

Но люблю тебя, родина к р о т к а я!

(какой точный эпитет!)

Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

"Русь"— может быть, самое "соборное" стихотворение Есенина. Никогда, пожалуй, больше он не растворял столь полно свое "я" в стихии народной жизни, как в этой маленькой поэме:

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Поэт в "Руси" предстает как бы лишь неким отражателем народного чувства, угадчиком не своих, а общих надежд и переживаний:

Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха...

Разгадал я их думы несметные...

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос...

Бабы, невесты, ополченцы, ребята, матери... Мир... Просто "Русь". "Русь советская" и "Русь уходящая" будут потом, через несколько лет. Как и "Русь бесприютная".

Есенин знал, что надо читать в Царскосельском лазарете, голос его звенел, и стоял он, как древнерусский рында, в голубой рубахе, плисовых шароварах, желтых сапогах, и похож был не на какого-то опереточного ряженого, а на "отрока Варфоломея" с картины Нестерова...

Но крайне важно вспомнить, что на этом концерте он читал не только "Русь", но и специально написанное по заказу Дмитрия Николаевича Ломана стихотворное приветствие молодым царевнам. Об этом наши литературоведы долго умалчивали, лишь в 1960 году, в газете "Волжская коммуна" был опубликован текст приветствия, "не отличающегося большим поэтическим достоинством", как сказано о нем в статье одного из есениноведов.

Лист ватманской бумаги был писан акварелью, древнерусской вязью и окружен орнаментом... Конечно, исследователи есенинского творчества, которые де-

лали из Есенина стопроцентного советского поэта, приходили в ужас, вчитываясь в стихотворение, хранимое за семью печатями в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

Как странно! То, что казалось адептам соцреалистического литературоведения "монархическими настроениями" поэта, сегодня для нас, как бы заново переживших екатеринбургскую трагедию, кажется чуть ли не предчувствием поэта, угадывающего будущий жребий царевен. "И кротость юная в их ласковых сердцах", и "скорбь", которая "кладет печать на лбу", и обращение к святой Магдалине помолиться за них— все это уже не кажется сентиментальной риторикой, но таинственным образом перекликается со стихотворением, которое читали и переписывали несчастные царевны перед мученической смертью:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей....

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!..

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!

Это стихотворение С. С. Бехтеева (1844—1910), забытого поэта, который издал свой единственный сборник и был членом "Русского собрания", сосредоточившего в себе лучшую и умнейшую часть интеллигенции, сопротивлявшуюся революционным "бесам", — русскую элиту, заклейменную этими бесами как черносотенную.

Николай Бухарин не знал есенинского посвящения великим княжнам, когда писал свои "Злые заметки" — посмертный приговор Есенину. Хотя он помнил, что поэт читал стихи государыне и царевнам ("припадать к государевой ножке"). Но есть нечто роковое в том, что партийный монстр и профессиональный русофоб не удержался и с удовольствием-таки вспомнил о царевнах, которые, как он бестрепетно написал, "были немножко перестреляны за ненадобностью". А Есенин уже скорбел о них при жизни. Читаешь бухаринскую палаческую фразу, и тут же в один мистический узел стягивается все: и эта фраза, и молитва-стихо-

творение Бехтерева, и мольба Есенина о царевнах, и его знаменитая строка "Не расстреливал несчастных по темницам..."

Императрицы распорядились, чтобы за выступление на концерте молодой поэт был награжден золотыми часами. Все исследователи жизни и творчества Есенина не сомневались, что он эти часы получил, но лишь недавно ленинградский литературовед В. Дитц выяснил, что Ломан вручил Есенину обычные часы, а золотые оставил себе. После революции, когда Ломан был арестован, как фигура, близкая императорскому двору, у него были конфискованы золотые часы фирмы Павла Буре за номером 451560, предназначенные поэту. Чекисты даже попытались найти Есенина, чтобы вручить ему подарок императрицы, но якобы не нашли. В докладной было сказано: "Вручить их (часы) не представляется возможным за необнаружением местожительства Есенина".

Так второй раз золотые часы с цепочкой "из кабинета его величества" не дошли до Есенина. Прилипли к рукам какого-нибудь чекиста и пропали уже навсегда.

На этом, фактически, и оборвались отношения Есенина с меценатами и хозяевами либеральных "литературных салонов". О том, как было среди "чистой публики" воспринято известие о чтении стихов Есениным перед членами императорской фамилии, рассказывал много позже в "Петербургских зимах" Георгий Иванов:

"Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 г. вдруг распространился и подтвердился "чудовищный слух": "наш" Есенин, "душка" Есенин, "прелестный мальчик" Есенин — представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю "передовую общественность", когда обнаружилось, что "гнусный поступок" Есенина не выдумка, не "навет черной сотни", а непреложный факт... Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал "Северные записки" — "тараном искусства по царизму", на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: "Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!" Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровья "из-за какого-то ренегата"...

Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких "преступлений", как монархические чувства, — русскому писателю либеральная общественность не прощала... До революции, чтобы "выгнать из литературы" любого "отступника", — достаточно было двух — трех телефонных звонков "папы" Милюкова кому следует из редакционного кабинета "Речи". Дальше машина "общественного мнения" работала уже сама — автоматически и беспощадно..."

Но объективности ради надо сказать, что Сергей Есенин после революции мог и по-другому, в зависимости от обстоятельств, изобразить и царское семейство, и свое отношение к нему.

Конечно, в таких рассказах многие чувства и мысли поэта подверстаны к его воспоминаниям задним числом, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Можно, правда, делать какие-то поправки на то, что и мемуаристы могли раскрасить воспоминания Есенина своими собственными мазками. Всеволод Рождественский, например, вспоминает, как Сергей Есенин, с которым он встретился на Невском в декабре 1916 года, рисовал ему такую картину своего бытья-житья в Царском Селе:

"И пуще всего донимают царские дочери — чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и "немку" два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись — рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. Я читаю, а они вздыхают: "Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце..." И

платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю — что вы в этом народе понимаете?"

Даже если допустить, что слова Есенина переданы Рождественским точно, все равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Все равно Есенин, написавший, да не написавший, а выдохнувший из глубины души "не расстреливал несчастных по темницам", находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни, а все расстрельщики — бухарины, юровские, урицкие — на другом, том, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие...

А теперь перейдем к словам Есенина из "Автобиографии" 1923 года о том, что он угодил в дисциплинарный батальон за отказ "написать стихи в честь царя".

Идеалы монархии и ее основы во время войны подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция жаждала демократии; многие лидеры кадетской партии были глубоко законспирированными масонами; самые яркие политические фигуры Государственной Думы— Пуришкевич, Гучков, князь Львов, Керенский— изо всех сил раскачивали монархические устои государства. В этих условиях люди, близкие ко двору, пытались опереться на какие-то чувства верности царю и отечеству в народных массах, главным образом — в крестьянстве. Монархическое "Общество возрождения художественной Руси" имело целую программу работы. Программа очень пессимистически оценивала состояние искусства XX века:

"1. Национальная несостоятельность современной русской литературы. Бессилие европейских форм...

2. Славянский классицизм как историческая неизбежность.

3. Преодоление "европеизма", необходимость литературного переворота, коренная ломка двухсотлетних навыков. Возврат к племенным источникам. Назад в дотатарскую Русь!" вот один из документов "Общества". А в другом— была дана положительная установка:

"Учредители "Общества возрождения художественной Руси" с благоговением обращают свой взор к Царскому Престолу, как исконному средоточию русской самобытности"...

И конечно же, не случайно, что один из организаторов "Общества" Д. Ломан нашел Клюева и Есенина. После успешного концерта для особ царствующего дома им, видимо, было предложено написать какие-то стихи монархического или верноподданического склада, может быть, непосредственно о самом монархе. Поэты не то чтобы отказались, но ответили Ломану письмом-трактатом, написанным Николаем Клюевым от своего имени и от имени Есенина. Письмо сочинил Клюев, вероятно, потому, что у него были давние крестьянские счеты с домом Романовых:

"На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Сеодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой — я отвечу словами древлей рукописи: "Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и часть с духовными приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми". Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношения к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия, не выйдет".

Вот так, юродствуя и оставаясь себе на уме, Клюев с Есениным отвергли ломановские посулы и соблазны. Но Есенин приукрасил, что его после этого отправили в дисциплинарный батальон.

Помимо Клюева, устоять против царскосельских соблазнов Есенину помогал, как он сам пишет в "Автобиографии", народнический критик и публицист Иванов-Разумник, живший тогда по соседству с Есениным в Царском Селе.

Пожалуй, он влиял на Есенина не менее, чем Блок или Клюев. Есенин необычайно высоко ценил его мятежность, ум, его идеи. Через несколько месяцев, в письме к Александру Ширяевцу от 24 июля 1917 года Есенин, уничтожительно отзываясь о петербургских литераторах, напишет: "Но есть, брат,

среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя, и не подкладывал, как всем другим (ценное признание! — Авт.). Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя".

Клюев и Разумник Иванов удержали Есенина от "невыгодного", по их мнению, сближения со двором. Полковник Ломан понял это; еще раз-другой зимой 1917 года Есенин приглашен в высший свет: 5 января— на богослужение в Федоровский собор, а 19 февраля— на завтрак с чтением стихов для членов "Общества возрождения художественной Руси".

На этом роман монархии и поэзии был исчерпан, и 22 февраля 1917 года Ломан подписал Есенину удостоверение, обязывающее поэта явиться в Могилев для продолжения службы во 2-м батальоне Собственного Ея Императорского Величества Сводного пехотного полка... Но тут наступили сумбурные дни Февральской революции, и дальше с поэтом случилось то, о чем он сам откровенно написал в "Анне Снегиной":

Я бросил мою винтовку,
Купил себе "липу", и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.
....
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир,
Другую явил я отвагу—
Был первый в стране дезертир.

Стать дезертиром в эти дни было легче легкого. 2 марта был опубликован знаменитый "Приказ № 1", обращенный к армии, где, в частности, говорилось: "Немедленно выбрать комитеты от низших чинов... Всякого рода оружие... должно находиться в распоряжении комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, "коими пользуются все граждане..."

Это означало, что речь идет об уничтожении армии. А за ее уничтожением, естественно, должен был последовать крах государства. Есенин почувствовал грандиозность то ли преображения жизни, то ли надвигающейся катастрофы.

(Продолжение следует)

50-летию Победы посвящается

ФЕДОР СУХОВ

ШЛА ВОЙНА...

22 ИЮНЯ 1941

Стоял Июнь. Стояла ночь. По городам
Благоухали маки. И благоухал,
Навоз сопел из подворотни. А в ворота
Ломился месяц к голосящим петухам.

Так петухи еще не пели. Исступленно,
Они истошно надрывали голоса.
Горели светляки. И зелено-зелёно
Светилась под ноги упавшая роса.

Собаки к месяцу приподнимали пасти,
На всю вселенную такой поднялся вой,
Что луговины смоченных росою пастбищ
Себя прикрыли тальниковою листвой.

Насторожились чуткие конёвьи уши,
Они к пастушьему приблизились костру.
Нетронутым стоял, дымился вкусно ужин,
Дышал на дивную небесную красу.

В пастушьем котелке томился до рассвета,
До паутри, до первых солнечных лучей.

СУХОВ Федор Григорьевич (1922—1992) родился в Нижегородской области. Прошел героический боевой путь по фронтовым дорогам Великой Отечественной войны. Известный русский поэт, автор многих и многих книг лирики, в том числе "Поспевают ягоды", "Половодье", "Ясень", "Земляника на снегу", "Плач Ярославны", "Лешева дудка" и других. В последние годы своего земного бытия жил в селе Красный Оселок Нижегородской области.

Никто не знал тогда, никто не ведал,
С чего певучий затуманился ручей.

Незамутненные вдруг замутнились воды,
Неопалимая вдруг сгибла купина.
И петухи все пели. И на огороды
Кричала из лесу зловещая желна.

Неугомонные тревожились сороки,
Горох свой сыпали на влажную тропу.
А на уставленной березами дороге
Подняло утро медногорлую трубу.

И начало трубить. И начало глаголить,
Колоколами полошить полынь Святой Руси,
Все пажити ее, ее рябины горечь,
Ее по займищам бегущие ручьи.

Заколотился гром, расшевелился грохот,
Пролился, нет, не дождь — поток горючих слез,
Он, наподобие сорочьего гороха,
Струился под ноги развесистых берез.

Он в море обернулся. И не потому ли
Так солона она, российская земля...
Все пажити ее в полыни потонули,
В кукушичьих слезах утопли зеленя.

* * *

Нас в телячьих вагонах везли на войну,
Пахло прелой соломой в телячьих вагонах...
Искупая свою и чужую вину,
Гибли мы — от бомбежек — на всех перегонах.

На железнодорожной ночной колее
Оставляли себя калужане, волжане.
Вот какая она, эта верть-переверть,
Как каплюжит она проливными дождями!

Было так, обпоют поутру соловьи,
Пребывали они в недалекой дуброве,
Громобойно кричали рулады свои,
Охмелев, озверев от пролившейся крови.

От росы, что пролилась на зеленя,
На траву-мураву благодатно упала.
Не чужая — родная дышала земля,
Трепетала еще не убитой купавой.

Колокольчиком стыла в волчином логу,
Чабрецом медовела в горсти буерака.
Кто-то может, а я до сих пор не могу
Оградить посошок свой от давнего страха.

Вижу — ласково-ласково цедится дождь,
Освежая, солодит рябину, калину,
Сыплет ивовой серебри зябкую дрожь,
Мурашит воробьиной зари луговину.

Поспешает, торопит себя к лебеде,
Лебедою порос неглубокий окопчик,

Но еще не утих, ежеутрь, ежедень,
Заливаясь, звенит мой лесной колокольчик.

МИКОЛЕ АВРАМЧИКУ

Ни Бобруйск не забыл я, ни Осиповичи,
Помню Плёсы твои, дорогой мой Микола...
Припадаю к росисто дымящейся повести,
Зрю черники высоко приподнятый короб.

Ваши милые девушки, ваши красавицы
Угощали меня сладкой-сладкой черникой.
И не ведал никто ни корысти, ни зависти,
Только ива кручинно поблизости никла.

Не скрывала свои неизбывные горести,
Сколько горести видела ивушка-ива!
На околицу вышла, а на околице
Молнии прядали неуловимо, гневливо.

Шла война. По дубравам она партизанила,
Грохотала по всей-то, по всей Беларуси...
Дорогой мой Микола! Какие сказания
Прогогочут летящие на полночь гуси?

Гусли мои многострунно, яровчато,
Ах, какую печаль прогудят, пророкочат?
Нет, уж лучше пускай над потайным урочищем
Голос свой возвышает проснувшийся кочет.

Возвещает зарю — без сполоха, без полымя —
Зори тихие радуют всякую птаху.
А уж ежели дождь — пусть прольется он вовремя,
Увлажнит домотканную чью-то рубаху.

Припадет на Бобруйск он, на Осиповичи,
Осчастливит приткнутые к супеси Плесы,
От его торопливо рассказанной повести
Прослезятся стоящие в поле березы...

* * *

Развернулся баян. На баяне
Стынет раннего утра роса.
Снова топаю я к Обояни,
Слышу давних друзей голоса.

Я Ивана Батурина слышу,
Копошится Батурин Иван
Возле буйно разросшихся вишен,
Самой дерзкой мечтой обуян.

Говорит: "Вот покончим с войною,
Возвратимся тихонько домой"...
Вроде мина пронзительно ноет,
Взвод придвинулся к передовой.

Бронебойные ружья приблизил,
К своему приволок рубежу.
Выпал час — я Батуриной Лизе
Роковое посланье пишу.

"Не дошел он до Обояни,
Разразилась ночная гроза"...
Развернулся баян. На баяне
Стынет раннего утра роса.

И заря восходящая стынет,
Проливные пророчит дожди.
Обутревшего неба гостинец —
Василек прослезился во ржи.

ПОБРАТИМЫ

Александру Лесину

Справляют юбилеи старики,
Печалят зазимевшие седины...
Мои окопники, фронтовики,
Былого лихолетья побратимы.

Они и ныне — на передовой,
Готовятся к очередному бою...
Своею горечью, своей травой
К возвышенному припадают полю.

Сигнала ждут — сигнал условный дан,
Зеленая возвысилась ракета!
Дивизии стрелковой капитан
В свое двадцатое уходит лето.

Кидаются в объятия друзей
Его помолодевшие седины, —
Все возвращаются к былой стезе,
Стези-дороги — неисповедимы.

Любой проселок — неисповедим,
Подстерегают всякие колдобы...
Пороховой не оседает дым,
Задебренные половодит долы.

Полынью неприкаянной горчит,
Засвинцовело поле от полыни.
И кажется, не головни — грачи
На скошенной чернеют луговине.

Уходят в ночь бывалые стрелки,
Уносят зазимевшие седины
Мои окопники, фронтовики,
Былого лихолетья побратимы.

* * *

Расползаясь, безжалостно рушится
Вавилонское столпотворение.
Где же, где оно, наше содружество,
Нерушимое братство и единение?

А ведь все учтено было, все было взвешено,
Все разложено, все обговорено...
Не страшились замшелого лешего,
Не пугались горластого ворона.

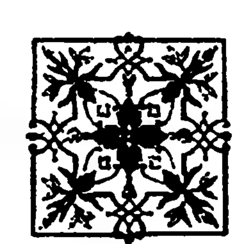
Не накличет беды, не накаркает,
Знает — знались со всякими бедами,
Умилялись садами да парками,
Упивались своими победами.

Беззаветно, восторженно верили
В день грядущий, в его озарение.
Соловьи на возвышенном дереве
Звонко славили утро весеннее.

Опевали лесные урочища,
Возвещали всемирное празднество...
Соловьиное это пророчество,
Предсказание это не справдилось.

Не сбылось медовое мечтание,
Потому-то все валится, рушится.
Так какое вселенское таинство
Упасет нас от дикого ужаса?

Умиляясь, гляжу на Спасителя,
Вездесущего, незаменимого...
И не ведаю ни искусителя,
Ни его ухищренья змеиного.



50-летию Победы посвящается

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

ПОВЕСТЬ

Был праздник — Заговенье на Петровский пост. Коч в новой, еще ленинградской рубахе правился на свое суточное дежурство. За деревней, изрытые гусеницами, искореженные вкривь и вкось луга обросли с весны зеленой травой. Теперь все было желто от едкого лютика. А где не желто, там сплошь белел высокий несъедобный морковник. Где они, нынешние полевые цветочки? Где он, дикий кремовый клеверок, овеянный медовым запахом? Есть, есть, да мало. Вот и косить уже стало негде. Золотые купавки уже отцветали, явились в траве метелочки лилово-розовых диких гвоздик и бордовые с желтым нутром колокольцы.

Коч ступал по своей тропе в сторону фермы и вспоминал старые песни:

Ой, милашка, вымой ножки,
Надевай полусапожки,
Еще белые чулки,
Пойдем гулять за ручейки.

Теперь Коч не стыдился своей поздней женитьбы. Никто больше не спрашивал про “первую ночку”, никто не дразнил и “отступлением” из Ленинграда. Некому стало корить Коча Ленинградом! Сосед Лещов давно умер, не стало и Валентина, веселого тракториста. Да ведь и самого Ленинграда нынче нет: переделан в Санкт-Петербург. Не с первого раза и выговоришь...

Сосед, покойник, помнится, отговаривал: “Куды жениться, после всего, што было!” Смех, мол. И добавлял: “Может, еще и лошадь купишь?” Лошадь Коч не завел, в те поры и соседу не до лошади было. Косить начальники не давали. Это

БЕЛОВ Василий Иванович родился в 1932 году в деревне Тимониха Вологодской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор повести “Привычное дело”, романов “Кануны”, “Год великого перелома”, “Все впереди”, книги “Лад. Очерки о народной эстетике”, других произведений. Член Союза писателей. Лауреат Государственной премии СССР. Живет в Вологде.

нонче коси сколько хочешь, хоть до Покрова, где лесом не заросло, а тогда... чур-будь! Нет, здря подковырнул и насчет лошади! И насчет старухи напрасно. Кому он, Коч, помешал, что старуху в деревню привез? Да ведь и не старуха тогда была Киюшка-то, а нормальная баба. А ежели всурьез, дак и не баба, а дев...

На этом слове Коч всегда запинался. Диво дивное! Не верил Коч в чудеса, никогда не верил, а тут... И не хочешь, да поверишь. Вспомнился и другой сосед. Утром летит: "Ставь бутылку! Я тебя женил? Женил! У тебя нонче со старухой медовый месяц". Весь год чуть не каждое воскресенье ставь по бутылке. Оставил тракторист белый свет, детей не доростил. Бывало, как только под газом — так и шантит. Иногда заплачет, скажет: "Мне, Лещов, чирят бы своих только доучить. Чтобы оне на людей выучились, чтобы не разъезжали на их верхом ельцины со всякими шаварнадами". Не доучил Валентин своих чиряток, оставил жену одну с целой оравушкой. Кабы война — не обидно. На фронте вместе со всеми. А тут — привезли, а он уж весь почернел. И глаза провалились, а может, вороны выклевали. Да разве не война и на самом деле? Хуже войны... Ох, ладно что не сказал трактористу... Насчет женки-то... Уж он бы поскалил зубы... Чудеса, да и только. Был в деревне один тракторист, и того наряду не стало. Оставил сирот, считай что полдюжины, да и сам убрался.

Так думал Коч про убитого и сброшенного с поезда Валентина, никакого чуда не видя в этом убийстве. Чему тут дивиться, ежели эдак пьют? Нет, никакого чуда не было. А вот с ним, то бишь с Кочом, случилось во время женитьбы чудо взаправдашнее. До нынешних пор никому не рассказывал. И самому иной раз не верилось, а чудо-то было... Расскажи — никто не поверит. Да и рассказывать некому. На всю деревню мужского полу осталось один Коч. Есть еще Антон-малолеток — внук Марьи Смирновой. Этот месяцами живет в деревне, родителей подзабыл. Может, не больно и нужен родителям-то? Геля с Марьей обе-две трясутся над парнишонком, не знают чем накормить, на какой диван спать укласть. Был в деревне чеченский животновод, но его еще апрельским ветром унесло куда-то вместе с женой.

С такими думами Коч накачал на ферме воды в бак и подался к речной будке, чтобы выключить мотор водяной помпы. Заодно поглядел он вершу, поставленную в речной заезок. Пока ничего не попало. Лишь два окунька-прыгуна прискакивали в верше. Коч развязал вершу и вытряхнул окуньков обратно в реку. Кинул вершу на густой ивовый куст, пускай пока сохнет. Рыба до осени все равно из озера не пойдет.

Белым-бело в полях от густого морковника, желто от несъедобного лютика, а от прежней деревни осталось всего четыре целоможных дома. Заговенье, пивной праздник, а нигде ни гармонь не взыграет, ни петух не вспоет. На омуте ни плеску, ни девичьего визгу. Один Коч поет про себя старые песни:

Две сударушки мои,
Обе-две Фаинки,
Погодите, девушки,
Принесу малинки.

Заговенье на Успеньев день, малина не опадет, еще не вызрела. И сударушек у Коча не две, а всего одна, Киюшка. Вон, опять с Марьей Смирновой сошлись! "Водой не разлить. От котла не уйдут, пока не переберут все календарные новости. Обсудят до тонкостей. И то сказать, есть чего вспомянуть. У обеих. Достаточно. Возьми любого и кажного..."

Заходить в избу-читальню (так называет Кочовскую водогрею ветеринар Туляков) Коч не стал. Повернул домой.

Между тем в теплушке у остывшего по случаю летней поры котла шел такой разговор:

— Господи, чево дальше-то будет? — со звонким испугом восклицала Марья Смирнова.

— Маня, конец свету! — убеждала Киюшка, Кочова старуха. — Истинно!

— Неужто погинем?

— Мы-то свое, может, и доживем, а им, деткам-то, и водички чистой, может, не останется! Ежели иконы воруют да могилы раскапывают, дак простит ли Господь?

Марья пришла на ферму, чтобы изловить ветеринара, который еще зимой обещал опилить коровий рог. (Туляков так и сулит до самого сенокоса.)

— Бес, не мужик, только бы пить, — подтвердила Марьины мысли Киюшка. — А вот дедушко-то евонный ничего век свой в рот не брал, кроме пива да

сусла. И то по праздникам. А этот, вишь, как вино-то зырит, да еще приговаривает: “Теленок не пил, дак он и сдох”.

Марья не помнила Туляковского деда. Как она могла помнить всех стариков из дальних тех волостей? И про свою родню Киюшка зря спрашивала. Сельсовет был один, а деревень много. Правда, кое-кто из Киюшкиной родни остался и в Марьиной памяти. Навсегда остался-то... И не кое-кто, а первый Киюшкин ухажер,餐 дролечка, суженый-ряженый, наконец, просто Киюшкин первый муж. Киюшка ухитрилась выйти замуж в Петровский пост, как раз в первый месяц войны. Тогда уже двенадцатый год жил народ при колхозах. Вроде бы стали и привыкать, куда денешься, жить надо. Вроде бы и дородно начали жить, кулачить начальству поднапостыло. В лавке и сахар, и соль, и ситцу тоже приваживали. Земля еще родила обильно и справно, навозу в ту пору валили на полосы не меньше, чем до колхозов. Все было ладно, кабы не приспела война. Нет, тогда не был еще конец свету, и Киюшке с Марьей было чего вспомнить! Но Марье хотелось рассказать сегодняшний сон. К чему бы приснилась ей молодая пара? Да так явственно. Уж не к смерти ли?

* * *

...Из девичьей светелки, из-под самого верху родительской кровли радостно и разок поглядеть, а тут, во сне, глядела Марья долго и явственно. Так долго, что все было как наяву и как взаправду. Вот над лугами к поскотине убежала торопливая тень полуденного облака. А вот по ржаному сизому полю одна за другой катятся зеленые хлебные волны. Распрямилась пригнутая ветром упругая рожь, прошла широкая ветряная полоса, а другая уже тут как тут, бежит следом за нею. Так и катятся до самой поскотины.

А глядеть-то и некогда. Послеобеденные сенокосные голоса стихали на улице, народ уходил в знойное поле. От синей, такой желанной реки ветер донес крики мелких ребяток. По-детски чирикали под князьком ласточки. Маруся закинула полог, зашпилила косу на затылке. Сбежала проворно из горенки вниз. Плеснула из рукомойника на лицо, схватила грабли и долой из ворот. Давай догонять оравушку сенокосную. “Маруся, не отставай, догоняй!” — кричали подруги. Нынче почти все сверстники кличут Маню Марусей... Приезжая наставница сделала девкам принародный выговор: “А что это за Манька? Не Манька она, не Машка! То ли дело Маруся”. Так и привилось это новое, на украинский лад, девичье имя... И хотя началась война, хотя в лавке исчезли спички и соль, а в сердце иной раз шевелился холодный страх, Маруся собиралась замуж. Как раньше пела в Троицу и плясала в Иванов день под гармонь, так и теперь отгуляли Тихвинскую. Но первый призыв ополовинил гулянье... Много ребят и молодых мужиков ушло на войну. Говорили, что немец почти остановлен, что война не надолго, что она быстро кончится. Только уже не спалось как прежде ни в сеннике, ни под пологом в горенке. Немецкие танки, как большие железные гниды, ползли к Ленинграду...

* * *

Звонкий Киюшкин голос вывел Марью из отрадной задумчивости:

— Ты Олютку-то Куликовну помнишь?

— Да как мне ее не помнить, знамо, помню.

— Окривела зимусь.

— Ой, ой!

— Не знаю тольки, на какой глаз, вроде на правой. А Фаина Артемьевна, сестра-то ейная, уехала к дочке в Коношу, пожила зиму, не задалось у зятя-то. Развернулась, да в Мурманское, к другому зятю. А и тот не лучше. Этот, говорит, хоть и анкаголик, да смирный. А тот напьечче да всех подряд и колотит...

— Это какая Фаина Артемьевна?

— Да што тебя! Олютку помнишь, а Фаинку не помнишь. И про окопы забыла?

— Про окопы-то мне век не забыть, — сказала Марья. — Ты бы так и сказала, что Файка. А то Фаина, да еще Артемьевна.

И обе старухи вспомнили про окопы, опять заговорили, перебивая друг дружку. Не один Коч мог рассказывать про войну, знали кое-что про окопную жизнь и Марья с Киюшкой. Чуть не полвека прошло, а какие на кофте пуговки были, и то помнилось. Все это случилось как будто вчера. Или тоже во сне приснилось? Нет, не во сне это было, а было все это в яви.

* * *

Да, в сорок первом году, в Заговенье на Петров пост, вышел веселый праздник. Гуляли по деревне с гармоньями всю ночь. Благо тепло и светло, хоть и на комарах. Та ночь обошлась без драки. Скандалов ребята не заводили, плясали не по одному разу. Может, чуяли сердцем многие, что пляшут в последний раз? Гармонь стихла только с первыми оводами...

Сгоряча, в разгар сенокоса, не все испугались и военного объявления, особенно молодежь. На Тихвинскую гуляли уже не так весело. Наутро две подводы с котомками стояли готовые. В котомках "кружка, ложка, полотенце", прощальные материнские пироги с рыбой и памятные девичьи "носовички". У кого деньги имелись, те останавливались и у сельповских лавок, а дальше... Дальше будь что будет!

Маруся вместе с другими девками провожала рекрутскую партию до места, а через неделю и сама получила повестку из сельсовета. Велено было выехать на окопы.

— Манька, Манька, што будет-то! Ведь тебя там убьют!

Это маменька несколько раз на день принималась реветь. Но Маруся была рада окопам. Никуда дальше станции не бывала, не видала ни фабрик, ни городов. Да ведь и поедет не она одна, а вызваны многие. На миру, говорят, и смерть красна.

В назначенный день у сельсовета скопилось пятнадцать девок-окопниц. Маруся знала их почти каждую, гулять ходили далеко. С рыжей Фаинкой (у Фаинки было прозвище Куликовна) гостили в одном доме. С Киюшкой, которая только-только вышла замуж, Маня плясывала в одном кругу... "Чего ее-то посылать на окопы? — подумалось Марусе. — Только что замуж вышла. Как не стыдно начальникам!" И правда, начальникам было не больно приятно: муж молодой дома, а жену на окопы. Начальники, как выяснилось позднее, в общем-то были ни при чем. Киюшку послали на окопы из деревни по жеребью.

У крыльца было шумно и людно.

— Не боишься мужика-то одного оставлять? — подшучивали над Киюшкой, но она только отмахивалась:

— Отстаньте к водяному...

Прощалась Киюшка со своим Колюшкой на лужке за сельсоветским углом. Снимала с его плеча невидимые соринки, промокала глаза платочком, а он стоял и плакал пуще нее.

— Не тужи, Коля, на наш век девок хватит! — подбадривали со стороны.

— Чево бабе за мужика бояться, надо ему за бабу... Вишь, сам тут, жену в люди...

— Девки, девки, почему без гармоньи?

— Клади котомки!

— Эх, мне бы в этот малинник!

— Вот будет тебе "малинник"... Говорят, немцы под Ленинградом.

— А кто говорит? Остановлен немец.

— Самолет вчера пролетел, урчит, как сердитый бык. Наши-то по-другому гудят.

— Поехали! Девки, за мной шагом марш.

Подвода с котомками тронулась... За телегой, кто с песнями, кто с разговорами, ушли девицы на станцию.

В райисполкоме ждали окопниц. Лысый начальник расставил ноги в начищенных сапогах, в широких темно-синих галифе:

— Так, значит! Славутницы, убажницы, слушай каждая свою фамилью, а я буду отмечать по списку!

И начал вычитывать.

— Чево молчите? Которая тут, кричи "тут"!

Пришлось зачитывать снова, и послышалось разноголосое: "тут, тут!", "тутотка!"

— До вечера все свободны! Вечером всем быть на этом же крыльце. Дружно идем на поезд.

— А куды нас погонят? — выскочила Фаинка.

— Славутницы, убажницы, куда поезд, туда и мы! А в какое место, это военная тайна. Все, девушки, пока все! Мешки, корзины и узлы складывайте под лестницу, дежурному по райисполкому.

— А вас как называть? — осмелела Маруся. — Нам надо ваше имя и отчество.

— Красавицы, убажницы, меня зовут товарищ Мягков. Буду сопровождать до самого места.

Фаинка ткнула Марусю под бок, зашептала:

— Ты чево, разве не знаешь Лелечку? Ведь не намного старше тебя, из нашей деревни, Леля-Лелечка, так все и звали. Бывало, по миру ходил, у дверей встанет и запоет эким девушкиным голоском. А нонче, вишь, в товарища вышел. Галифе обул.

Киюшка фыркнула:

— У тебя што сапоги, што штаны.

— Наплюй на сапоги-то, лишь бы в штанах было чево...

В суматохе девки не поняли Фаинкину шутку. Народ зашумел, все заговорили и потянулись под лестницу складывать корзины, фанерные чемоданы и котомки.

Маруся предложила сходить на железнодорожную линию, поглядеть поезда, пока есть время до вечера.

Плетеную драночную корзинку она оставила при себе, жалела не маменькины рыбные пироги, а розовый праздничный сарафан и зеленую кофту с красными пуговками. В последнюю минуту ухитрилась сунуть в поклажу и новые из белой парусины камаши. Собиралась словно на праздник в гости к дальней родне. Маруся боялась, что люди осудят за это. А зря и боялась! Почти все девки, как потом оказалось, прихватили с собой что-нибудь праздничное, а те, кто не прихватил, ревели от обиды. И не напрасно. Утром, после поезда, когда приехали на какую-то пристань на широкой реке, на берегу, в ожидании баржи, играла гармонь... Среди молодых ребят из другого района девиц было раз-два и обчелся. Приезжим обрадовались, но ни Фаинка, ни Маруся не спешили знакомиться. Правда, оставили поклажу на Киюшку и вышли на круг, но чтобы знакомиться и поплясать под чужую игру, у них и в уме не было... Да на что не осмелишься в молодости, чего не сделаешь ради того, чтобы поплясать, да еще под новую игру! И про войну позабыли, и про окопы...

— Манька, стой тут, не ходи с этого места! — Фаинка побежала с поклажей за дощатый сарайчик. Вернулась — на плечах желтая, вся в розанах, пахнущая нафталином кашемировка. У Маруси тоже сердце взыграло:

— Фаинка, стой тутотка, не ходи в другое-то место!

Через пять минут девки уже встали в очередь, чтобы плясать. Киюшка осталась сидеть на бревне с поклажей. Она была, во-первых, замужем и не имела права на пляску, во-вторых, игра была не своя, какая-то тарногская. И девки тамошние пели не так: частушку делили пополам и каждую половину выпевали по два раза. "Ну што за мода у них?" — дивилась Маруся, и вдруг изумилась еще больше. Две или три девицы в длинных цветастых сарафанах стояли в кругу... в лаптях! Удивление взяло: дома не то что на улицу, но даже на сенокос никто уже не ходил в лаптях, все в сапогах. Лишь к скотине в хлев ходили в берестяных ступеньках.

Подошла с вокзала и еще одна партия и тоже оказалась с гармошкой. Этот гармонист играл намного лучше, почти как Марусин знакомый, оставленный дома на чужие руки. Образовалась вторая очередь около нового игрока. Оставалась всего одна пара девиц да двое парней. Вот отпляшут ребята, и надо будет выходить на круг. Фаинка уже стояла позади игрока и опахивала с него комаров своим душистым от одеколона платком, на языке у нее уже вертелась первая частушка:

Извините, незнакомого
Играть заставила,
Я знакомого-то дролю
Далеко оставила.

Густой зычный гудок пароходного буксира завис над рекой, над всей пристанью и долго, настойчиво глушил гармонные звуки. Пляшущие чужие девушки пропели что-то и сошли с круга. Кричали какие-то командиры. Среди них бегал и Лелечка. На баржу, причаленную к деревянному настилу, въехали две машины. Затем она начала втягивать в свое нутро и гармонь, и девиц, и чужих парней с корзинами и котомками. Так и не пришлось поплясать Марусе с Фаинкой, от чего довольна была одна заумужняя Киюшка.

Плаванье на барже тоже сперва не обошлось без веселья, хотя и боязно было, а вдруг все опрокинется? И чем дальше тянул баржу упорный буксир, чем ниже становились болотистые берега, чем прохладнее становилось заходящее солнышко, тем тише становились молодые окопницы. Маруся почуяла отдаленную грусть и тревогу. Зародилась в груди тоска по дому. Вспомнились вдруг не только отец с

матерью, но и корова и кошка. Пригорюнилась и молчаливая Киюшка. Одна рыжая Фаинка не ведала горя. Веселое Марусино настроение растворилось в речном тумане.

Буксир то и дело зычно гудел, тревожил белую сенокосную ночь. Две баржи с народом плыли среди лугов, мимо спящих стогов и селений. Порой с речных берегов доносились скрипучие крики коростелей, иногда веяло цветочным полевым запахом. На передней барже еще принималась играть тальянка. Неунывающая Фаинка все еще расстраивалась, что не удалось поплясать:

— Маня, Маня, унеси водяной, это пошто оне в лапоточках-то? Неужто экие бедные?

— Зато все кудрявые! — отозвалась вместо Маруси Киюшка, но так, чтобы услышали только Фаинка с Марусей.

— Не все, Киюшка, не все. Один только кудрявый-то... Белый такой...

— Нет, белый это другой кудрявый, — шепнула Маруся. — А тот кудрявый, который на тебя поглядывал, не белый, черноватый-кудреватый.

— Ой, отстань лучше! — Фаинка так зарделась, что стала еще рыжее. (Заметно было даже в ночных сумерках.) — Ничево он не заглядывал.

— Нет, заглядывал.

— Белый аль черноватый? Вроде бы в сапоги обут...

— Спи, завтре узнаешь, во что обут.

Они приткнулись ближе друг к дружке. Ночью все трое замерзли. Заря золотисто-розовой полоской намечалась над лесом. Баржа без плеска и шума плыла по реке. На рассвете девки уснули. Когда большое и сразу же раскалившееся солнце поднялось на голубое, почти как домашнее, небо, проснулась Киюшка и растолкала Фаинку:

— Вон, вон кудреватый-то, гляди не зевай.

Фаинка встрепенулась, как птица:

— Девки, девки, до чего доб-то... Это который? Унеси бес, и этот в лаптях!

Парень перегибался через борт. Он пробовал достать воды котелком, пристегнутым на ремень. Котелок не доставал до воды.

— Девки, держите его за ноги, а то булькнет! — крикнул другой парень из чужаков. — Лавруха, гляди не булькни!

— Ничево, летом водичка теплая, — ввернула Фаинка.

— Да он сроду не плавал! Как нырнет, так и пойдут пузыри!

— Зато умываться не надо, — Лавруха вытянул все-таки забортной воды. Он попил, крякнул и подал котелок товарищу.

Баржа вся пробудилась. Народ развязывал котомки, ломал пироги. Девки, кое-кто, охорашивались, каждая перед круглым зеркальцем.

— Ну и Кокшеньга! Сами пьют да крякают, другим не дают, — громко сказала Фаинка.

— Давай, доставай сама, я тебя подержу.

— И достану!

— А за что держать-то тебя?

— А за што хошь! — не смутилась Фаинка. Кудрявый Лавруха, не будь дурак, выплеснул воду и подал Фаинке пустую посудину:

— Валяй!

— И вальну.

— Ох, Фая, не зачерпнуть! — сказал черноватый.

— А ты как мое имя узнал?

Слово за слово, и Фаинка разговорилась с черноватым-кудреватым, тут как раз подсел к ним и белый-кудрявый.

Девки незаметно познакомились с чужими ребятами. Одна Киюшка не ввязывалась в разговоры. А буксир тянул да тянул две речные баржи с машинами и с народом. Страх за то, что баржа от тяжести перевернется, у Маруси давно прошел.

Жара гнела и слепила, речная вода мерцала в солнечном свете. Казалось, что буксир повернул вспять, но это солнышко сделало в небе большой полукруг. Когда жара чуть ли не всех сморила и утихомирила, буксир неожиданно пристопорил у какой-то деревни. Баржи причалили прямо к берегу, какие-то мужики бросили сходни, и все начали выгружаться на берег.

— Товарищ Мягков, куды нам нонече?

— Красавицы, убажницы, счас все объясню! Давай наш район, все ближе ко мне. Ближе, товарищи, ешшо ближе. Так! Значит, так! Все размещаемся по квартерам, хозяева уже ждут, существует телеграфная договоренность. Сухой паек получим через два дня. Жить будем повзводно, работать поротно, чево

делать будем, ешшо неизвестно. Жуй пироги, хлеб береги. А пока дружно идем в деревню...

Оводы налетели еще дружнее. Крупные, с красновато-опаловыми подпалинами облака меркли в небесной солнечной мгле, далеко где-то рычали небесные громы, и казалось Марусе, что это уже ступает война. На секунду охватил ужас. Но так жарко было, так по-домашнему жужжали оводы и такая чистая, холодная была вода у колодца, такая приветливая оказалась хозяйка дома, что тревога и страх вскоре пропали. Маруся устроилась втроем с Фаинкой и Киюшкой. Им отвели целую зимнюю избу, с тремя набитыми соломой , разостланными посреди избы постелями, с широченным стеганым одеялом, с тремя же подушками, набитыми свежим сенцом. Хозяйка выделила даже небольшой самоварчик, указала тушилку с углями и посуду в шкафу. И ушла со словами:

— Вот, милые, и карасин в лампе налит. Тольки ночи-то пока не больно темные да и огошек не велено зажигать.

— Девки, девки, до чего хорошо-то! — Фаинка, как дома, шлепнулась на сосновую лавку. — А где окопы-ти?

Начала Фаинка бегать от одного окошка к другому... По улице с пастьбы с мычанием и блеянием шли коровы и овцы. Никаких окопов не было и в помине! Распечатали все трое поклажу, поставили самовар. На улицу выходить не осмелились, улеглись ночевать. Фаинка опять в одной рубахе спрыгнула, накинула на двери крючок. Легла и давай выспрашивать Киюшку, как та выходила замуж:

— Чево было сперва-то? Сам за тобой пришел или родители?

— Сам.

— А ты? Самоходкой?

— Ой, Фая, отстань, усну того и гляди. Какая самоходка, ежели и моя родня знала и евонная? Пошли в сельсовет да и расписалися.

— Неужто пешком? И лошади с тарантасом не дали? Ну, из сельсовета пришли, а потом?

— Потом стала кошка котом, — отшутилась Киюшка, но Фаинка не унималась:

— Пришли... К ему. В бане-то вместе парилися? А много ли было на свадьбе народу? Нет, ты уж скажи, Киюшка, скажи! Пировала сама-то или нет? А куды спать-то уклали вас?

— Да в горенке.

— Вот. Ушли вы с Колюшкой в горенку, вас тамотка шубой укутали, а потом-то чево?

Но Киюшка притворилась, что спит и не слышит громкий Фаинкин шепот. Комариный писк около самого уха долго мешал глубокому сну. Маруся думала, не спала. За ночь десятка полтора комаров, разбухших от девичьей крови, прилепилось на оконные занавески. Петух пел под самым окошком. Мычали коровы на улице. И вот солнце косо ударило поверх занавесок. Фаинка пробудилась и спрыгнула:

— Ой, девушки, ково я во сне-то видела...

— Поди-ко опеть кудряватого, — подковырнула Киюшка.

— Двух сразу!

За печью был рукомойник. Девки по очереди помылись, поставили небольшой на полведра медный самоварчик, а заварить нечего. Попили голого кипятку вприкуску с колотым сахаром, очистили по яичку. Пшеничные Марусины пироги отложили на будущее. Разломили Фаинкин ячневый, зато очень воложный.

— А чево ись-то будем, когда пироги-ти кончатся?

— Как чево, ищи, Фая, своего Лелечку, он ведь сулил какой-то сухой паек. И про столовую говорил. На то он и начальник.

— Какой он, к лешему, начальник, в зиму печи в райисполкоме топил, летом ходит ключами брякает.

— А вот сам к нам идет! На помин, как сноп в овин.

Маруся едва успела закинуть одеялом разостланные постели. Мягков появился в дверях:

— Здравствуйте, таварищи! Здравствуйте! Как ночевали?

Фаинка подскочила прямо под нос к начальнику:

— Худо, товарищ Мягков, спать было не больно *мягко*. И заварки нету, пьем один кипяток!

— Красавицы, убажницы, дайте срок! Машина за продуктами ушла, завтре приступаем к оборонным работам.

— А чево делать будем? — спросила Маруся.

— Чево скажут, то и будем. Пока не спрашивайте. Значит, так, славутницы, записываю вас в третий взвод. Командир отделения... кто будет? Соберите двенадцать девок и командира выберете без меня. Сухой паек будете требовать через командира, ко мне тоже обращаться через нево...

Мягков сильно хлопнул дверями. Девки бросились к окнам.

В тот день Маруся и Киюшка вместе и порознь ходили глядеть реку и деревню. Фаинка успела договориться с белым кудрявым насчет вечерней пляски.

— И местные придут! — уверяла она Марусю. — Вот уж севодни-то, Маня, всяко попляшем! А ты лентенанта-то видела? Такой молоденькой, весь в ремнях...

Далекий, но грозный рокот вновь, как вчера, катился по темному горизонту.

Маруся с Киюшкой не успели расспросить Фаинку про "лентенанта", потому что прибежала из летней избы хозяйка:

— Ой, девушки, чево попрошу-то, сено сухое на валах, а тутча-то! гли-ко, туча идет, а моего мужика в сельсовет вызвали и девку вызвали тоже, я ведь сено-то замочу. Подсобите управить, ради Христа!

Девки мигом расхватали хозяйские грабли. Оводы в поле жалили их без всякой скидки, стояла жара. Хозяйка, загребая сухой шелестящий валок, рассказывала Марусе, что в сельсовете всех учат "бонбы" гасить, что немецкий самолет пролетел вчера и близко и низко. В деревне установили двойное дежурство, приказано у каждого дома поставить бочку с водой и ящик с мелким песком и чтобы лежали рядом банные клещи, которыми опускают в шайки горячие камни.

— Показывали, как и бонбу банными клещами хватать.

— Бомбу? — ужаснулась Маруся.

— Бонбу, милая, бонбу. Чурку сосновую взяли, топором с конца завострили, а после показывали, как ее песком тушить, как в бочку с водой метать.

Гром урчал, перекатывался ближе и ближе. Марусе опять представилось, что это сама война надвигается с запада, синяя темень застелила полнеба. Тревога угасла, когда начали метать стог, а туча словно дразнила женщин. Она гремела, но без дождя. Девки недолго дивились здешнему способу метать стога в виде зародов. Хозяйка показала им омут у речки, которая впадала в большую реку. Но Киюшка и Фаинка не осмелились идти к омуту. Одной Марусе тоже не захотелось купаться. Когда сметали зарод, туча посветлела с одного края и стала стихать, густую ее синеву размыло и постепенно развеяло. До вечера успели загрести в копны и сметать еще один стог. Скотина уже шла из поскотины узкими прогонами. Вечером хозяйка принесла в зимнюю избу ведро остуженного в колодце молока. Девки до того уработались, что забыли про дом, забыли, что идет война и что они на чужой стороне. Уснули разом.

Так закончился для них первый день "на окопах". Так же прошел и второй, а на третий, вечером, прибежала с улицы взъерошенная Фаинка:

— Девки, девки, первый взвод отплясал, второй заплясывает, где моя котомица?

Перед зеркалом она набросила на плечи свою кашемировку. Глядя на нее, принарядилась Маруся, одна Киюшка не пошла из избы. Перебила на стеклах комаров и улеглась, не запирая дверь на крючок. Ночью, сквозь сон, Киюшка слышала, как товарки вернулись с гулянья. Фаинка почему-то всхлипывала и ругала кого-то:

— Сотона, лешой болотной...

— Фая, Фая, ты сама виновата, — успокаивала Маруся Фаинку. — Кабы эдак не спела...

— Я чего эково спела? Чево? Я и спела не про ево...

История получилась не больно приятная, хотя они с Марусей и наплясались вдоволь, и молоденький лейтенант с ними познакомился, и кудреватый-черноватый угостил конфетами. Но обертках конфетных — краснобородые петушки. Да вот дернул бес за Фаинкин язык! Она спела во время пляски такую частушку:

Ты пляши, моя товарочка,
Пляши, не дуйся,
Сапоги изорвалися,
В лапотки обуйся.

Не надо было так петь... Белый-кудреватый ходил в сапогах, лапти носил только в дороге. Недолго думая, он пошел на перепляс с черноватым (на котором Фаинка построила все свои планы) и спел:

Хорошо тебе, товарищ,
Твоя дроля рыжая,

Рыжая, краснешенька,
За гумно радешенька!

Ночью Фаинка долго всхлипывала, все не могла успокоиться. В глазах же Маруси стоял молоденький лейтенант, ненадолго показавшийся на гулянье.

Так проходили первые дни "на окопах".

Между тем домашние пироги были совсем на исходе. Командир товарищ Мягков не заходил и не сулил больше какой-то сухой паек. Зато объявили, наконец, что надо делать. Наутро все три взвода начали собирать полевые камни. Молоденький лейтенант по карте отмечал, куда складывать. Указал места для бетонирования будущих дотов. Лапти с онучами и бечевками опять понадобились для кудреватых-черноватых, и вечером на гулянье Фаинка назло кудрявому супостату придумала новую песенку:

Задушевная подруга,
Чужаки не милушки,
Лапотки для сенокосу,
Сапоги для зимушки.

До этого пела Фаинка частушки совсем по-другому:

Посидят четыре вечера,
Дороже зимушки.

Ох, тот, вернее, следующий день, был для них похуже целой зимы! Видели, как летел чужой самолет. Устали таскать каменье. Мелкие камни собрали раньше, большие не под силу выковыривать из земли. Ноги под вечер подгибались от тяжести, не до пляски стало даже неутомимой Фаинке. Тосковали руки в локтях и от жары везде было мокро. Вечером Александра — хозяйка — зашла проведать, сказала, что самолет немецкий и летает не в первый раз.

— Девушки-матушки, ведь вы вроде голодные!

— Тета Шура, что ты, что ты, мы сытые! — заговорили сразу все трое, хотя утром разделили последний пирог.

— Сыты, а чем сыты? Паек-то получили? Вон в том краю всем, говорят, выдали! Ой, Господи...

Она принесла из летней избы каравай ржаного и решето вареной картошки.

— Ешьте пока! Вутре молока принесу.

— Тета Шура, не надо, не беспокойся! Мы ужнали! Тета Шура, мы не голодные!

Какое уж там "ужнали"! Хозяйка только успела уйти, Фаинка без ножика раскромсала каравай. Схватила картошину и давай жевать, худо очищенную.

— Хоть бы посолила сперва! — смеялась Киюшка. — Маня, а ты бы сходила к этому Лелечке. Ты у нас всех грамотнее. Скажи, так и так! Еда, скажи, кончилась, завтре пойдем в лес за ягодами. А то будем обабки собирать заместо каменья...

От каравая осталось мало. И хотя ноги не слушались и руки тосковали в локтях, Маруся пошла искать начальника.

Через полчаса она сама не своя прибежала обратно, ничком кинулась на постелю:

— Фаинка, запри двери на крюк!

Пришла, видимо, Марусина очередь реветь, причем взаправду!

Фаинка и Киюшка с двух сторон успокаивали Марусю:

— Маня, чево стряслось-то? Маня, скажи, чево сделалось? Не ушиблась ли?

Все было напрасно, и они отступились, давая ей выплакаться.

— Нашла командира-то? — спросила вскоре Фаинка.

И тут сквозь рыдания Маруся кивнула.

— Чево он говорит?

Но Маруся опять ткнулась в подушку. Подружки не могли толку дать, что с девкой стряслось. Она молчала, а то вдруг опять принималась реветь. К утру Фаинка с Киюшкой поняли только одно: никакого сухого пайка не будет. Командир "взвода" товарищ Мягков сказал будто бы, что сухой паек он заносил к ним в дом и оставил на лавке. Дескать, целый ящик с какими-то галетами и три банки мясных консервов вам выданы, нечего приставать. Ищите, мол, должен быть. Хозяйка, мол, знает, где эти продукты...

Тетка Александра, когда спросили, был ли в избе начальник, сказала:

— Был, был, как не был! Зашел, носом по углам поводил, насчет бани спрашивал. Я говорю, ты, батюшко, о моих девушках не тужи, они чистоплотные, и баню истопим в субботу.

Фаинка перебила ее:

— Он говорит, что сухой паек оставлял... в нашей избе.

У тетки Шуры глаза стали круглые. Она всплеснула руками и начала божиться, что никакого пайка в глаза не видела:

— Плут ваш Мягков, сразу видно, што врет! Ужо вот я лентенанту нажалуюсь!

Маруся просила ее не жаловаться. Фаинка готова была бежать к начальству той же минутой, а Киюшка предлагала написать заявление.

Кому писать заявление? Девки попросили хозяйку достать к вечеру бумаги и химический карандаш. Ушли в поле полуголодные.

Потемнели уже и белые ночи. Сенокосные дни шли на убыль, а война разгоралась больше и больше. Озимое поспевало в полях, нахлобучились шапки первых суслонов, пугая в сумерках малых детей и несмелых женок. За каждым суслоном мерещился им диверсант или немецкий шпион. Диверсанты и впрямь появились в окрестных полях. Красноармейская группа совместно с местными охотниками, прочесывая поскотину, наткнулась на след немецких парашютистов: у едва потухшего пожога валялась банка из-под консервов, на сосне висел провод антенны. Страх чуть ли не ежедневно нагнетался и утробным вражеским гулом самолетов. Даже ребятишки научились распознавать по этому гулу, свой летит низко над лесом или чужой. Еще строже стала местная власть: запрещали топить печи и зажигать лампы в ночное время. Велено было в каждом доме сделать оконные светомаскировочные щиты.

Голодали уже не одни товарки Марусины, но и вся девичья артель: человек пятнадцать третьего "взвода" под командованием Мягкова. Первые два взвода лейтенант перевез на машине в другой сельсовет. И сам там остался. Мелкие камни были давно собраны, большие тяжело выкорчевывать, делать стало нечего. Полуголодные девки хохотали над Лелечкой, обсуждая его внешние данные, ходили пробовать жать озимое, вымыли пол в зимовке, топили хозяйскую баню.

— Девки, девки, дуроцки, чево будем ись-то? — каждое утро сама себя спрашивала Фаинка, а сама приплясывала перед зеркалом. Киюшка предлагала:

— Беги к Лаврушке, пускай он лапти продаст либо овцу на них выменяет. Зарежет, нам рожки да ножки. Маня, а где у тебя лентенант-то? Куды он глядит?

Маруся не оставалась в долгу:

Супостаточка голодная
Ходила с батогом,
С лентенантом познакомилась,
Забегала бегом.

И все трое опять давай хохотать...

Но однажды вечером, когда пришел Мягков и Фаинка с Киюшкой предусмотрительно вышли из избы, Маруся опять до полночи была в слезах и на вопросы Фаинки только огрызалась: "Отстань к водяному!"

На другой день тетку Шуру бригадир нарядил жать рожь, и девки вызвались подсоблять. Серпов на всех не хватило, но все равно в поле пошли вчетвером. Ржаные клона томились под летним зноем около речки. Белые с кремовым отливом бабочки порхали в густой высокой ржи. Белели ромашки в хлебном сорняковом подсаде, и васильки светились пронзительной своей синевой. Ворона, открыв от жары клюв, лениво сидела на вчерашнем суслоне. Маруся зажала отдельную полосу рядом с теткой Александрой, а Фаинка и Киюшка пошли на межу собирать землянику.

— Ой, Киюшка, матушка, до чего скусно и до чего много ягод-то... А во што собирать-то? Ничего не взяли...

Киюшка велела класть ягоды в рот. Она спросила Фаинку, чего это Маня опять ревела чуть не до полночи. Фаинка оглянулась и скорым шепотком начала сказывать:

— Дак чево, чево, разве не знаешь?

— Не знаю, — сказала Киюшка, хотя все почти давно знала.

— Ишшо и в тот раз ревела, Маня-то, и вчерась ревела. Этот Леля и в тот раз лазил к ей за пазуху-то. Вчерась опеть за титьку схватил... Маня от него в куть, а он за ней. Я, грит, тибе не один, а три пайка выдам. Только приди, грит, в баню, когда деревня уснет...

— Лешой рогатой, бес, харя бесстыжая!
— Пес! — подтвердила Фаинка. — Пойдем, нажнем хоть по два снопа.
Но тетка Шура отняла серп, воткнула в суслон и отпустила девок по ягоды.
— Идите туды подале, к ричке-то! Там и черница в мошке растет...
Они ушли к самому лесу далеко от ржаного поля. В сухом верховом болотце поспевала черника. Нарвали попутно по целой охапке вкусных зеленых гиглей. И тут, чуть пониже, оказалась каменистая речка. Небольшой омуток с рыбными стайками и желтеющими кувшинками так и манил к себе, обещая прохладу, питье, такую же тишину, как дома. Маруся первая побежала к реке:
— Девушки, матушки, хоть бы ноги помыть...
— Каменья-то, каменья-то тут! — восхитилась Фаинка. — До чего хорошее каменье-то.
— У кого что на уме, а у тебя одно каменье, — засмеялась Киюшка.
— Да уж! Меня Лелечка приучил к каменью-то. — Фаинка разулась на берегу. — А у тебя-то кто на уме, Киюшка? Мужика вон одного дома оставила...
Прошло еще два дня, и все трое застыдились брать бесплатное молоко у хозяйки, да и сама тетка Александра то и дело посылала девок жаловаться лейтенанту.
Маруся наотрез отказалась идти. Зато Фаинка побежала без разговоров. Нашла она лейтенанта или не нашла, но прибежала обратно вся в слезах:
— К лешему, к лешему, к лешему, к водяному...
— Дак чево ревишь-то? — спросила Маруся.
— А ничево! — Фаинка завыла в голос и убежала в куть. Жалостливый щенячий голос вперемежку с “лешим” и “водяным” долго не стихал за перегородкой.
— Опеть, наверно, этот прохвост... — сказала Маруся.
Фаинка вышла с красным от слез лицом.
— Кто? От кого убежала-то? — спросила Киюшка.
— Да Лелечка! И ко мне который раз за пазуху лазает. Еще и щиплется...
— Ты бы свиснула по руке-то, штобы синяк! Больше бы не полез. А то бы и в самую харю.
— Девушки, ну-ко чево скажу-то. Ведь второй-то взвод... Убежали домой... Почти весь. Пять девок осталось.
— А мы-то чево? — встрепенулась Маруся. — Паек от нас утаили, каменье собрано. Ись нечево...
— Согласные вы, ежели убежим? — спросила шепотком Киюшка. — Дома скажем, что отпустили.
Фаинка даже преобразилась вся, недолго думая кинулась собираться.
— Да ты погоди, погоди... Севодни-то уж ночуем как-нибудь, а завтре вместе с солнышком...
— А куды идти-то? В какую сторону? — спросила Маруся.
— Сперва на Кириллово! Мне сказывала хозяйка, в какой стороне Кириллово-то. Пойдем по солнышку. По дороге-то не пойдем, вдруг ловить будут. Может, и милиция уж поставлена...
Улеглись голодными, прижимаясь друг к дружке, долго перешептывались. Фаинка уснула первая после глубокого горького вздоха.

* * *

Полуночные петухи не разбудили окопниц, разбудили предутренние. Заря за окном занималсь широкая, розовая.
Деревня вот-вот пробудится. Киюшка сбегала к хозяйке, которая вышла доить корову, поспасибовала.
Заохала тетка Александра, сразу все поняла. Забежала в дом, сунула девкам каравай, перекрестила на дорогу. И все молчком, чтобы никто не учуял. Девки задами по холодной бусой росе вышли к околице. Озираясь во все стороны, испуганные и возбужденные, они не заметили, как перелезли через две изгороди.
— Не беги, не беги бегом-то, — громким шепотом остановила Маруся Фаинку. — Иди степенно, как будто по ягоды...
Чем больше отдалялось жилье, тем громче заговорили.
— По дороге-то не пойдем, пойдем пока полем... Сперва прямо под солнышко, а после у людей спросим. — Фаинка слово в слово повторила Киюшку.
Солнце, большое и теплое, слепящим и яростным сгустком поднималось с востока. Дело шло к осени, и жаворонки, как висячие в небесах колокольчики,

уже не трезвонили из небесной, еще безоблачной сини. Вот первое облачко, пухлое и белоснежное, появилось позади торопливых беглянок, загудели первые оводы, залетали кругами. Фаинка остановилась вдруг и положила котомку:
— Ой, ой, девушки, чево будет-то...
— Чево?
— Да гребенку на окошке оставила.
— Иди, не греши! На вот мою. Бери, бери, у меня две.
Маруся на ходу подала Фаинке гребенку. Фаинка не успела слова сказать, как впереди объявился конский табун. Двое подростков верхом гнали коней. Девки шмыгнули в рожь и присели. Когда крики подростков и лошадиное фырканье стихли, Киюшка распрямилась:
— Пойдемте-ко! Эту деревню обойдем, а потом уж и про дорогу спросим... Авось Лелечка еще спит. А ежели и не спит, дак наплевали мы и на Лелечку-то...
— Да, поди-ко наплюй! — не согласилась Фаинка. — Говорит, что всех, кто убежал, будут ловить милицией...
Снова перелезли через две изгороди.
— А ежели заблудимся? В ту ли бежим сторону-то?
— В ту, в ту! — успокоила Киюшка. — Мне тетка Шура так и сказала, идите сперва прямо под солнышко, а после спросите... Еще и каравай в котомку сунула.
— А далеко ли до Кириллова-то? — не унималась Маруся.
— Не знаю, Маня, не знаю. Может, день, может, два. А может, и все три.
Опрометью пробежали еще два поля, обошли еще две деревни. Дальше дорога уходила в лес. И заболела у всех троих душа...
У сеновала вздумали хоть немного опнуться.
— Ой, девушки, вроде мозоль на ноге! — пожаловалась Фаинка, подходя к рубленой без пазов сеновне.
Только сели на порог сеновала, только успела Фаинка снять сапог — и вдруг вся занемела. У нее округлились глаза.
— Чево? — шепотком спросила Маруся. Но у Фаинки и язык отсох.
— Шпиены... — прошептала она. От страха девка не могла сдвинуться с места. — Чуете?
Киюшка с Марусей тоже замерли, прислушались. Ничего они не услышали, только тревожно шелестели осины. Кукушка трижды кукнула и затихла.
"Сиди, все тебе, Фаинушка, блазнит", — хотела сказать Киюшка, да и сама осеклась. Только сейчас заметили девки остатки пожога. В углу сеновни все трое увидели какой-то чемодан. Кто-то явственно кашлянул из глубины перевала. В ужасе схватили девки котомки и побежали, но побежали не к лесу, а в сторону деревни.
— Стой, стой, на месте шагом марш! — послышалось сзади. Девки бежали что было мочи.
— Идите сюда! — кричал им кто-то из сеновала. — Мы тут картошку печем!
Киюшка первая остановилась и оглянулась:
— Ой! Фая, Фая, гледи-ко!
Фаинкин растрепанный вид об одном сапоге совсем привел в чувство и Киюшку и Марусю. Второй сапог Фаинка зажала левой рукой, корзину держит в правой.
— Осподи! — Фаинка опамятовалась и всплеснула руками. — И правда ведь... третий взвод... А мы-то, дуроцки, убежали без памяти... Шпиены-ти... Лаврушка ведь!
Фаинка, сидя на траве, торопливо обула сапог, встала и топнула оземь:
— Вот!
— Чево вот?
— А хоть пляши...
Из сеновала к Лаврушке вылезло еще четверо из третьего взвода. Одни ребята, ни одной женщины.
— Куды девок-то бросили? — спросила Фаинка, когда подошли поближе.
— А оне давно убежали! Еще третьего дня, — доложил кудреватый. — Картошку будете?
— Будем, будем, — проговорила Фаинка. — Где наворовали картошки-то?
— Колхозная. А мы чуем, идет кто-то. Ну, думаем, диверсанты, раз — и спрятались в сено. А вы? Убежали?
Маруся незаметно за кофту одернула Фаинку, но та не обратила внимания:
— А каково нам водяного ждать? Все каменье собрали.

— Ну, дак, пойдем все вместе! — зашумел третий взвод.
— А вам куды? — спросила Киюшка.
— Мы на Череповец!
— Нет, мы на Кириллово...
— Дак у вас картошка-то испеклась? — спросила Фаинка. Маруся опять дернула ее сзади за кофту, но Фаинке явно не хотелось уходить от третьего взвода. Товарки перетянули ее на свою сторону. Распрощались с ребятами, и дальше, лесной дорогой. Лаврушка долгонько провожал Фаинку, она приотстала на повороте. Когда догнала товарок, когда ребята остались далеко-далеко, все трое давай вспоминать встречу. Хохотали над своим страхом, пробирали почем зря третий взвод.
— На берегу-то, помните, Лаврушка и плясал в лаптях.
— Износил на окопах. Счас в сапогах. Сапоги-ти, наверно, в котомке держал. Разрешите, грит, письмо послать...
— Адрес-то записал? — спросила Фаинку Маруся.
— У меня, грит, и так память хорошая, чего, грит, записывать? На фронт, грит, поеду, письмо напишу. У тебя-то лентенант записал адрес? — как бы ненароком спросила Фаинка.
Маруся вспыхнула: никак она не догадывалась, что Фаинка знает про лейтенанта... Ведь он и всего-то один разок захаживал к ним в зимнюю избу. Или Фаинка видела, как однажды сидела Маруся с лейтенантом на ночной лавочке, пока плясали у первого взвода? Такая проныра, все углядит...
Память всколыхнула нечто волнующее, сладкий, короткий всплеск под левой грудью сменился тоскливой мыслью. Никогда, никогда уж, наверно, не увидит она этого лейтенанта... И все опять отодвинулось в сторону только что пережитым страхом. Про лесных шпионов лучше было бы тоже Фаинке не вспоминать. Дорога завела в лес, березы шумели над сенокосной полянкой. Прошли еще с версту, и вскоре шумные сосны обступили со всех сторон, запахло горячей иглой. Высокие папоротники обрамляли дорогу, словно зеленым кружевом. Кричала неспокойная сойка. На одной веселой горушке остановились и под стук дятла накинулись на крупную спелую землянику. Ягоды успокаивали, но пробудился голод, а есть было нечего. Каравай, поданный хозяйкой, был уже на исходе, и остаточки лежали в котомке у Киюшки. Немецкие диверсанты у всех троих опять не выходили из головы.
Озираясь, в поту и в тревоге, побежали от земляничной горушки. К счастью, лес начал редеть, вновь пошли поляны с покосами, и вскоре открылось широкое паровое поле. Навозные колыжки, налаженные к завалке, усохли, их не успели раскидать и запахать. Две-три початые полосы так и остались недопаханными, в одной, на самой середине, торчал железный плуг с оглоблями.
Поле было совершенно безлюдным. Носились над ним крикливые чибисы, медленно, тихо шли над ним белые, словно ватные облака, но никто не пахал паренину, никто не заваливал обсохший навоз. Подруги враз догадались, куда подевались здешние пахари.
— Девки, девки, каменья-то на полосах до чего много, каменье-то до чего добро! — приговаривала Фаинка. Маруся с Киюшкой не приставали к разговору и торопились дальше. Обе то и дело оглядывались, нет ли погони.
Фаинка вздумала подразнить Марусю:
— Хоть бы лентенант догонил! От ево-то мы бы не стали и убегать, правда ведь, Маня?
— От Лелечки тоже не побежим! — не осталась в долгу Маруся, и Фаинка прикусила язык.
Дорога вывела к гумнам. Деревня встала на пути вспотевших беглянок. И опять решили не заходить на деревенскую улицу, чтобы никому не показываться на глаза. Не дай Бог как раз в этой деревне и ждут их милиционеры либо начальство из сельсовета. Только перелезли через изгородь, и как назло бабы с серпами. Хотели спрятаться за гумно, однако ж было уже поздно. Пришлось останавливаться. Бабы тоже остановились.
— Девушки, вы чьи? — спросила старушка в белой рубахе. — Откуда экие?
— Здравствуйте, — поздоровалась Киюшка. — Мы дальние.
Женщины заговорили сразу:
— Больно добры девки-ти, наверно, с окопов.
— Дак откуды баские экие? Куды направились?
— Мы на Кириллово, а после еще дальше...
— Дак ведь в Кириллово не по этой дороге. Что вы, Господь с вами!

Начали объяснять дорогу на Кириллово, заспорили между собой, перебивая друг дружку.

— Не ланно оне пошли, не ланно! — махала руками одна.

— Чево не ладно? — не соглашалась другая.

— Правда, правда, можно и тут, — вступилась третья.

— Да ведь заблудятся!

Еле разобрались. Велено было зайти в деревню, пройти в тот конец и через другой отвод выйти в овсяное поле да через лес. А там дорога колесная до Иванова Бора. И чтобы где надо — у людей спросить. Будет какой-то мост, а после будто бы взять левее и все вдоль да подле реки. Сколько верст, никто ничего не сказал...

— А миличию-то не бойтеся, нетутка миличии тутотка! — издалека вослед кричали женщины. — Ежели только у реки караулят, а тут нету...

Девки так все и сделали, как было сказано. Просвистали они деревней как угорелые. Без всякой оглядки вышли в овсяное поле и чуть не бегом, по колесной дороге, к лесу. Как будто за тем лесом и дом, и родимая маменька...

— Мы куда к ночи-то выйдем? — спросила Маруся Киюшку. — Тебе чего хозяйка-то сказывала?

— А то! Утром, грит, идите прямо на солнышко, в обед чтобы оно было справа, а вечером чтобы в спину пекло. Вот, грит, ночуете где-нибудь, утром — через реку да и выйдете прямо в Кириллово.

Солнце и правда пекло с правой руки. Пошли еще шибче. Все трое надолго замолчали. Дорога была сухая, колея шла ровно. Фаинку пропустили вперед. Сперва она начала балабонить что-то насчет Лелечки, затем заговорила про дом.

— Сколько дней пичкались! Давно бы надо домой стелелехивать, давно бы дома были.

— А зря и боялись твоего Лелечку, — согласилась Киюшка. — Это ты ему потачку дала, вот он и привык за пазуху лазать.

— Нет уж, нет уж, Киюшка, — не согласилась Фаинка. — Я как двинула его локтем в рыло, он от меня враз отскочил. А вот ты-то домой придешь, уж Колюшка твой от тебя не отскочит. Чего будешь делать-то?

Киюшка промолчала. Она остановилась, чтобы переобуть сапоги. Фаинка с Марусей тоже решили переобуться.

— Я от тебя не отступлюсь, Киюшка, нет, не отступлюсь, пока не расскажешь, — по-сорочьи трещала Фаинка.

— Про чево рассказывать-то?

— А про первую ночку... Вишь, мужика оставила одного, и сама на окопы...

— Не расстраивай ты ее! — остановила Фаинку Маруся, когда все трое уселись на траву.

— Нет уж, нет уж, все равно узнаю.

— Да чево узнавать-то будешь?

— А про первую ночку!

Киюшка рассердилась:

— Выходи сама да и узнавай! Вон Лелечку как завлекла...

— На што мне ево. Как бы лентенант...

Фаинка стащила сапог с Киюшкиной ноги. Запах от пропотелых портянок отшиб у девок прежнюю тему. Они решили у первой же речки постирать не только портянки, но и еще кое-что.

— Стыд-то какой. Тяпушка и в сапогах!

Фаинка воротила на свое:

— Ладно лентенанта нет, а то бы он в лес убежал от этого духу. А Колюшка-то? Ведь и на постелю не пустит...

— Отстань к водяному! — всерьез заругалась Киюшка. — Скажешь еще, выдергаю волосья.

Фаинка хихикнула:

— Где, с какого места дергать-то будешь?

— Уж я-то знаю, где у тебя свербит!

Маруся рот ладонью зажала: "Бесстыжие!" Все трое давай хохотать. Опомнились, схватили котомки. Фаинка опять бежит впереди. На ходу начала представляться. Пустую котомку с кашемировкой превратила в гармонь. Играет как бы и поет под ротовую игру ребячьи песни:

Тыры — тыры — тыры — тыры.
Тыры — тыры — тыры — тыр.
Ох, кто бы нас задел,
Эдаких молоденьких,

Мы бы всех перестрылели
Из наганов новеньких.
Тыры — тыры — тыры — тыр.

Жара, оводы так и лезут на девичий пот. Фаинка, хоть и голодная, знай наяривает:

Я мальчишко фулиган,
Меня судили за наган...

Не заметили, как прошли насквозь все овсяное поле и небольшой лесок, очутились в другом лесу. Переправились через завор, в поскотину. Дорога пошла хуже, зато стало немного прохладней. Но к оводам добавились комары.

На печке спал,
Стало боку жарко.
На полати перешел,
Стало девок жалко,

— во все горло спела Фаинка. В лесу она стихла вдруг. Оглянулась. Киюшка и Маруся шли позади тоже как по угольям. Сразу вспомнили про войну, вспомнили разговоры про немецких десантников, о том, как пастух наткнулся на свежий пожог и увидел проволоку на дереве.

Лес, словно жалея девок, расступился, начались сенокосные пустоши. Какая-то речка блеснула невдалеке. Стало как будто повеселее, но тут на бережке подали весть и усталость и голод... От каравая давно не осталось ни крошки.

Сколько верст прошагали с утра? Они ничего не знали. Спросить бы, да кого спросить? Ни сенокосников, ни жнецов.

Решили единогласно выкупаться и постирать.

Никого не было вокруг, одни кусачие оводы летали около. Все равно долго оглядывались, нет ли кого, разболоклись и к воде.

Облака, отраженные в речном омуте, качнулись, Фаинка с Марусей не удержали восторженный визг. Киюшка вошла в воду без визгу и намного степенней. Не стала Киюшка развязывать кокову, не стали и косы расплетать Маруся с Фаинкой. Бултыхались, разогнали дружную густую стайку мелкой, словно овес, плотвы и давай пить из реки.

Медовый запах реял над лугами и речкой. И отлетели в сторону все невзгоды...

— Господи, песочик на дне, до чего добро-то!

Киюшка с головой окунулась в воду.

Небо, как дома, было синим, бездонным. Оводы тоже, хоть и кусались, но были как свои. И так же, как дома, белел ромашковый луг, алела в траве пронзительно ясная гвоздика. Ласточки чертили над речкой воздух, и словно не шла война под Ленинградом, чуть ли не около Вытегры.

Фаинка зажала пальцами уши и нос, чтобы тоже с головой окунуться в омут:

— Девки, девки... Господи благослови. Ух!

Она вынырнула, отфыркалась и, как маленькая, начала бить по воде ладонями, брызгаться.

— А чем голову-то расчешем без гребенки-то?

Фаинка начала рвать кувшинки, чтобы сделать бусы на берегу. Маруся, не расплетая кос, тоже вздумала с головой окунуться в омут. Когда-то ее научили глядеть под водой, и вот она увидела песчаное дно, камушки и даже мелких сорожек, убегающих вглубь.

Одна за другой вылетали девки на берег. Фаинка начала скакать на одной ноге, наклонив голову. Вода попала ей в правое ухо.

Мышка, мышка, вылей воду
На тесовую колоду.

— Девки, девки, за лесом вроде урчит, — насторожилась Киюшка. — Хоть бы дожжа не было.

— Ой, вроде гроза уркает!

— Какая тебе гроза, ведь не оболошно...

Гроза налетела неизвестно откуда. Какой-то страшный надрывный поднебесный рык стремительно приблизился к омуту, нежданно-негаданно обрушился с неба. Грохот объял, задушил весь тихий зеленый мир, и луга с медовыми запахами, и земляничный лесок, и речку, и синее небо с белым облачком. Все объялось этим нездешним дьявольским громом, прежде чем что-то темное оглушительно

со свистом обрушилось сверху. Голые девки, судорожно прикрываясь одеждой, без памяти скочурились на берегу. Черная тень мгновенно накрыла их, обдала вонючей и жаркой волной бензиновой гари, оглушила вселенским грохотом и так же стремительно удалилась.

Маруся очнулась. Она не видела, как мелькнуло черно-желтое брюхо и большие кресты на крыльях. Когда она слегка опамятовала, то сразу начала трясти Киюшку, ничком лежащую на траве, потом птицей кинулась к Фаинке. Та была совсем без памяти. Маруся с Киюшкой то с ревом трясли Фаинку за плечи, тормошили, терли виски, то искали свои сарафаны. Фаинка беспомощно, как льняное повесмо, висела на их руках.

— Тряси, Маня, тряси!

— Господи, что будет-то...

— Ну-ко, ну-ко, за подмышку давай, она вроде щекотки боится...

Когда полезли Фаинке за пазуху, она очнулась, глаза открылись. Отбрыкнулась от подруг, схватила чужой сарафан, чтобы закрыть наготу.

Далекий завывающий гул самолета заглох за лесною грядой. И вдруг он снова быстро начал усиливаться. Голые девки не успели придти в себя...

— Маня, беги в воду-то, ведь увидит! — сквозь нарастающий гул завопила Фаинка дурным голосом.

Самолет, стреляющий жаром и вонью выхлопов, вновь налетел, накрыл, заглушил пронзительный женский визг. Казалось, немец хотел разрезать крылом лужайку у омута. Голова в шлеме, в больших очках на миг оскалилась в бесовской улыбке, когда голые девки от стыда и от страха бросились в омут.

Летчик помахал черной рукой, и железный громовый дьявол, стреляя выхлопами, мелькнул желтым брюхом, окрестил их черными своими крестами и, спешно набирая высоту, ринулся в небо.

Девки не смели вылезти из воды. Они стучали зубами, дрожали, вроде бы от холодной воды. На берегу Фаинка, заикаясь, попробовала ругаться:

— Где, где сарафан-то? Со-со-сотона, лешой, б-б-болотной...

И заревела теперь уже не от страха, а от стыда, что немец увидел ее голой.

— Не реви, Фая, не реви... — промолвила дрожащая Киюшка, торопливо натягивая рубашку. — Не стрылил, дак и то ладно. Ведь и стрылить бы мог, либо бомбой. Не реви...

Легко сказать, не реви... Марусю тоже трясло. У всех троих подгибались коленки, когда схватили котомки и бросились на дорогу подальше от омута...

Куда было бежать, куда идти? Они ничего не знали... Знали только, в какой примерно стороне город Кириллов. Немецкий самолет полетел прочь от солнышка. Они же выбежали на дорогу и направились прямо под солнышко. Оно светило им в глаза. Оводы под вечер не кружились вокруг. Полевые чибисы с тревожным печальным писком поднимались с гнезд. Небо на западе еще белело пухлым спокойным облаком. Не верилось, что только что без памяти метались на речном берегу, что черные чужие кресты дважды чуть не вдавили в зеленую землю, что все трое чуть не оглохли от нездешнего треска. Беда и смерть уже коснулись их черным своим рукавом, но им все еще не верилось, что это война... И расстраивались и ругались они не от того, что война, а от обиды, что их увидели голыми. Да еще сверху, да еще чужой.

Бежали, бежали окопницы от несчастного омута, бежали голодные, перепуганные, не успев причесать волосы и одуматься. Натерпевшись безумного страху, бежали под солнце. На ходу то одна, то другая начинала было в голос реветь, но сразу стихала — то одна, то другая. Плакать при ходьбе не больно сподручно. Маруся глотала слезы. Киюшка промокала глаза рукавом, у Фаинки они в два ручья текли по щекам. Бежали без оглядки и молча, тратили последние силы на колесной дороге среди ржаных и овсяных полей.

Перед какой-то деревней Фаинка с ревом хряснулась на скошенный луг. Остановились, присели и Маруся с Киюшкой. Все трое снова досыта наревелись. Затем кое-как причесались. Потом переобулись. Только теперь почуяли голодную дрожь и неодолимую тяжесть в ногах.

— Сотона! Рогатый бес! — ругалась Фаинка. — Лешой поганой, шею-то вытянул да и глядит, и глядит.

— Кресты на крыльях-то. Черные, а брехо желтое, — скороговоркой добавила Киюша. — Пойдем, пойдем... Вдруг опеть прилетит...

Собрались с силами, поднялись, пошли споро, но шагом, без всяких пробежек. Забыли и про милицейский пост, о котором говорили встречные бабы. В

открытую прошагали через большое село. Дорога уперлась прямо в реку. На пароме стояла упряжка.

— Чево, девки, на ту сторону, што ли? — крикнул мужик. — Давай подсобляй, ежели на ту.

Паромщик велел тянуть за канат, сам взялся за большое, как на барже, правило. Мужик ездовой тоже начал тянуть, спросил:

— Откудова, девушки, чьи?

Киюшка честно доложила, откуда и чьи. Мужик языком поцокал, объяснил, сколько верст до Кириллова и куда идти от парома, Рассказали про самолет. Мужик не поверил: "Будет самолет с вами связываться". Как во сне, переправились на другой берег и опять чуть не бегом: вдруг догонят с милицией? Но и теперь никто не наладил за ними погоню. Зато ноги у всех троих отказывались служить. Фаинка нет-нет да и всхлипнет. Она заикалась теперь и уже не пела частушки. Она то и дело начинала реветь.

— Манька, твой-то лентенант куды глядит? — сквозь слезы твердила она. — Для чево он поставлен, ежели самолеты летают? И шпиены в лесу... А он только каменье сбирает...

— Велено ему, вот и сбирает! — строго сказала Киюшка. — Иди, не реви, чево ревишь-то опеть?

— Немочь... голую видел... — всхлипнула Фаинка. — Стыд... Лешой рогатой... Харю-то выставил... А ежели на картоцьку снял? Ой, чево будет-то?

И Фаинка завыла в голос.

— Отстань, ради Христа! — рассердилась Киюшка.

Деревни одна за другой оставались позади. Ведреный долгий день кончался, а на какой-то развилке они еще раз свернули направо, то есть под солнышко. Оно садилось. Когда страхи, усталость, жара и голод сдавили душу, как раз начался сосновый лес, без комаров и без оводов. Сухой смолистый воздух реял между дерев, на горушках, почти у самой дороги густо краснела крупная земляника. Не было сил пройти мимо этих горушек, и все трое, не сговариваясь, побросали котомки. Молча, торопливо набирали в горсть, кидали в рот ароматную и теплую живительную ягодную мякоть. Земляника незаметно перешла в черничник. Но солнышко... село. Не заметили спутницы, что солнышко село, что в лесу быстро свежело, темнело, затягивало низинки туманом. Охнули все трое, а встать не могут. Долго на четвереньках ползли к поклаже, а поклажи не оказалось. Долго ли они искали свои котомки? Они и сами не помнили. Когда нашли, то Киюшка, как самая старшая, первая ступила на дорогу:

— Ой, хоть бы дойти до деревни-то, ой, ведь ночь, ой, велик ли волок-то...

Все трое брели еле-еле, как старухи. К счастью, лес оказался не очень большим, он сменился полянкой, а когда совсем стемнело, девки вышли снова в ржаное поле. Страшась потерять дорогу, они уже в сумеречной мгле нашли стог и начали теребить, вытаскивать сено. Сделали в стогу большую нору, не разуваясь, забились в нее вместе с котомками.

Вначале они уснули в стогу как убитые, не чуя ни комариных укусов, ни криков болотного дергача. Но вскоре громы дальней ночной грозы смешались с пережитыми за день страхами. Тревожные непонятные образы до утра корежили, мутили и перебивали девичий сон. Фаинка то и дело дергалась и даже начинала по-младенчески подвывать во сне. Дальний гром то приближался, то затухал. Самолет все летел где-то, летел прямо к ней, близко уже, сейчас, сейчас... От страха она скулила во сне, и Киюшка, сама в тревоге, прижималась к Фаинке, успокаивала ее своей близостью. Под утро они снова заснули покрепче.

Звонкий собачий лай разбудил их. Ошарашенные, они вылезли из-под стога, схватили котомки. Деревня просвечивалась в белом тумане. Собачка тявкала, не обращая на них внимания. Почуяв крота, она рыла землю совсем рядом, за стогом. Они увидели ее и чуть успокоились. Людей не было. Солнце всходило в синюю тучу, откуда уже с утра урчал гром.

— Жучка, Жучка, чево разлаялась-то? — позвала Киюшка, и это слегка успокоило Марусю с Фаинкой.

— Ой, ой, на ноге-то мозоль, а в голове-то... Трухи от сена насыпалось, густо.

— Надо было платком завязать.

— Да ведь завязывала.

Вытряхнули из волос сенную труху. Переобулись. Ноги болели у всех троих, но голод не мучил с утра. По ранней утренней свежести прошли три поля и две деревни. Волость тянулась большая.

У колодцев здоровались с местными жителями и молча скорей, скорей по дороге. Шли долго без всякого отдыха.

— Девки, а идем-то мы ладно ли? — встрепенулась однажды Маруся. Все трое остановились. И впрямь, солнечный сноп пробился из ночной тучи вроде бы не справа, а слева. По солнышку была уже середина дня. Киюшка опять успокоила, вспомнила, что говорила хозяйка... Утром идти под солнышко, а обед оно будет по правую руку...

— Которая правая-то? — остановилась Фаинка. — Эта или эта? — Фаинка поворачивалась то одним боком к солнышку, то другим. Она все еще заикалась после вчерашнего. Мозоль на ноге мешала ей идти по-людски, девка сильно прихрамывала. Да ведь и голодные все трое! Второй день ни крошки во рту, не считая вчерашних ягод. Остановились у ржаной полосы, на ходу брусили ржаные колосья. Выдували мякину, кидали зернята в рот, но силы от этого не прибывало...

Под вечер второго дня они остановились у отвода в какой-то деревне и увидели вдали церковные купола.

— Слава Тебе, Господи, — перекрестилась Киюшка. — Слава Тебе, Господи, до церкви дошли... Маня, давай скажем молитву-то, ты крещеная. Которую в школе-то учили... И ты, Фая, крестись!

— Да как? Я уж забыла...

Фаинка озиралась, не видит ли кто, неловко перекрестилась.

— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое... — шептала Киюшка. — Маня, как дальше-то?

Кое-как, шепотом, оглядываясь, сбивчиво дочитали молитву. Никто вроде бы не увидел и не услышал.

Зашли в деревню, чтобы спросить дорогу. У одного палисадника бабушка держала на руках завернутого в одеяльце младенца, отгоняла от него комаров. Спросила как обычно:

— Вы чьи, матушки? Куды правитесь-то?

— В Кириллово, баушка.

Девки остановились.

— Дак, ведь Кириллово-то вы уж давно прошли. В другой стороне ведь Кириллово-то.

Все трое так и сели прямо на землю. Фаинка взвыла.

— Дак, вам куды надо-то? — допытывалась бабка.

Маруся с Киюшкой, в слезах, объяснили, куда им надо.

— Ой, больно далеко, ой, больно далеко.

Ребенок, видимо напуганный Фаинкой, тоже взревел на руках у старухи.

— А ты, дак, Иванко, сиди! Сиди и рот не отворей, цево тебе мало? Сыт, пьян и нос в табаке...

Иванко послушался и стих. Ясные круглые глазенки васильками удивленно светились из-под какого-то ситцевого башлычка, глядели прямо на Киюшку. Киюшка успокоилась под взглядом младенца, расспросила бабушку, куда и как надо идти.

— А вот, матушки, идите-ко сперва к Мартемьяну да Ферапонту, тут близко. Тамотко и выходите прямо в нашу-то деревню. Я вить оттудова и замуж выхаживала. В деревню-то как ступите, так и спросите, в котором дому Иван-то Петрович, так вы в етот дом и зайдите! Поклон, скажите, от сестреницы Августы! Он вас и направит куды надо...

Поднялись на ноги еле-еле. Пошли.

— Матушки, дак вы не голодные ли? — окликнула бабушка. — Зашли бы в избу-то, дак я бы вам самовар поставила.

Фаинка подзамялась. Но Киюшка дернула ее за руку, оглянулась и сказала бабке спасибо. И пошла, пошла Киюшка, пошла не оглядываясь.

"Где это, какой Мартемьян с Ферапонтом?" — вертелось у нее в уме. Фаинка сзади бурчала что-то себе под нос: "Вишь, только и думает о своем Колюшке. Торопится... А ноги-то совсем не идут... Сейчас в траву повалюсь... Только и думает о своем Колюшке, нет чтобы в избу зайти..."

И открылось перед ними большое красивое озеро. Оно лежало широко и спокойно, уже покрытое кое-где сизым туманом. Две лодки недвижно стояли на плесе. Рыбаки лениво махали длинными удами. Будто и не было никакой войны около Ленинграда. Увидели странницы и еще одно озеро, ниже первого, а между озерами, на зеленой горе, монастырские невысокие колокольни и купола. Белой оградой обнесен был этот небольшой монастырь. Под горкой увидели девки деревянный мост, услышали шум воды словно на мельнице.

"Тут и есть, — подумала Киюшка. — Мартемьян с Ферапонтом... Это ведь сюда хаживали на богомолье. Ходили и наши старухи. И божатка-покойница про Ферапонтово баяла много раз".

Скотина шла из поскотины, коровьи ботала побрякивали на разные голоса. Ребятишки с криками играли в рюхи посреди улицы. А ноги не шли теперь ни у Маруси, ни у Киюшки. Еле добрели они до деревни, про которую сказала бабушка Августа. Дом Ивана Петровича показали им сразу.

Сивый, но еще моложавый старик, пристроившись у зимнего крылечка, отбивал косу. Он с любопытством оглядел трех девок, стоявших под черемухами.

— Иван Петрович не тут живет? — спросила Киюшка. — Здравствуйте.

— Доброго здоровья, доброго здоровья. — Старик отложил молоток и поставил косу к домовой обшивке. — Я-то, и правда, Иван Петрович. А вы-то кто?

Киюшка объяснила. Сказала поклон от Августы.

— Ладно, дело хорошее. Проходите.

Услыхав разговор, вышла опрятная старушка, гороховым передником она утирала руки. Девки и с ней поздоровались. Едва стоя на ногах, они дружно попросились переночевать.

— У вас чево в котомках-то? — сказал Иван Петрович. — Ежели вино, дак пусть ночуют.

Старуха замахала на него руками:

— Не слушайте вы его, бухтинщика, не слушайте! Проходите-ко в верхнюю-то избу...

О, запомнят навек и Киюшка, да и Маруся с Фаинкой эту верхнюю избу! На всю жизнь и все отпечаталось в сердце, хотя в глазах были круги, и все трое чуть не спали, поднимаясь по белой лесенке, усаживаясь на крашеных лавках.

Большое было семейство у Ивана Петровича: невестка с сыном да четверо внуков, но за ужином за большим невысоким столом на широких лавках хватило всем и места и хлеба. Приставили, правда, скамью. За печью из рукомойника гостьи вымыли руки. Сели за стол. Хлеба было нарезано целое решето... "Видно, кончился Петров-то пост", — подумалось Марусе, когда от шестка потянуло запахом мясных щей. Господи, неужто правда, неужто в яви, а не во сне? Которые сутки голодом. Трясущимися руками взяли по ложке. Изо всех сил стараясь не торопиться, откусили от хлебных урезков, хлебнули из большого общего блюда... Щи-то были суточные, их не надолго хватило. Зато картошки с кишками бараньими да разваренной заспой оказался целый непочатый горшок! Под конец принесли простокваши и двоежитного пирога.

— Ешьте, матушки, ешьте, на нас не глядите, — потчевала старушка. — Мы-то дома, а вы в дороге.

"Господи, как бы остановиться-то, чево нонче про нас подумают", — мелькнуло в голове у Маруси.

Иван Петрович ел не спеша, расспрашивал, много ли накопали окопов. А когда узнал, как налетал на них самолет, то сперва не поверил, что самолет был немецкий:

— Неправда это, наверно, свой.

Но хозяйка вступилась за Киюшку:

— Да как неправда? Ежели оне вон кажинный день уркают, еропланы-ти. Здря бы не уркали.

Когда Киюшка рассказала, что на крыльях были кресты, поверил-таки Петрович! Не пришлось Киюшке второй раз говорить. Поверил и сказал так:

— Ну, девки, вы топере стали крещеные... Немец вас окрестил. Заместо купели в лесном омуте...

"Да мы и были крещеные", — хотела возразить Киюшка, но тут все чуть не расхохотались. Фаинка, с ложкой в руке, спала, уронив белую голову прямо на плечо старику. Они сидели с Петровичем бок о бок. Маруся ткнула ее под бок, но Фаинка пробудилась лишь со второго тычка. Все семейство со смехом поднялось из-за стола. Иван Петрович крякнул, заговорил строго:

— Вот, матка, а ты говоришь, что я устарел! Нет, больше я тебе не работник, ищи нового. Подавай гармонью, открывай шкап! Завтре пиво заварим, мало ли что война...

Гармонь все же осталась лежать в шкапу. А окопниц хозяйка уклала под полог на верхнем сарае.

Ночи как будто и не было. Утром ведерный чугун парной рассыпчатой картошки стоял посреди стола. Хлеба опять было нарезано целое решето, но от молока девицы дружно, скрепя сердце, заотказывались. Очистили по картошине, взяли

по урезку хлеба, посолили из берестяной солоницы. Когда встали из-за стола, то спросили, какие будут деревни на их долгом пути. Иван Петрович начал перечислять:

— Бумажки-то чистой нету? Матка, где у нас химической карандаш?

— Тебе нашто? — послышалось из кути.

— Надо заявленье писать. В партию.

— Сиди, дурак сивой, цево мелешь? Не слушайте ево, он такой и есть.

— Это какой такой? — не унимался Иван Петрович. Он расправил на столе чистый листок, выдранный из тетрадки.

— Я не хуже других и прочих. Меня в партию сколько разов звали, не то што тебя... Вот, девушки, слушайте указ первой номер. Из отвода ступайте-ко все прямо. Две деревни минуете, будет Теряево. Там ричку по мосту пройти, и встанет Глебовское. За Глебовским — Дор, после — Ивановское, потом — Куракино, с Куракина идите на Большое Осаново...

Иван Петрович слюнявил листок с деревнями, записывал дальше:

— Идите вдоль воды, до Большого Коровина, от Коровина спросите Татьянинскую дорогу. После все лесом да лесом, верст шесть аль семь. Не будет жилья до самого Острецова. Там я и сам бывал только одинова, деготь возил. Вот, бумажку-то берегите...

— Ой, спасибо, Иван Петрович, ой, спасибо за хлеб-соль и на добром слове!

— Идите, язык до Киева доведет. — Петрович вручил бумажку Киюшке. — Вина много не пейте, с медведями здоровайтесь по имю-отчеству...

— С Богом, девушки, со Христом! — проводила хозяйка с крыльца.

Остальное семейство Петровича все поголовно еще спало в горенке. Окопницы взяли поклажу, по бусой росе вышли в конец деревни. Отворили скрипучий отвод. Начался третий день их голодной ходьбы.

— Я, дак, тольки две картошинки и очистила, — сожалела Фаинка. — Думаю, надо скорее остановиться, а то все съедим, теленку ничево не останется...

— Господи, далеко ли нам идти-то еще?

— Записку-то с деревнями не потеряй, Киюшка!

Одна деревня, другая... Третья... У четвертой околицы перевели дух, перевязали платки. Старая, может, еще позавчерашняя усталость опять быстро копилась в ногах и во всем теле. Уже к полудню еле-еле брели. Казалось, что не будет конца мученью...

Солнышко в полдень опять встало по правую руку, а сзади сначала слегка, потом в полнеба растеклась темная синева. Гром, сначала глухой и дальний, настигал, становился ядреней и трескучей. Оглянулись, а туча уже надвинулась совсем вплотную. Ветер со свистом ударил с запада, начал рвать и трепать все на своем пути: полетели шапки с ржаных суслонов, две или три тесины подняло с гумна. Черемухи и березы вскинулись в одну сторону. И вот сзади, совсем близко, вместе с громовым грохотом обрушился с неба проливной дождь. Пока отвесные потоки воды не ударили в землю, спутницы, несмотря на усталость, успели свернуть с дороги и проворно шмыгнуть в сенной сарай. Шум воды и лесного ветра затопил все остальные звуки. Трескучий сплошной гром рвал небо и землю, стелился над всем миром, и в этом водяном шуме что значили Фаинкины и Марусины слезы?

Долго и жутко летал над потемневшим миром угловатый сверкучий поднебесный огонь, долго метался из стороны в сторону громовый треск, и сплошные потоки воды долго бухали в желобовую крышу сеновни. Фаинка зарылась от страха в сено. Маруся и Киюшка, глядя в проем, прижались друг к дружке, вздрагивали и крестились.

Но вот сплошной водяной и ветряной шум начал понемногу стихать. Гром ворчливо летал и стелился теперь где-то дальше, уползал в ту сторону, где был дом, родные места. Тучу вскоре развеяло ветром, она пожелтела, и бирюзовые, ослепительно-солнечные продушины обозначились в небе. Наконец, и последние капли перестали стучать по крыше. Солнце выглянуло, лес и трава осветились зеленым золотом, запели птицы...

— Вставай, Фаинушка, вылезай! Надо идти... — сказала Маруся. Киюшка уже вышла из сеновни. Растрепанные, перепуганные, но все же отдохнувшие, побрели они дальше и дальше. Голодная слабость опять опускалась в отяжелевшие, больные от водянистых мозолей ноги.

— Девки, девки, чево ись-то будем? — заикаясь, по-собачьи скулила Фаинка. — Ведь не дойти... Хоть бы гигилья нарвать. И ягодки есть на горушечках...

— Далеко ли убредешь на ягодках-то? — воспротивилась Киюшка. — Нет, девушки, нет...

Она не договорила того, что хотела сказать. Даже одна мысль о том, что придется просить милостыню, кидала в краску. Но что было делать? Мысли о подаянии все еще не приходили в голову ни Фаинке, ни Марусе. Перед большим, на много километров, волоком, о котором говорил Иван Петрович, оставалось всего две или три деревни. "Не пройти нам без хлеба этого волока. Ослабнем, загинем... Не выбрести..."

Так думала Киюшка, оказавшаяся самой старшей среди подруг, поскольку была замужней. Променять бы на хлеб что-нибудь из котомок? Об этом нечего было и думать. Разве расстанется Фаинка со своей атласовкой или Маня с новомодными башмаками? С голоду лучше умрут... Нет, видно, придется просить кусочки. Везде ведь люди живут...

Ливень был не долгим, но таким хлестким, что земля до вечера не успела впитать влагу. Везде на дороге стояли хоть и теплые, но глубокие лужи. В яружных низинках было за голенище воды. Хлюпало в сапогах, и как только вышли на очередную деревню, решили переобуться, пообсохнуть и отдохнуть. Высокая спелая рожь стояла по обе стороны. Окопницы на ходу срывали колосья, мяли в ладонях. Приходилось останавливаться, класть котомки на землю и выдувать мякину.

— Ой, девушки, нам эдак ведь не дойти! — сказала Киюшка.

— Не дойти, — согласилась Маруся.

— Я дак совсем пакнула... Сцяс свалюсь. — Фаинка села на сухое место во ржи, Киюшка начала ее поднимать.

— Не вались, Фая, не вались! Повалимся, дак тут и погнием... Да отступитесь вы от колосьев-то! Уж лучше в избу зайти да попросить милостинку.

— Стыд, Господи...

— Стыд не дым, глаза-ти не выест! — сказала Киюшка. — За волоком-то... Километроз двадцать, рядом, считай... Божатка в деревне... Попросим, ради Христа, дойдем до божатки-то... А уж там-то и дом близко, за день дойдем.

— А ну как на волоку-то умрем?

— Давай, Фаинка, ты первая! Зайди в избу, перекрестись. И скажи: "Дайте милостинку, ради Христа!"

Фаинка замахала руками:

— Ой, нет! Мне ни за что не сказать! Маня, иди ты...

— А вот, — распорядилась Киюшка. — Мы по жеребью. Завязывай, Маня, три узла в платке!

— Не буду и тянуть, к лешему, к водяному, — запротестовала Фаинка.

Маруся тоже заотказывалась.

Нет, упряма была и Киюшка. Начала считалку на троих, как играли, когда были маленькими: на кого выпадет, тот идет первый просить милостинку. И выпало как раз на Марусю.

Фаинка обрадовалась, а Киюшка виду не подала.

— Иди, Маня, иди, не бойся! Дома не скажем...

Легко сказать "иди"! Никогда в жизни в чужих людях Маруся не попрошайничала, не христарадничала и большая Марусина родня... Даже на погорелое место не ходили просить, когда лет сорок назад случился пожар. А тут...

Пришлось Марусе идти.

Деревня была невдалеке от дороги. Фаинка и Киюшка остались во ржи. Спрятались, затаились.

Маруся оставила поклажу с ними, пересилила себя и пошла. Тропа, обросшая подорожником и мать-и-мачехой, вывела ее к первым амбарам. Куда идти? В какие ворота? "Господи, подсоби... Господи, прости, спаси и помилуй, стыд-то какой..."

Она не осмелилась заходить в ближний обшитой и крашеный дом, она ступила к воротцам старых с обросшим взъездом хором. Ворота были открыты... Ноги едва не подкосились, когда Маруся поднялась в сени и взялась за скобу. Ступила за порог, остановилась у двери, молча перекрестилась. Щеки горели, как в кипятке. За столом, под святыми, сидела семья, то ли чай пили, то ли была паужна. Человек шесть, с мужиками. Девка и молодой парень с любопытством глядели. Кошка подошла, потерлась о Марусину ногу. Хотелось Марусе убежать либо хоть провалиться от стыда в землю, но тут хозяйка догадалась, кто пришел и что надо делать. Она отрезала от каравая большой урезок, посолила и позвала светлоголовую девчушку, которая играла на лавке в кумушки:

— Катюшка, бери-ко да подай милостинку.

Девочка взяла хлеб и несмело подошла к Марусе, издали протягивая ручонку с куском...

— Чево, девушка, ты пройди да присядь! — сказал мужик, бритый, но с усами. — Вроде ты не похожа на нищую-то...

— Да тибе-то, Михайло, што? — заругалась хозяйка. — Похожа ли, не похожа... Просят, дак надо дать... Ну-ко вон отщипни ей сахарку.

Маруся даже не помнила, как оказалась на улице. "Сказала ли хоть спасибо-то? Вроде сказала..." Лихорадка трясла Марусю. Нет, хватит одного куска, больше она не зайдет ни в один дом.

Маруся вернулась в рожь... Кусок хлеба Киюшка разделила на три части, но Маруся не хотела жевать. Сидела во ржи, глотала слезы.

Фаинка с Киюшкой в одну минуту ополовинили милостыню. Они вышли из ржи и попили из дождевой лужи.

— Пойдем, Маня, пойдем. Не плачь...

Поле оказалось широким, дорога до следующей деревни очень долгой. В той дороге очередь просить милостыню была Фаинкина, и Фаинка не постыдилась зайти в два или три дома.

В третьей деревне просить пошла сама Киюшка.

Фаинка с Марусей подождали ее за околицей... Она прибежала как нахлестанная:

— Девушки, матушки, гли-ко, чево мне дали-то! И хлеб, и пирог, да еще и пареница... Весь чугунок высыпали!

Она развернула передник, в нем красовалась целая куча пареной брюквы...

Похохотали за торопливой едой, да надо было идти. Солнце опять клонилось к лесу. День снова заканчивался, но силы в ногах как будто прибыло, и надо было идти. В последней перед большим волоком деревне снова призадумались: не остаться ли ночевать? Опять все дело поворотила Киюшка: "Пойдем да пойдем, чево нам в Терехове ночевать? Семь верст не шибко и много. Неуж-то в Ульянинскую к ночи не выйти? А после Ульянинской и до родни-то рукой подать, и всего-то верст десять—двенадцать..."

Забежала Киюшка в крайний дом, не за милостыней, а чтобы расспросить поточней дорогу. Забежала, и дальше, дальше к лесу. Фаинка с Марусей не успевали за нею.

— Вишь, как бежит! — ворчала Фаинка. — Все к своему Колюшке. Маня, чево скажу-то, послушай-ко.

— Чево?

— Да остановись, чево-то на ушко скажу...

Маруся остановилась. Киюшка уходила вперед, не оглядываясь. Фаинка заговорила на ухо шепотком:

— Колюшка-то у ее доцево стыдлив... После-то свадьбы ведь врозь и в баню ходили... Больше нидили жили, а она все в девках. Так и на окопы ушла...

"Ты-то, Фая, откуда все знаешь?" — рассердившись, хотела спросить Маруся. Но не стала грешить, да и Киюшка как раз оглянулась.

Колесная дорога пересекла осек. В поскотине сосновое мелколесье росло по горушкам. Дальше одна за другой пошли сенокосные пожни. Фаинка вдруг взвыла чуть не на весь лес. Подружки остановились, кинулись к ней: "Что да чего, проколола ногу, что ли, сучком? Чево стряслось?"

— А ничево...

— Товды чево ревишь-то?

— Да как... Он... он, сотона... голую видел... Может, снял на картоцьку... В Германию свезет да и будет показывать... У-у-у!

Фаинка остановила свой рев потому, что кто-то заухал в лесу, слева и спереди. Девки в молчании переглянулись. Пошли потише. За полянкой начался густой хвойный лес, дорога пошла под уклон к болоту. Перешли вброд небольшую, но холодную и быструю струю лесного ручья. Вода после грозы еще не скатилась в болото. Снова послышался крик из дали.

— Ухают... Наверно, по ягоды ходят, — догадалась Киюшка.

И правда, когда прошли небольшое болотце и дорога совсем сузилась, человек пять до нитки промокших старух и подростков впритык встретились с девками.

— Здравствуйте! — остановилась Киюшка.

— Здравствуйте... Это вы куды, девушки? — Старушка поставила к ногам корзину с черницей. — Уж не в Ульянинскую ли на ночь глядя?

Девки рассказали, откуда они и куда идут.

— Ой, далеко! — заохали встречные. — Ой, вы бы ночевали сперва, а утром бы и ушли! Ведь вы отемнеете...

— Одна хоть дорога-то? — спросила Киюшка.

— Дорога-то одна, да не больно добра. Будет после тропа. Восемь верст. Больно далеко... Туды уж и на лошадях-то не издят... Да вот за ричку-то переправитесь, там стоит сеновал, после еще одна пожня будет, с избушкой. Ну, а потом-то и отвороток нетутка до самой Ульянинской. Только больно далеко.

— Ну, да до темна-то выйдут, ежели шибко идти! — приободрила женщина помоложе.

— Выйдут, выйдут, девки молоденькие, — поддержала другая. — Только лучше бы, девушки, шли бы с нами в деревню да ночевали.

— Спасибо, пойдем.

— Ну, со Христом, — сказала старуха, поднимая корзину с ягодами. Она несла ягоды через плечо на перевязи. Ягодники скрылись за поворотом лесной дороги, стало совсем тоскливо без них. Солнце едва пробивалось сквозь хмурые ельники. Закричала тревожно последняя вечерняя сойка. Дятел простукивал своим носом сухую лесину. В последний раз послышалось сзади бабье уханье. Через плечо на перевязи несли свою поклажу и наши спутницы. Пусто почти, легка девичья ноша, да ноги за три дня ходьбы совсем остамели.

— Говорят, выйдем засветло, ежели шибко пойдем! — сама себя подбодряла Фаинка.

И они пошли было “шибко”. И, может быть, прошли бы засветло этот длинный волок, если б не набросились на черницу... Хотя придорожные ягодные горушки давно были обобраны, осбираны бабами и оклеваны глухими тетерами, все равно ягоды еще попадались. Девки жадно брусили, горстями кидали в рот сочные ягоды, жалели, что собранные куски хлеба съели еще в поле, без ягод.

— Девки, девки, а дорога-то где? — Фаинка первая поднялась с колен. — И солнышка нету...

Бросились на дорогу, а дороги нет. В другую сторону кинулись — там совсем бурелом и густой малинник. Дорогу, наконец, обнаружили и начали было наверстывать потерянное за ягодами время, хотя ноги совсем не слушались. Дорога была все еще в две колеи, но вскоре следы тележных колес и лошадиных копыт совсем пропали. Уже в сумерках тропа привела к довольно широкой реке. Вода, не больно чистая, поднявшаяся от обильного дневного дождя, неслась перед спутницами и крутила воронки...

— Милые, — охнула Киюшка, — а где лавы-ти?

Все трое обомлели от страха.

Перехода через реку не было. Там, где по рассказам были двойные лавы и куда упиралась лесная дорога, не было никакой переправы...

Кинулись влево, бросились вправо: нет никаких лав! Зажало у всех в груди, защемило на сердце, и слезы были готовы хлынуть у каждой. Но Киюшка прошла немного вниз по течению, увидела за кустами лавы, унесенные грозовой водой. Два стесанных бревна, соединенных на концах двумя поперечными шпонками, прибило к заберегу.

— Господи, чево делать-то нам? — взмолилась Фаинка.

Все трое, совсем ослабленные, притихли на сухом берегу... Вдруг Киюшка начала разувать сапоги:

— Разувайтесь-ко! И сарафаны сымайте. Найдем кол подлиннее... На лавах переплывем заместо плота... Ношу-то и сапоги в сарафаны завяжем... Лямками свяжем да и поплывем, вода теплая, как вароток... Чево ишшо?

Киюшка, как бригадир, прикрикнула на хныкающую Фаинку, побежала в чащу искать какую-нибудь жердинку. Долго искала, нашла, и когда все трое разделись, то связали сапоги, казачки и все остальное в сарафаны. Остались в одних рубахах. Киюшка не дала и опомниться, заголилась да и ступила в воду. Она подтащила лавы поближе:

— Маня, садись ты первая, да на середину садитесь-то, чтобы не огнело! Мой-то уколочей тоже держи, Фаинушка! А я толкать буду...

Дрожа и ойкая, Фаинка с Марусей уселись верхом на лавы. Киюшка тоже оседлала бревна и начала отталкиваться от вязкого берега. Их понесло по течению... Киюшка ткнула колом в воду, но колышек не достал до дна, и она повалилась, едва успев уцепиться за бревна. Фаинка с Марусей тоже потеряли равновесие, завизжали и опрокинулись. Обе, однако ж, не выпустили из рук узлы, верещали от страха на весь лес, а река уносила их неведомо куда.

— Девки, держитесь за лавы-то, держитесь за лавы... — кричала Киюшка, а сама вся дрожала. — Господи Иисусе Христе, Господи...

Она бросила свой коротенький бесполезный кол, обняла бревна руками... и вдруг ноги коснулись твердого дна:

— Девки, девки, не бойтесь, тут мелко...

Не веря своим ногам, встали, остановили плот и выпустили из рук злополучные лавы. Вместе с узлами кое-как выскочили на другой берег. На сухом месте они в жгуты крутили одежду, выжимая воду. И тут начало их снова трясти от пережитого страха. Или от холода? Но пока искали дорогу, Фаинка подвывала теперь не столько от страха, сколько от обиды, что замочила атласовку. Все было насквозь мокро.

Ни спичек, ни хлеба, ни человечьего голоса. Со всех сторон один лес да холодная темень ночная...

* * *

Как в лесных сумерках удалось им выйти на пустой сеновал? Как провели холодную, почти августовскую ночь, как на следующий день прошли они, голодные, обессиленные, бесконечный лесной волок, известно одному Господу Богу...

Рассказывали потом, что последние две версты ползли на коленках. В деревне, когда узнали, кто они и откуда, их обогрели, накормили и отпоили горячим чаем. Ночевали, а на другой день нашелся добрый человек — конный попутчик. Подсобил добраться до той деревни, где жила Марусина и Киюшкина родня.

У тех божаток совсем уж и пришли в чувство. Отдохнули как следует. И хотя ноги саднило от мозольных прорвавшихся пузырей, за полдня добрались до родимой волости.

Добрались они до нее с другого конца. Волость повернулась к ним как бы другим боком. Фаинке с Марусей надо было сворачивать к своим деревням, и на Росстани они распрощались с Киюшкой. Звали ее погостить, но Киюшка и ухом не повела: торопилась домой.

Словно чуяло сердце.

От сельсовета в другую сторону, то есть в район, на станцию как раз только что отправлялись три подводы с очередными призывниками. Пела гармошка. Ревели в голос матери, сестры и суженые. У Росстани Киюшка различила среди других и своего Колюшку. Он выбежал к ней из толпы, схватил в охапку, такую неприглядную по одежке, лохматую и похудевшую:

— Прощай, Киюшка, прощай, голубушка. Не свить нам с тобой гнезда. Знаю, что не ворочусь я домой... Убьют меня, чувствую я, что убьют...

И сам заплакал. Киюшка хотела крикнуть: “Чево говоришь не дело?”, но сердце сжалось, ноги у нее подкосились. Колюшка сильно сжал ее за плечи. Успела только своим платком вытереть ему слезы, и он побежал догонять рекрутскую партию.

* * *

— А и было-то нам по воснадцеть годков, — вздохнула Марья. Киюшка добавила:

— Фаинке-то, поди-ко, и воснадцети не было, она ведь моложе нас-то с тобой. Пока на окопы ходила, стало семнадцеть. Потемнели и ноцьки, покудова шли...

И старухи затихли, вспоминая военную пору.

— Господи, Царица Небесная матушка, — вздохнула Марья. — Цево не пережили... Киюшка, дак ты от мужика-то так и не получивала никакой грамотки?

— Было одно письмо. Из Кущубы вроде. А больше шабаш. Пропал безвестной... Красное солнышко, пошел, дак заплакал. Тольки и успел сказать: “Прости, Киюшка...” До чево стыдливой был, што и в баню ходили врозь. Он ведь так и не тронул меня, грешную...

— Все годы в ихнем дому и жила? — спросила Марья.

— Я и свекровушку схоронила честь по чести. И золовушка меня век не обиживала.

Помолчала. Добавила:

— Так и осталась я в девках, на всю жизнь...

У Коча на сей счет имелось теперь, конечно, свое особое мнение, но Коча рядом не оказалось. Он не слышал, что говорилось тут без его ведома.

1994 г.

БОРИС СИРОТИН

НА СКВОЗНЯКАХ ВЕСНЫ

* * *

Я люблю тебя, русский народ,
Я люблю — значит ты существуешь.
М. Пришвин

Я кланяюсь ковылю в степи, а в саду — рябине,
Я русский народ люблю... И слышу: “Да где он ныне?!”

“Какой же это народ: отеческий дом разрушен,
А он без просыпу пьет и к гибели равнодушен?!”

А я всё стихи леплю, мой дух не над прахом плачет —
Ведь если кого люблю, то он существует, значит!

И говорю не нулю, на всю на одну шестую:
— Я русский народ люблю, а стало быть, существую!

ПРОХОРОВКА, ТАНКОВОЕ ПОЛЕ

Низкое небо, просторное поле,
“Тридцатьчетверка” на вечном приколе,
И воспаленные грозди рябин,
И схороненные кости машин.

Но от обильных, напористых гроз
Хобот немецкого танка пророс.
Вот уж воистину псовая сыть —
Плугом не взять и косой не скосить.
Рядом проклюнулась в поле пустом
Башня разбитая с черным крестом.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в степной оренбургской деревне. Автор многих книг стихотворений. Член Союза писателей России. Живет в Самаре.

Вот уж крестьянам дела к посевной —
Плугом не взять, не стащить бороной.

Длится и длится у памяти в безднах
Дымная схватка чудовищ железных.
В памяти длится, а в жизни давно
Все позабыто и все прощено...
Вот и, воспрянув от длительных гроз,
Хобот железный из пашни пророс.
Вот и взошел из возделанной пашни
Гриб ядовитый надтреснутой башни.

А по ночам под лучами луны
Дымно шатается призрак войны —
Сердце двойное, стальные копыта,
Ею, войною, ничто не забыто.

* * *

Мерцают снежинки у глаз — волшебство,
Вспухают сугробы — отрада.
Тропинка, и рядом со мной — никого;
Да мне никого и не надо.

Лишь только деревья в холодном огне,
В серебряном блеске светила,
Само же оно меж ветвей в вышине
Туманно сквозь снег проступило.

...Здесь веры негаснущей слышится звук
В снегу, что ложится на плечи,
Как будто дороги невзгод и разлук
Ведут только к радостной встрече.

И важно ли нам, что зима холодна,
А наши жилища убоги?..
Покой, очарованность, сон, белизна,
Под снегом все наши дороги...

* * *

Пребываю в нищенстве духа
И порою взываю глухо
К зимним сумрачным небесам —
Для чего, я не знаю сам.
Для чего я делаю это,
Коли даже не жду ответа?
Ведь мелькнувший сквозь тучи свет —
Не послание, не ответ.

...Душу мне, как парус, наполни,
О призванье моем напомни,
Вечно мне стоять накажи
Здесь, где сходятся рубежи,
Здесь, где грани Земли и Неба
Разбегаются, дай мне хлеба,
Без любви меня не оставь,
Свет сокрытый Свой в сердце вплавь!

Вразуми на старости лет
И в молчанье слышать ответ!

* * *

Продается Дом творчества — новым
Богатеям — как есть, на корню.
Над своим затуманенным словом
Здесь в последний разок прикорну.

Лжи красивой и позы спесивой
Много знал этот дом, но и все ж
Здесь случались такие порывы,
Что смущалась и наглая ложь.

Средь столичной возни и мороки,
Средь мужей в золоченых очках
Здесь не раз возникали пророки
В захолустных своих пиджачках.

И весь Дом от подвала до крыши
Бредит словом, стучащим в виски...
Разорятся небось нувориши,
Здесь спиваясь от странной тоски.

Ну а я вот на всем на готовом,
У февральской метели в плену
Над своим затуманенным словом
Здесь в последний разок прикорну.

* * *

Промаслились снега от солца золотого,
Что блещет между крон, бушуя и слепя,
И верба в почках зуд почувствовала снова,
И обретает лес забытого себя.
Дрожь памяти прошла по молодым осинам,
Пора срывать весны сургучную печать,
И смазывать блины большим пером гусиным,
И в рот их отправлять, и предков величать.
И предков величать, и неизбежно снова
Почувствовать, что в нас едины дух и плоть,
И чуять вкус и цвет, и спелый запах Слова,
Которым и творит Вселенную Господь.
А коли это так, то и надежда, значит,
Покуда есть у нас — хаóс преодолеть,
И неспроста вдали надеется и плачет,
И к радости зовет взволнованная медь.

* * *

Как мне хочется, чтоб повторялось
Все, что так наполняло в былом:
И восходов с закатами алость,
И снега с их волшебным крылом,
И дожди... Повторяется строго
Все: лучом разгоняется мрак,
Как всегда; но на сердце тревога,
что не т а к повторилось, не т а к!

— Но ведь в этом и прелесть движенья!
— Да, конечно, но я не о том.
Мне в грядущем грозит пораженье,
Весь я в прошлом, в родном, в прожитом.
Поддавался я лести и блуду,
Но и светлые силы копил.
Буду в будущем я иль не буду,
Но в былом я воистину был.

И нужна-то мне малая малость:
Чтоб, как эхо, и ныне, и впредь
Власть былого во мне повторялась,
Дабы в завтра без страха смотреть...

— Восстаешь ты на замысел Бога:
Вновь лучом разгоняется мрак,
В мире все повторяется строго,
Но не так, как вчера, нет, не так.

* * *

Зеленоватая кора пирамидальных тополей,
Весна, пустынность, и пора бродить на сквозняке аллей.
И снова думать о любви в свои немалые года,
Не холод чувствовать в крови, а острый голод — как всегда.
И в каждой женщине весны желанье видеть — и опять
Свои мальчишеские сны в сто первый раз переживать...
Что изменилось, милый друг? Не бойся, в зеркало взгляни:
Перо не валится из рук, все те же ночи, те же дни.
Чуть больше стало седины — так это, право, ерунда,
Коль вышел на сквозняк весны в свои немалые года!
Коль гладишь нежную кору и напряженно смотришь ты,
Как бьется шарфик на ветру у той, что встала у воды.
Как бьются волны, на песок ползут, покачивают лед,
Как бьется сердце и в висок стучит, и утоленья ждет...

ТЕНЬ БАХТИНА

"Бахтин устарел!" — это юноша с длинной прической
Утверждает и скалится в белозубой улыбке, —
"Вы все устарели и мыслите скучно и плоско,
Под вами не почва, а грунт, он осклизлый и зыбкий.
Все истины ваши на этом колеблются грунте,
Попробуйте, их новой меркой измерьте,
А то вместе с нами на старые истины плюньте,
Засмейтесь над пошлостью жизни, ничтожеством смерти!"

Вот так говорил он, а я вдруг увидел седого
С костылем старика, неприметно стоял он в сторонке
От толп молодежи, от этого братства-содома,
По кругу вдыхавшего дым ядовитый и тонкий.
Я понял, что это Бахтин, рядом с ним я когда-то в Саранске
Чирикать в стихах начинал, но о нем и не ведал,
А он, на костыль опершись, студентам рассказывал сказки,
Что жизнь — карнавал; это числилось старческим бредом.

Саранск был уездным и пыльным, но он величался столицей,
И мы, стихотворцы, "по-столичному" жизнь прожигали,
Кричали стихами, торопились в складчину напиться,
И мимо того старика, гогоча, прошагали.

И вот его тень четверть века спустя... нет, больше...
Как время бежит — не успеешь покаяться другу,
Супруге признаться в любви... Но воистину, Боже,
Жизнь движется только по кругу, широкому кругу.

Пусть юноша этот блистательней и ядовитей,
Но мучим он той же старинной российской виною,
Но им управляют все те же незримые нити,
И тень Бахтина он недаром почуял спиною.
И есть на Руси неприметная, в общем, могила,
Но к этой могиле паломников ходит немало.
Помянем же, братья, сообща мудреца Михаила,
Он только сказал нам, он не был творцом Карнавала.

* * *

И старый кактус на окне,
И статуэтки на комоде, —
Всё, всё напоминает мне
О том, что время на исходе.
Но и река в просторном сне,
Луч пробужденья на паласе, —
Всё, всё напоминает мне,
Что время есть еще в запасе.

И эта первая метель,
И это низкое светило,
В окно глядящее сквозь ель,
И свежая моя постель,
И свежие снега — не мне ль
Твердят, что сердце не остыло!

Так движется моя судьба,
Так, ни на миг не утихая,
Во времени идет борьба
Невидимая и глухая.
Невидимая — за горой
Забот, что весь мой день съедают.
Лишь за окном метель порой
Взрывается и оседает.

* * *

— Не рыдайте над темною бездной,
Я принес вам хорошую весть:
Между Русью земной и Небесной
Искони мост спасительный есть!..

Пел у церкви, из ветхой одежды
Простиралась, дрожала рука,
Неопрятен был вид старика,
Но в душе почему-то надежды
Родилась и окрепла строка...

ЛЕОНИД КОРНЮШИН

БЕЗ ОГНЯ

ПОВЕСТЬ

I

Мокрую гнилую вьюгу понесло вскорости после Покрова, и все затуманилось... Неба давно уже не видели, — висела прокислая туманная парниковая мгла. Всю осень Евдокия из Мытного угора таскала хворост: будь она неладна, эта хата, — сколь не суй в ненасытную утробу русской печи, а тепла все нет и нет. Евдокия на дню туда и обратно сморгала в глубоких резиновых калошах раз по пяти — какую валежину тащила на хребту, какую, порубив, везла на тачке. "Давно живу, бессовестная, зажилася, помирать надо", — все чаще думала, припоминая молодость, мужика Павла, помершего около десяти лет назад. "Да, — размышляла еще Евдокия, — дал бы мне Господь так-то скоро прибраться". Мужик Павел топил баню, а когда она пришла спросить, скоро ли, — уже преставился, сидел, скрюченный, в примылке. "На мне, знать, грех за Проску. Паша-то, прости его, Господи, на том свете, повязал меня с грехом". Павел, ушаковский парень, гулял с Прасковьей, своей деревенской, бабенкой доступной, любившей игру в жмурки. Когда он явился в красной косоворотке, с золотым чубом, с гармонью, сватать ее, Евдокию, про ту самую Проску она ничего не знала. Даже слыхом не слыхала, про нее на деревне стали чесать язык лишь после свадьбы. Павел высказался так: "Никакой моей вины нету, сама на шею, дурища, вешалась, а обязательств я ей, гулящей, никаких натурально не давал, это она плетет липу, а тебя, Дуня, по гроб не брошу и всячески буду беречь". Не покривил Паша словом — разве ж могла за что держать она на него обиду? Мужик ей попался —

КОРНЮШИН Леонид Георгиевич родился в 1931 году в деревне Вязьмичи, что на Смоленщине. Окончил сценарно-постановочный факультет ВГИКа. Работал спецкором центральных газет и журналов. Автор дилогий "Бессмертник" — "Отчая земля", "Прозрение и надежды", романа "Демьяновские жители", исторического романа "В годину смут", книг повестей и рассказов "Полынь", "Запах утренней росы" и других. Член Союза писателей. Живет в Москве.

что надо! Правда, Павел бывал крут, характер показывал, иной раз цыкал: "Ты — баба со всеми вытекающими". Но то бывали лишь короткие столкновения, — через минуту уже Павел становился добряком, отбирал у нее ведра с водой, не позволял колоть дрова, носил на пральню таз с бельишком, случалось, полоскал и сам, при этом горланя какую-нибудь героическую песню. Поискать было в округе такого отменного кузнеца. "Золотые руки у мово Паши!" — говорила Евдокия с гордостью. Что Паша не свят — это она знала. И разделяла его суждение: "Но ежели сказать во всей конкретности, то я, может, почестней иных горластых". Руководящие Павла не любили, и сколько бы он ни бил молотом, ни коптился в кузне — а там он оттюрил четверть века! — на доску почета его так ни разу и не выставили. Менялись директора совхоза, для них кузнец Матвейкин Павел Сидорович, по его же собственному выражению, "персона нон грата, потому как я им, чинодралам, стою всей конкретности поперек глотки!" Завхоз Хрящ — тот клял Матвейкина возле каждого забора; Хряща Павел чуть не посадил в тюряху за воровство, но известно — бесы бесенка укатать не дадут, и вышло так, что едва не укатали самого Павла, — следователь грозился за поклеп "на честного, с гражданской совестью администратора дать годика три". Евдокия не жаловалась на характер мужика, говорила всем: "Дай Бог каждой бабе такого-то сокола! Как же ему дале жить — с двумя-то ранами? До Берлину мой Паша на пузе прополз". Кузнечил-коптился ее Паша, мильен потов посогнал, а накузнечил — одни выходные штаны и две рубахи на пересменку. Но Боже упаси, Евдокия не упрекала его за бедность, потому что считала: не в достатке был корень жизни.

...А деревня заказала жить. Обрастал чертополохом, бурьянами, крапивой, лозняками проселок. Обросла, сделавшись непролазной для подхода, пральня, — уж года три Евдокия полоскала теперь бельишко в ржавом болотце, в крохотном ставке, тоже в лозинах, в осокоре. Теперь на месте подворий стояли лишь величаво-осиротелые, уже задичавшие сады. Как лепетал с глухим ропотом на них нынешней осенью рудой лист! Евдокия будто впервые увидела буйную силу задичания, и в то же время не сломимую ни бурями, ни временем силу жизни, — сады вздымали к небу свои багряные шатры, презирая выпавшую на их долю горькую судьбу. Осенью, когда яблоки унизывали деревья, на брошенные сады оголтелыми толпами набрасывались люди, и из ближних совхозов, и городские, драли, выламывали сучья, набивали машины и мотоциклы, рюкзаки и мешки кислыми и крепкими, как камень, зелеными плодами. На такие набеги на даровое Евдокия глядела, как на саранчу, безжалостно истребляющую все на корню. Не раз, ухватив суковатую палку, она выбегала в бывший проулок, угрожающе размахивая ею, кричала разгневанно:

— Дорвались, оглоеды, до чужого!

Старик же Егор Егорыч Филиппенков, живший посередине деревни, зайдя как-то прошлой осенью к Евдокии, пожурил ее:

— Сто ты выходишь из себе? Снявши голову, известно, по волосам не пласють.

— "Не пласють", — передразнила его Евдокия. — И ты такой же, видать, бусурман. Ничего-то вам, дуракам, не жалко!

— Как не жалко? — кряхтел Егор Егорыч. — Глаза б не глядели. Да сто уж тут? — И выдыхал, как бы придавливая Евдокию тяжелой брусчаткой слов: — Консилась наса деревенька! Как бы весной нас не прогнал химзавод.

— Пущай сунутся! А вилы в бок не хотели? — кричала ему в самое ухо Евдокия; грозилась, сама, должно быть, веря в то, что произносила. — Погоди, поеду куды следуеть, дойду до вышестоящих. Какое оне имеют право пущать на раззор деревню? А кто державу будеть кормить? Насобачились на городские-то блага. Шутка ль: кидать свою землю на произвол судьбы! Мы што, ай иностранцы? Дубари несчастные! — клеймила она начальников. — Это они деревню нашу в своих теплых кабинетах просидели!

Директор совхоза Кожухов, человек дебело-крепкий, с бордовым от частого употребления лицом, услыхав как-то такую речь, стал стыдить Евдокию:

— А еще висела, понимаешь, на доске почета! Лучшая, можно сказать, доярка. При чем здесь, собственно говоря, начальники? Тут — объективный фактор времени. Создадим фермерские хутора, акционерные товарищества. Что жалеть ваши четыре халупы? Собственно говоря, анахронизм. Химия, старуха, — всему голова!

— Сам ты нахоронизм тот! "Хвактор времени". Оставил деревушки без

дорог, без колодцев, за три версты на горбу сумки с хлебом таскаем — хорош хвактор!

В такую пору, когда несло хлябь, покинула родную Лопуховку Устинья Громова, четвертая жительница, — уезжала она к сыну в рабочий поселок Верхнеднепровский. Евдокия в поселке была всего раза три, это неумное скопище людей, обслуживавших заводы — химический, котельный и ТЭЦ, — всегда угнетало ее своей беспутной жизнью. Поселок кишел людом, оторванным от родной почвы, и сколько Евдокия ни всматривалась в лица, даже тех, кто жил бок о бок, своих деревенских, она не могла отыскать в них черты душевности. Так их отшлифовала людская уродующая толкучка. Сказать по правде, Евдокия не верила, что бросит Громова насиженный угол, когда та заводила разговор о своем отъезде.

— Не жалко — бросать двор? — заругалась на нее Евдокия, еще более радраженная видом и равнодушием сынка Устиньи.

— Тебе жалко эту рухлядь — так и сиди, патриотка, — ощерился Сергей, с полным равнодушием хряснув об камень стенные ходики.

— Басурман! Дурак набитый! Нахлебник! — пришла в неистовство Евдокия.

Глаза ее не могли видеть этакого безобразия — и она засморгала калошами прочь с ихнего разоряющегося двора, бормоча под нос: “Скоро с голоду, саранча, поиздохните!” Спустя немного в ее хату вошла Устинья — как виноватая, но без чувства сожаления, — это Евдокия сразу определила; она как-то хорохорилась, подергивала плечами, точно ей была мала старая плисовая курта. Глядя в бок, боясь встречаться с исступленным взором Евдокии, заговорила бойко, по-сорочьему бесстрастно, точно речь шла не о коренном, житейском деле, а о чем-то пустячном и легком:

— И што жалеть-то тута? Правду Сергей говорить, што по деревне горюють одни дураки. Умные бегуть в города.

Евдокия, не могшая спокойно слушать такую дубовую речь, стала стыдить ее:

— Страмница! Ты чьими словами пуляешься? Как ты могешь так говорить об своей колыбели?

Вечером Устинья вошла в хату Евдокии уже с жалким, несчастным видом; сели напоследок в потемках пить чай, но речь не вязалась, у Устиньи подрагивали руки, точно воровала кур. Она говорила:

— Нешто ж не жалко бросать насиженный угол? Да жисти-то нету. Какая энто жись? Лопуховка-то наша, вона, кончилася!

И сама Евдокия понимала, что “кончилася”. И как скоро, скажи, разорилась деревня! Еще годков десять назад стояло двенадцать дворов, а ныне, как Устинья уедет, — останется три. “Да и какие мы жильцы? Степан Лошаков, Егор да я — нешто мы долгожители?” Такие думы заставляли Евдокию страдать, — и сама в себе не чаяла подобной скорби по гибнущей деревне. Было больно!

Сидя в этот прощальный вечер у нее в хате, Устинья жаловалась на сноху:

— Как я с нею, с самолюбивой, уживуся? Ить она меня живьем заест!

— Зачем же в таком разе едешь к ним? — вцепилась в нее Евдокия. — Знаешь присказку: в родном углу и камень греет.

— Так-то оно так... А все же теплый-то нужник лучше, чем бегать по морозу на двор.

— Во-во, тоже, видать, гулена, туды ж нацелилась! Сотки-то не жалко кидать? А яблони, груши, крыжовник?

— А толку што? Все одно химия задушить.

— Ишо рак на горе пущай свиснеть, — сопротивлялась Евдокия.

— Дуня, Дуня, рази в нашей воле? — Устинья помолчала. — Забирай мой комхоз: ведра, кадушки, сундук, ухваты. Нешто ж везти мне их в городскую квартиру?

— “Забирай”! У меня свово добра полон двор.

— Усё, родные, я решилася. Разбегайтеся хто куды и вы. Перспективы нету: была лошадка, ан, глянь, издохла.

— Какая табе ишо пырспектива, фу, язык за небо чипляется, придумали ж слово? Земля — вона твоя забота. Нету у тебе ничого, окромя ей, бо без земли — сироты мы тутка на белом свете.

Но ее речь Устинью не шибко проняла, спокойненько ответила:

— По нонешним понятиям, Дуня, земля грязная.

Егор Егорыч тоже усмехнулся подковыристо:

— Землею, кума, нынче хрен каво напужаешь.

— Ишь, как заговорили, лихоманка вас возьми! Иностранцы, ну прямь чистые хранцузы. Ах вы, дурные! Да какой же ты человек без свово клока? Блоха на морозе. Чистая блоха. Ты выйди-ка весною в огород! Как она, землица, пахнеть! А как усе поспееть, в августе, благодать-то какая! Што дороже-то есть? Один Бог, Вседержитель и Спаситель! Какие тувалеты с энтим-то сравнить? Да хто вы без земли? Нахлебники — вот хто. Землю позабыли, Бога забыли, — куды ж мы по такой-то лучезарной дороге придем? Да уж, считай, и пришли? Дале-то куды идти? В какую даль, ежели в той дали одна подлая смута. Как жить нам без родных песен, с вынутой и распятой душою? Как жить?!

— День-то нонешний вона другой, — не шибко уверенно возразила Устинья. — Другой, вишь, народ становится. Переродился. Такими речами, Дуня, яво уж не купишь. Ён, видали, куды устремленный! Жись-то гудёть.

— Как бы усем не загудеть. "Другой народ"! — передразнила ее Евдокия. — Как ён могёт быть другим, када из энтого корня вышел? Туды ж, старая квакуха, нацелилася!

Разве она одна так думала? Такие речи вели все уехавшие, и хоть объяснял каждый по-своему, но сводилось-то к одному смыслу: на русской деревне, мол, сама жизнь поставила крест. Хоть бейся головой об стену, — изменить-то уже ничего невозможно, деревня, как неизлечимый больной, приговоренная. Иной раз Евдокии хотелось кричать на людях, чтоб проняло: да кто, собственно говоря, приговор-то этот ей вынес?!

Чаепитье шло не в душевном русле, — рассталась Евдокия с Устиньей в тяжелом, скорбном молчанье. А когда машина, на другое утро, разбрызгивая фонтаны грязи, стала выруливать со двора, Евдокия не удержалась, кинулась следом, крикнула во всю мочь:

— Вернись, не то пожалеешь!

Билось, гремело бесстрастно сзади машины ведро, а посередине двора валялись в грязи самопрялка, ступа, серп, и что самое удивительное — не возмутились ни Степан, ни Егор Егорыч. Последний сосал трубку, такую же старую и почернелую, как и сам, с полным спокойствием говорил:

— Теперя, видать, очередь за нами.

— Беги. Я ж со двора не стронусь, — отрубила Евдокия. Степан, согнувшись, молчал.

II

После короткого морозца подул опять южак, дело повернуло на оттепель, вываливший было снег согнало мглистыми туманами; на деревьях еще вовсю зеленел лист, много золотилось и червленого, а такая примета, по мнению мудрых старцев, указывала на худой год.

— Быть нонче многим смертям, уж тут-ка ни дать ни взять, — говорил Егор Егорыч, поражаясь обилию листьев что на яблонях, что на березах.

— Смертный год, все указываеть, — подтвердила и Евдокия, слыхавшая это поверье еще от деда. — В тридцать третьем да в сорок первом тоже пропасть листьев было на деревах аж до середки зимы.

А еще летом вдруг почернели и стали сохнуть листья ракит, и стояли эти деревья темными, пугающими метлами, будто прося пощады у неба, — у людей-то им пощады не выпросить, ибо почернели они от химической отравы, когда дул ветер со стороны завода.

Как потеплело, Евдокия с Егором Егоровичем выбрались на базар в райцентр Гурьевск — поехали за поросятами. Базар давно уж был низведен — это они знали, но поросят все же рано утром рассчитывали добыть.

Славилась их Лопуховка красавцами-петухами, как на подбор, — пестро-радужными, с налитым гребнями, с мускулистыми ногами и статными, прямо генеральскими подгрудками. И басовиты были петухи. В такую пору, когда Евдокия поднялась, бывало, по деревне из конца в конец разносился бодрящий крик первых петухов. Но теперь таилась угрюмая, первобытная тишина. "Ах ты, трус несчастный! — обругала Евдокия своего петуха. — Ах ты, пострел, ах ты, лентяй! Ах ты, варвар! — Но она тут же набросилась и на себя: — Огонь не зажигаю, мне страшно. А ему нешто не страшно? Ты уж меня, Кирюха, прости, дуру старую!" Евдокия прислушалась. У Егорова и Степанова тоже молчали.

Ближняя автобусная остановка в Чамове, в двух верстах. С неба сыпалась

мокрять, дорога взбухла непролазной грязищей, иной раз Евдокии приходилось ухватываться то за левый, то за правый резиновый сапог, вытаскивая ноги; людей — никого, лишь перед самым приходом автобуса явился какой-то старик — молчаливый и безликий, будто без лица, в лохматой шапке и в галифе, отчего выглядел смешным и вздорным. Долго тряслись до города; по дороге народу набилось — негде ткнуть пальцем. Дребезжала дверь, задувало в щели, выл на выбоинах мотор. Женщина жаловалась на сына: "Ишь, нажрал морду!"

В Гурьевск приехали еще в потемках; городок выглядел безлюдным, будто вымершим. Тянулись кривые заборы, набитые дровами сараи, торчали яблони на огородах. Где-то лютым голосом сотрясал тишину собачий брех. Над городком стоял в серебряном ореоле месяц. Не мешкая, оскальзываясь в выбоинах тротуара, Евдокия и Егор Егорыч заспешили на базар. Некогда место это, вытянутое вдоль Днепра, цвело великим и пестрым многолюдством. Сердце Евдокии захолонуло, когда они с Егором Егорычем прошлепали по лужам в перекосившуюся арку, — над нею, словно в насмешку, трепалось на ветру ободранное, выцветшее полотнище с выгоревшими, в дождевых подтеках буквами: "Будь счастлив, человек!" Во мгле сумерек, в глубине бывшей базарной площади, слышались озлобленные голоса, — всех перекрывал пронзительно-трескучий бабий: "Уйди, зараза, а то получишь по мусалам! Поросенок мой". — "Как же твой! Самой падле глотку перерву. Убери лапы!" — "Чиво-о?! Я те уберу!" Крики были заглушены пронзительным поросячим визгом. Пока Евдокия и Егор Егорыч греблись к людскому скопищу, окружившему одну подводу, торг завершился, и какой-то облезлого вида мужичонка тенором крикнул:

— Торговля кончена, разойтитеся.

Базарная площадь опустела, на ней осталась одна живая душа — старая хромая бездомная сука с висячими клочьями шерсти на боках, да тонко скулил, безучастный к ее собачьей жизни, холодный ветер. Сука думала о тепле и костях с остатками мяса, которые находила в мусорных ящиках, и еще о том, что люди более несчастны в своей жизни, чем она в своей, в собачьей. Сука было поковыляла за лопуховцами, потому что Евдокия бросила ей кусок вкусного пирога, но затем отстала, села сбоку грязной улицы, задрала морду и стала выть — от чувства презрения ко всему белому свету и к людям.

Егор Егорыч и Евдокия изрядно-таки намерзлись, ожидая начала дня: им некуда было деться. Первый автобус в сторону их Лопуховки отходил лишь в десять утра.

Промерзнув до девяти часов около Дома советов, Егор Егорыч, поглядев на окна, произнес:

— Пойдем-ка, кума, воевать за нашу Лопуховку. Мы им докажем! А заодно и посогреемся — ишо нам долго торчать.

— Хто нас станет слухать?

Егор Егорыч поднял кверху указательный обкуренный палец:

— Нонече демократия.

— А эт чо тако?

— Сила, стало быть, в нас. В газетах вона пишуть.

Стеснительно прошлепав по яркой ковровой дорожке на третий этаж, они робко вошли в приемную главы администрации. Не первой молодости девица-секретарь, сильно напарфюмеренная (Евдокия про себя подумала: "Должно, и задницу красить?"), с холодным высокомерием обежав взглядом явившихся, сухо спросила:

— Вы откуда? У Петра Анисимовича есть приемный день. К нему нельзя.

— Э, милая, покуда мы дождемся — на горе́ сто разов рак свиснеть.

— Назад! — властно и гневно произнесла секретарша, заметив решительное движение Егора Егорыча, шагнувшего к двери кабинета.

— Сто вы, собственно говоря, командуете? У нас к товарищу Горобцу дело, — встопорщился Егор Егорыч. — Иде ваша демократия? Похерили!

— Назад, говорю, какая наглость! Гражданин, не хулиганьте, в милицию отправлю.

— Откормилась, шкура?

Девица затряслась от злобы:

— Вон отсюда!

Евдокия едва поспешала за стариком, от страха у нее тряслись даже коленки, не помнила, как выскочила на улицу. Егор Егорыч грозился:

— Погоди, ишо доберемся!

— Пошто мы туды полезли?

— Это вы, бабы, — стадо овец. А мы, брат, докажем!

Но спустя три часа, добравшись до своей Лопуховки, Егор Егорыч высмеял самого себя в наивности:

— Докажи... Лоб-то скорей треснеть.

— Как есь, так и есь.

III

...Стояло непутевое предзимье, короткая оттепель сменилась какой-то парной неприютностью. Евдокия, управившись со скотом, топила "буржуйку". Степан сидел, придвинувшись вплотную к печке.

— До такого разору! Шутка ль — огня вздуть боимся! Без огня сидим, — высказал то же, что и Евдокия. — Я, брат, туды дойду! — Он тыкал в потолок кривым обкуренным пальцем, как бы в высочайший государственный верх, и в такой его воинственности хоть и проглядывала гневная сила, но была она все же петушиная, детям лишь в утешение.

Евдокия, вздыхая, потчевала:

— Пейте-ка, мужики, лучше чай.

— Как яво, спрашивается, пить впотьмах? — кипел и вошедший Егор Егорыч. — Чего боишься, дура старая? Нас-то трое. Зажигай свет!

— Трое, — передразнила его Евдокия. — Вы такие же защитники, как и я. Да и покель доклюкаете до моей хаты.

Степан стал высмеивать ее:

— Да кому ты, спрашивается, нужна? Резиновые цапоги, что ль, твои рваные красть придуть?

Евдокия рассказывала:

— Позалетось натерпелась страху, када влезли ночью браконьеры. А коли б не зажигала, то не влезли б. Вы, мужики, как хочете, а я не буду палить. А рази ж я бедная? Рази ж не позарятся на мое-то имущество? Ого, скажете, бедная! Ничаго себе бедная. Скоко добра всякого! Возьми хошо ступу. Паша изделал, царство ему небесное, — вона картинка! А ларцы, а два материных сундука, а три сарахвана.

— "Имушшество!" Сжець все к серту! — рубанул Егор Егорыч. — Анахронизьм.

— Што за словцо собачье? — Степан, живенько выдув чашку, принял из рук Евдокии другую.

— А кляп яво знаеть. Лектор выражался.

— Да им, говорунам, слыхал, хорошую деньгу плотють.

— У мене много добра, не говорите, — продолжала Евдокия, кусая, как крольчиха, по крохотной дольке сахарок. — Утюгов угольных однех три. Да што тама! А два отреза, а коленкор, а полотенец скоко, мамка ишо вышивала. Ого, скажите, бедная!

— Сжець к серту!

— Чем тутка хвастать! Вона ловкие в каком золоте купаютца! — закипятился Степан, пролив чай себе на острую коленку.

— Наша-то Моремуха, Фенька Ягодкина, построила себе в поселке кирпичную домину и такого добра в него понатаскала, что нам во сне не снилося. Вся стерва в шелку, в золоте, известное дело — торгашка. А Базыкин Филипп дом в Гурьевске какой отгрохал! И в дому — что б вы думали? — устроил савану.

— Эт што ж такое? — Евдокия впервые слашала мудреное словцо.

— Баня такая. Вымывает до самых кишок.

— Энти саваны, слыхал, цтуть нацальники, — кивнул Егор Егорыч. — Оне любят в них мыться с девками.

— Ну да, начальники. И ловкачи, жулье, как наш Базыкин, — оне тоже чтуть. Бызнесмэны!

— Филипп, баили, находился под следствием? — вспомнила Евдокия. — Неужто вылез?

— За деньги, чай, не законопатють, — заметил Степан. — За бумажки и с того света выползешь.

— Деньги — сила, — подтвердил Егор Егорыч, — но с того света, однако, не рыпнешься.

— От их одно зло, — сказала Евдокия, — от подлых энтих денег.

— Зло не зло, а када мошна толста, то жись не покажется пуста. Горюють-то нишшие — не богатые.

— У нишшего кусок хлеба — радость, у богатого и мильен — не сладость. Все, мужики, в душе нашей. А какая мастеровшшина была в нашей Лопуховке! Какие кузнецы, што Прошка Зыков, што Матвей Степкин, а про Ивана Гучкова да Степку Торцова и говорить нечава! Када барыни чего требовалось — наших мужиков звала. А краснодеревшшики! Кузьма Котов да Дудкин Егор и Семка Лыков всю барскую мебель своими руками смастерили. А опять же вышивальшицы, украсы наши, узоры-то, узоры!

— Было, старуха, да все к хренам собачьим сплыло, — ощерился Степан: к душе его подступили злость и обида за отца и мать, тоже хороших мастеров, а померли — ни одна собака не помянет.

— Али взять твово, Степан, батьку, да ен што мастерил из глины-то! Перьвейший мастер по гончарности. А мамка-мастерица... тожеть поискать... полотенцы-то ейные.

— А иде память? — опять ощерился Степан. — Кто помнить?

— Россея — это, брат, серт возьми, бездна... — проговорил философски Егор Егорыч. — Скоко сего в ее недрах-то! Ан глядь — сидим без мыла и списек.

— Какие-то злые гады нам жись помутили! — ругнулся Степан, припечатав крепкое выражение. — Псы безродные. У их, слыхал, мильены в иностранных банках.

— Как же им дозволили-то? — удивилась Евдокия, впервые услыхав про иностранные.

— Ловким все дозволено, яны по Парижам да Америкам, как по своему двору, ездють, и тама гады в почете, и у нас, опять же, на Красной доске. Ишо, читал, про одну бабенку, она, стало быть, в академиках ходить, в науку влезла, иудейка, при том спец по земле. И вот энта спец, научная, стало быть, дамочка, толкает науку, што, дескать, такие деревушки, как наша, пирспиктивы не имеють, и по ее зловредным выкладкам, штоб ей сто раз на дню икалось, многие дубари директора совхозов скоко деревень позапахали да разрушили. А она, энта академик-дамочка, слыхал, деревню даже не нюхала, — всю свою, стало быть, научность высосала из газет да из пустых книжек. Сосет государство, деньгу рветь, а толку с дамочки — как с козла молока, — пустая трава. Да царствуеть, в золоте, в молоке купаетца — вона как демократка устроилася. У безродных мильеншшикав, известно, на столе и икорка, и царвелаты — чихали оне на наши крестьянские беды.

— Хрен с ими, один кляп, и с мильенами сдохнуть, — заметил Егор Егорыч, — туды не унесешь.

— В ихних головах идея, а все будеть зависеть от нашей позиции, — заметил Степан. — Костьми ляжем, не сойдем!

— Избави Бог! Как сойти со свово угла? — испугалась Евдокия, открыв сундук. — Говорите мало — вона добра-то скоко! Опять же цапожный струмент. Паша наказывал: береги как зеницу ока.

— Хошь, чтоб в яшшик вместе с тобой яво положили? — поддел ее Егор Егорыч.

— Коли Паша наказал, как я могу явоную волю не соблюсть? Обязана! А свет, мужики, не жгите, подале от греха. Ен-то, огонь, с бугра нашего вона как далеко виден.

Напугала она и Егора Егорыча, — тот лишь изредка включал свет, и длинные вечера, как и Евдокия, сидел в потемках, ругал по-трехэтажному "собачью житуху, штоб ей, заразе, ни дна и ни покрышки!" Степан же не боялся, освещал углы свои, но, вглядываясь в безглазую, мертвую пустоту, он и сам начинал чувствовать какой-то неосознанный страх... "А ить она, Дунька-то, видно, умно порешила. Брошу-ка жечь свет". Но, отогнав страх, нарочно распахивал почернелые шторки, садился около окна сумерничать (пускай видят!), пил чай, но прыгало на растопыренных пальцах блюдце, щемило сердце, — чего же и кого было ему жаль?.. И Егор Егорыч, и Евдокия тоже испытывали эту сердечную маяту. И тоже не находили слов, не могли сыскать ответа, — отчего иной-то раз так горько, так тревожно прикипала к ресницам слеза?..

— Зажилися, пора и честь знать, — говорила Евдокия, утешая односельчан мыслью, что смерть — она страшная себялюбцам да плутам, — помнила же она слова деда своего: "В былые-то года мужик спокойно отходил на тот свет".

— Да ить страшно... — признался Егор Егорыч. — Оттеда-то не выскочишь.

Удивил их Степан, — тот будто ножом отрезал:
— А я петли-то не боюся.
Евдокия перекрестила его:
— Спаси и помилуй!
Страшны были не столько слова, сколько интонация его голоса, — произнес их Степан с полным и глубоко осмысленным спокойствием.

IV

Глубоко и бесконечно в проявлении добра сердце матери, русской крестьянки, живущей по старым заветам и преданьям! Письмо Петюни, младшего сынка Евдокии, Егор Егорыч перечитал не раз и не два. Крупными, какими-то дубовыми буквами тот писал: "Ты нам, мамаша, очень нужна, хватит сидеть в своем Неелове — езжай немедля к нам, потому что мы тебя любим, а также нам требуется твоя помощь. Прихвати, между прочим, обязательно паспорт. Ждем без промедленья, — смотри же, мамаша, не подведи нас. Что же касается меня, то я весь об тебе исскарбелся. На днях выеду за тобой".
— Исскарбелся? — пробормотал неверяще Егор Егорыч, складывая лист, глядя на него строго, недоверчиво. — Сегой-то вдруг, а?
— Как же тут-ка понять? — спросила и Евдокия, сильно озадаченная, выбитая письмом из привычной житейской колеи. — Не случилось ли чего?
— Ты им засем-то понадобилась. Про паспорт серти ввернули неспроста.
— Не поминай рогатого.
— Тут-ка не только рогатого, но и косматого помянешь. Кривит Петруха. Тут, кума, какая-то хитрость — не инасе. Вот увидишь.
— Нешто ж я ему не матка? Какая могёт быть хитрость у сына с маткой? Что ты, Егор, городишь?
— Сто я горожу, то я знаю. Ехать тебе туды не следовает, — заявил он категорически.
— Господи, на каво ж я кину скотинку?
— Я нагляжу, да он, видишь, тебя клицеть насовсем. Хитрить Петруха!
— Ахти, горе, горе мое... Как же мне с гнезда-то стронуться?
Степан, узнавший об ее маяте, высказался без обиняков:
— Сбывай живность и мотай. Хоть в ванне помыесся. Опять же в уборную на мороз не надо бегать.
— Прах ее возьми, ванну! На кой она мне. Ахти, горе! И как, скажите, не ехать? Раз призываютъ?
Свинью, козу и кур Евдокия свела к Егору Егорычу. Через три дня за ней приехал Петр — бодро одетый, сытый и флегматичный, и Евдокия, глядя на него, на младшенького, никак не могла осознать превращения, происшедшего с ним: она все помнила его молоденького, голенастого и нежного, с цыплячьим пухом на щеках, а теперь с ней рядом сидел какой-то дядя, так непохожий на ее Петюню. Да и звать его Петюней было как-то неловко, стыдно. Жена Петра Лариса работала продавщицей продмага, телуха, хорошо выкормленная, такая же толстая, как и сын, но, как заметила старуха, — ухватливая, проворная, державшая под каблуком ее сына, — это Евдокия определила сразу. Петр ни в чем ей не перечил, был покорен, дрябло-расплывчат и все услужливо кивал жене головою, часто повторяя:
— Лара все знает. Лара, мамка, будь спок!
Со старухой-свекровью сноха обращалась снисходительно, даже ласково: справилась о ее здоровье, в первый же вечер подарила ей валенки, чему Евдокия горячо порадовалась, ибо свои добила до ручки; подкладывая ей на тарелку, Лариса говорила слова, которые тоже радовали, утешали:
— Если ты хочешь, мама, то можешь жить у нас. Да, собственно говоря, мы тебя с такой целью и перевезли. Чувствуй себя, как дома.
— Об чем толк, — заподдакивал Петр, вываливши бочонок-живот, — Ларисину щедрость все знают. У меня жена, мамка, — во, такую с огнем не сыщешь. Мировая жена!
Евдокия так расчувствовалась, что даже всплакнула — от умиления.
— Завтра ж пропишем тебя, — заявила сноха, сильно напугав старуху.
— А это зачем? Я из деревни не уйду. По чужим-то углам шататься на старости, чай, последнее дело. Я к вам приехала только погостить.

— Да какая там деревня? Что ты, мамка, говоришь? — усмехнулся Петр. — Три несчастных хаты.

— Вот тут-ка дуже-то нос не подымайте, — обиделась Евдокия. — Три хаты! Сыто жрать все хочуть, а на деревню плюють.

— Мы тебя, мать, силой не приневоливаем, — поддельно-ласково ответила Лариса. — А не захочешь быть у нас прописанной, мы тебя обратно выпишем. Мы ведь свои. Мы с Петей хотим, чтобы тебе было хорошо, — и она, дабы старуха поверила, погладила ее жесткую сухую руку; этот ее жест доверчивая Евдокия восприняла как проявление доброты, но что-то все же удерживало, заставляло ее напрягаться. "Вроде сноха ничего, чтой-то я строга к ней, — укорила себя Евдокия. — Господь ей судья — только ен один, осуждать людей грех. Мы все грешные".

V

На другое утро старухин паспорт сдали на пропись.

Евдокия видела, что теперь они относились к ней уже иным манером, — куда только девалась ихняя ласка. Вскоре выяснилось, что им дают новую четырехкомнатную квартиру, и теперь они готовились к переезду. К этому времени Евдокия перевела сюда свою пенсию. Она мало спала, иную ночь напролет открытыми глазами глядела во тьму, тревожилась: "Как-то там живность моя? Как бы хату не сожгли!" Сын Петюня не был с ней ни чужим, ни своим, он часто крякал и говорил, оправдывая жену:

— Ты на нее, мамка, не сердись: Лариса тебя чтит.

Старуха горюнилась, роняла слезу:

— За что мне серчать-то? Вам было б хорошо.

За день до переезда оскаленная, как борзая, гнавшаяся за добычей, вскочила в комнату кобылица-внучка и, уставясь на старуху, с циничной насмешкой процедила:

— На черта, спрашивается, ты нам нужна? Выгоньте эту кикимору!

Отрубила прямо и сноха:

— Зажилась ты у нас, милая, это верно. Пора тебе, старуха, домой. Это мое последнее слово, имей в виду!

Петр, покрякав, ничего не молвя, ушел на кухню.

— Да рази ж я к вам напрашивалась? Сами позвали, — и только тут она поняла, зачем стронули ее с места: получили на нее лишние метры, целую комнату; к сердцу старухи прихлынула обида... Вспоминала, переворачиваясь ночью с боку на бок, каким добрым и ласковым рос сын Петюня, ее младшенький. Как она лиховала, когда он хворал, просила Бога ее прибрать, а его, Петюню милого, оставить, — тяжелая была хворь, едва выкарабкался. Исходила, истаивала эта горькая ночь, жгла, как ртуть, материнские очи слеза. Истаивала и надежда — что тот же он, ее сын, сердце-то, как и жизнь, дала ему она, а все дело в снохе. Злая и бессовестная, — это Евдокия видела, но не дала разрастись злости, а опять себя укорила: "Знать, правда, шибко виноватая я перед Богом, прогрешила".

Утром расфыркалась девка, внучка Ида, первая открыла брехву:

— Где моя цепочка с крестом? — прикопалась к старухе.

У Евдокии аж потемнело в глазах: такого греха, воровства, она за собой не знала, — сама воров терпеть не могла.

— Господь с тобой! — Евдокия перекрестилась. — Я сроду не взяла чужого. Что ты, деточка?!

— Я тебе, старая карга, не деточка! Вон из дома! Чтоб я эту швабру больше здесь не видела! — завизжала, будто укушенная, внучка.

— Погостевала — и будет, — заявила еще решительнее и Лариса: в этот день, как знала старуха, им окончательно оформили четырехкомнатную хорошую квартиру. — Все: разговор закончен. Освободи нас от своего присутствия!

Петр, по обыкновению покрякивая, ходил около стены, прятал глаза, бормотал:

— Ты, мамка, не серчай...

А когда остались наедине, дрожа сизым толстым лицом, говорил ей с жалостью:

— Или старуха, или я, мол, — так она ставит вопрос. Ты, мамка, должна войти в курс... Что я могу сделать? Сатана... Житья ж не будет. А на Ларису особо

не сердись. Может семья разрушиться, ты ж понимаешь... Такая петрушка.

— Боже упаси, завтра ж уеду! — затрепетала старуха. — А пензию-то как? Ить я ее сюды перевела!

— За то не волнуйся, пенсию мы оформим. Мне-то ты веришь?

Через день, выписавшись, Евдокия уже сидела в поезде, — ехала обратно, домой, испытывая горячее желание поскорее увидеть свою хату, живность, сад с огородом! Петр посадил ее только в вагон, ехать же везти мать в деревню отказался, сказав, что ему сейчас нельзя отлучаться.

— Доеду одна. А ты, Петюня, делай как тебе лучше. А я што ж... мигом доскачу.

И не спросил — как же она доберется от станции? — там ведь целых сорок километров!

Когда спрыгнула, едва не запахав носом, с высокой подножки с узлом на своей станции, Евдокия вдруг почувствовала, что у нее отымаются ноги. "Господи, не то помру!" Но отдышалась, привычно потянула торбу с продуктами, — замасливая старуху, чтобы только поскорее убралась, наложили гостинцев. С трудом впихнувшись в автобус, доехала до своей Лопуховки стоя: какие-то размалеванные девицы-практикантки, оскаливая зубы, лузгали семечки, делали вид, что не замечают стоящей около них старухи. Боже, как забилось ее сердце, когда увидела родную почернелую хату, синеватый дымок над крышей Егора Егорыча, как с прытью молоденькой вскочила на его двор! Филиппенков, накинув на плечи шерстяной платок жены-покойницы, ходил, убирался по хозяйству. Радости его не было конца.

— Прибыла, гулена! А я уж боялся — а ну-к насовсем?

— В гостях, Егорыч, хорошо, а дома-то лучше. Ну, как тута моя живность?

О ней, будь она неладна, Евдокия вся изверлась в бегах: и денно и нощно думала, кормит ли Егор поросенка, козу и кур? А главное — как доит своенравную козу?

— Козляка — сущая шельма, пришлось много намаяться с дойкой, — ответил Филиппенков. Помолчав, продолжил: — Сто ж, кума, вернулася насовсем, ай приехала имущество и двор сбывать? — У Егора Егорыча от напряжения вздрагивал голос, словно от ее ответа и решения зависела его собственная судьба.

— Хватит, погостила, — коротко и со вздохом ответила Евдокия.

VI

Силен духом русский человек, но слаб обиженный — сказочную силу, выносливость, пожертвование во имя жизни может проявить, но зарони в его душу обиду, и уже он не богатырь, а сущий ребенок, и над таким нетрудно надсмеяться. Что правда — то правда. Таким человеком, не могущим отстоять свои житейские права, оказался Степан Лошаков — третий житель Лопуховки. Кавалер трех солдатских орденов Славы, побывавший и чудом выживший в самом пекле, тысячу раз хладнокровно глядевший смерти в глаза на гибельных дорогах войны, не дрогнувший даже под расстрелом, под автоматными очередями, — рухнул вместе с другими в траншею, пролежал, обливаясь кровью, под убитыми товарищами целый день, до ночи, и выполз, остался на белом свете. Любил Степан жизнь, какими бы острыми углами ни била она его по голове. А била-таки, подлая, порядочно! Не один он мыкался — это Степан видел и понимал. Беды пошли со смертью хозяйки. При ней, какие бы каверзы ни подстраивала жизнь, он крепился духом. Недаром он всюду хвалил свою женку: "Баба-то моя Аксинья — истинный клад, не будь ее — я б давно загнулся". После похорон многоизраненный фронтовик не пал духом: продолжал все так же деятельно хлопотать по своему хозяйству. А оно стало медленно, но неуклонно рушиться. "У одного ль меня? Деревню-то, вона изничтожают под корень", — успокаивал себя Степан, продавши корову. Раззор двора начался с нее, с кормилицы, невмоготу стало добывать хрущевский корм, да и с дойкой он намаялся. А много ли одному мужику надо? После коровы хорь перетаскал половину кур, — остальные от какой-то напасти сдохли. Остался один петух-красавец, да и тот куда-то сгинул. Говорили: от химии, не даром же прошлым летом под речкой почернели и стояли с усохшим листом ракиты. Утрами, когда поворачивал северо-восточный ветер, с химзавода тянуло ядовитый белесо-желтый туман, убивавший медленно и неотвратимо все живое. Воробьев лопуховцы уж давно не видели, все меньше оставалось сорок, полностью исчезли

ласточки и стрижи, и лишь веснами на старые гнездовья возвращались живучие и неутомимые птицы — грачи.

— Конца света захотели? — неистовствовал как-то Степан, наслушавшись баек от грамотеев, что-де химии не надо бояться, что она-то, всемогущая, зародит щедрый хлеб, а без нее, мол, вовсе поля обескудеют.

— Наши деды на энтой землище, на своих-то наделах брали по сам-двадцать пять. Посади себе в штаны свою сволочную химию, чтоб ей, падле, ни дна и ни покрышки! — громыхнул Степан одному такому грамотею.

Из райцентра, из Гурьевска, куда ездил жаловаться на самоуправство директора совхоза, Степан вернулся подавленный и разбитый; в инстанциях, куда он сунулся, "демократы" посоветовали: сиди тихо, инвалид, не то хуже будет...

"А куды уж хуже-то? Крыша — как решето, печка вовсе заваливается. А я всю Европу по-пластунски прополз. Ну, брат, шалите: доберусь же я до вас, мало будет лобового — организую фланговый огонь". Однако Степан видел воочию, что с флангов подсобленья ему не приходилось ждать: народишко расползся по углам, охочие бороться дальше дранья глоток в сельмаге не шли.

— Народец-то — собака, брат, на собаке, — жаловался Степан Егору Егорычу, — может, только у нас так очерствели? Как ты думаешь?

— Хрен яво знаеть, — рубил тот, — ситывал я нашего матерого писателя Хведора Михалыся Достоевского, — так оно все в тоську, к тому знаманателю, стало быть, и выскосило. Он-то, Хведор Михалысь, все нонешние безобразности как на духу сюял, умом своим могусим превзошел, наперед предсказал, куды што выскосить. Все, имей в виду, было предусказано!

— Достоевским или научными марксистскими умами? — уточнил Спепан.

— Будущее, брат, покажеть, кому какой девке када замуж надо было выскакивать. Тут! — Егор Егорыч, хитро прищурясь, поднял выразительно кверху обкуренный кривой указательный палец. — Таковская политика, што без поллитры хрен докумекаешь.

— Увильнул, хитрый, увильнул, — хохотнул Степан, потряхивая штанами: сел на горячий окурок. — Гля, последние бруки прожег.

— Народ не хули. Не в ем, Степан, вопрос: он куды глубже...

— Летось к сыну Сереге в Минск ездил, я его, гаденыша, от смерти спас, в люди вывел, а он мне выговорил за купленный обратно билет. Это как же, спрашиваю, понимать-то? А?

— Стало быть, мы им не тую путевку в жизнь дали, — раскурив трубку, ответил с расстановкой Егор Егорыч, — за детей в ответе мы.

— Нешто ж ты не знаешь, какую я ему, сукину сыну, путевку давал? — вскричал как-то беспомощно Степан, судорожно двигая острым, обросшим щетиной кадыком; его возмущала тяжелая и горькая отцовская обида, столь долго кипевшая в тайнике души и теперь вырвавшаяся наружу. А когда выплеснулась, то стало еще хуже, сделалось вовсе пусто, и он, раздавленный этой обидой на родного черствого сына, всхлипнул и согнулся.

Вошла Евдокия в своей плисовой вытертой курте и в худых валенках, задула, зафукала в посиневшие ладони.

— Нюра, дочка-то, пишеть? — спросила она Степана.

— Какая дочка! — Степан стукнул кулаком по столу. — В год по одной писуле шлеть, да и то по делу — не забил ли я свинью?

Тяжелыми этими словами Степан бил и в больное место самой Евдокии: не лучше черствого Петра была и ее дочка Нина, Бог знает как живущая в Москве. О своей актерской жизни она ничего не писала, в писульках ее, нацарапанных наспех, сквозило одно легкомыслие, непутевость. Вот и пойми, в кого кобылица уродилась?

А двор Степана приходил, и правда, в сущую ветхость. Со страхом он ждал весны, ростепели, не дай Бог еще зарядят дожди — тогда беда, потечет по всем углам, крыша-то, каналья, стала как решето. Посунулись к земле и окошки, подгнили нижние венцы, худа была и русская печь, так много послужившая на своем веку. Раньше, когда был покрепче, Степан лазил в нее париться, но теперь эту затею бросил — ходил мыться в баню Егора Егорыча. Неделю назад обвалился сарай, и Степан вспоминал, с какой любовью строил его тридцать лет назад... Тогда двор его полнился голосами. Как дорогую сказку Степан воскрешал ту жизнь: казалось, все было прочно и навек нерушимо. Веселая, ладно скроенная, ходила по двору женка Аксинья, веселили глаза дети. Как все пронеслось, порушив былой уклад, и какой скоротечной молнией пронеслась сама его жизнь!

Обида... Да разве за себя только, за свою малую, никому неведомую и ненужную жизнь? Терзало его душу погибание всего исконного, крестьянского, — русского. Тупик! Жили, жили, землицу обихаживали, детей растили, об жизни загадывали — и точка, конец заботам...

— Россия-то — она где? Што от нее осталося? — насел как-то Степан на лектора из района, ораторствовавшего в клубе. Храмы во што превратили? Изгадили какую красу! — Он сам поражался себе: еще в начале зимы высмеивал Евдокию, что старого жалеть нечего, и вдруг открылась эта любовь в нем самом.

— Россия, дорогой дед, растворилась в интернациональном обществе, — объяснял лектор, пощупывая бородку, — нужно думать не о том, какой она была, а о том, какой стала.

— И какой же, к примеру, она стала? Без мыла-то? Физиономию-то ты сам седня мыл? — вскипел Степан. — Или тебе ево из стола заказов доставили?

Слушать умные речи лектора у него не было никакой охоты и, шлепая по грязи обратно, захомутанный сумками, он все думал о том, как ему жить дальше. Евдокия усердно месила снег рядом, подкидывала повыше суму с хлебом, успокаивала:

— Не мятусися, Степан, об душе думай. Ничего-то у нас нету, кроме души.

— А как помру, то явятся ли ко гробу детки? Сказать откровенно, костюмишка-то у мене стоящего нету. Как же так вышло-то, а? Ить я не пил, не бражничал, а самым натуральным образом оказался голым? Всево одне штаны, да и то старые?

— Про то не думай. Нищий, да душой светлый. Уйдешь ко Господу чистым, безгрешным, — успокоила Евдокия.

— Кто нищий, а кто, глянь, в мехах! Сумели, собачьё, устроиться.

— Не завидуй им.

— Не в том, что зависть. Обидно. Кровь-то я проливал, ай не? Три раны имею. А хата, вона, как решето. Подсобленья никакого. Что ен, морда, директор себе позволяеть? Да я ево хвактом прижму.

— Не бередь душу. Соломиной бревно не перешибешь.

— А вот этого он не видал? — Степан показал дулю.

Евдокия, вздохнув, промолчала.

— Я, брат, докажу! До каких инстанциев дойду. Так и так, мол, имею право на вниманье. На пулеметы грудью шел. Кровь за Отечество пролил. Я, брат, дойду, у меня-то не зачешешься! Не таких видал, да через себе кидал. Не то ныне время, чтоб зашшитников да крестьян топтать. Мы, брат, грамотные, газеты читаем, опять же телевизор.

— Пропади ен, проклятый! — ругнулась Евдокия, сильно невзлюбившая эту машину, когда была у сына и насмотрелась на кривлянье волосатиков и крашеных девиц. По поводу же того, что "я, брат, дойду", — Евдокия ничего не сказала Степану, понимая, что это был крик вопиющей в пустыне души, что и она сама тоже так-то хорохорилась, а жизнь, подлая, показала щучьи зубы, хотя, сказать к слову, никому она не жаловалась на свою судьбу. От Степана она тоже впервые услыхала эту жалобу на жизнь: терпел, терпел мужик, да и взвыл, не из-за протеста — просто излил душу от так долго не высказанной обиды.

VII

На исходе млявого, сумрачного дня, когда небо висело над самыми полями, явился к Егору Егорычу сын Василий, москвич, притом — не просто в гости, — звать старика к себе на жительство. Прикатил на черной казенной "Волге", которую он оставил на центральной усадьбе в Свешневе. Грузовик директор совхоза обещал в Лопуховку подогнать завтра утром, — сюда же из Свешнева Василий отправился пешком, дабы проветриться и прочувствовать, как он сказал Кожухову, что оно такое — родная сторона. И пожалел-таки, что отказался от грузовика! Толстый и холеный, Василий порядочно упарился, проклиная турлы, пока дотащился до родительской обители. Василий давно уже жил в другом мире и с полным и безмятежным спокойствием созерцал всю эту едва теплившуюся крестьянскую горе-житуху. Он с равнодушием относился к почти погибшей деревне, — так ему казалось вдали. "Всему свое время", — говорил он. Но чем ближе он приближался к родным полям, тем неспокойнее и тяжелее становилось у него на душе. Его сытое, безмятежное спокойствие стало разрушаться под воздействием тяжелого и горького чувства. Как будто какой-то всеуничтожающий смерч

пронесся по отчей земле. Читая в газетах и слыша разговоры о сельском малолюдье, он все же не предполагал, что сила разрушения достигла такого предела.

Тут глаза Василия остановились на вознесенном над оврагом бугре, где некогда лежала стодворовая родная Лопуховка. Одичалые, уже существующие независимо от людей сады и старые березы, как стражи, указывали на былую деревенскую улицу. Василий протер кулаком глаза: ему казалось, что это было какое-то наважденье, не иначе, — не могла же столь ужасно разориться деревня! На бугре под низким небом стояло только три хаты. Четвертая, Устиньи Громовой, горбилась с проваленной крышей. Василий нашел глазами отцовский двор. Вдоль берез и садов вела едва приметная, переметенная тропинка. Ложились сумерки. Двор старика-отца находился, однако, в полном порядке. Дорожка от забора до крыльца и к хлеву была расчищена. Но сама обитель, хата, уже клонилась к земле; окошки ее Василию показались очень маленькими.

...Егор Егорыч каким-то занозистым петухом глядел на сына. Он подивился его массивности — десять лет назад, в последний свой приезд сюда, сын выглядел попроще, полегче на ногу. Старику было неприятно видеть таким сына: разъевшихся мужиков Егор Егорыч не чтил.

— Сто ж тебя привело сюды? — спросил отец, сам не зная: быть ли ему ласковым или же строгим?

— Разве я не твой сын? — задетый за живое, Василий распрямился, сделавшись еще более тучным.

— Погоди, затоплю пеську. Сядем весерять.

Василий вытащил из чемодана хорошие закуски и нарядную бутылку вина. Старик, растопив печку, поставил на стол чугунок с тушеной свининой.

— А ты, батя, молодец, еще крепок, — Василий разлил по стопкам вино.

— А ты больно разъелся. Срево-то — не обымешь! Укорасиваешь, Васька, себе жизнь, — Егор Егорыч едва заметно усмехнулся в бороду: он не ругал, а лишь слегка укорял сына, и это Василий чувствовал. — Ну, как тама столисьная житуха у насяльников?

— Я, батя, своей жизнью доволен, — ответил Василий, выдержав строгий взгляд родителя.

— Живете, видать, сыто?

— Да, не жалуемся. Я все же кое-чего достиг. И, представь себе, без протекций.

— Ты, стало быть, дилехтор завода?

— Избрал народ.

— Народ? — уточнил неверяще старик, завесясь лохматыми бровями.

— Ты же видишь: нынче на дворе демократия.

— А бюрократии, стало быть, нету?

— Ее как понимать, батя, бюрократию. Народ нельзя распускать.

— Народ — нельзя, а насяльников, стало быть, — можно?

— Я вижу, ты будто недоволен, что я — директор?

— Сто мне недовольствовать? Сын как сын, спасибо, вона деньжонок присылаешь.

— Извини, что мало. Но московская жизнь требует денег. А дочка Ангелина любит наряды. Мать с ней, само собою, заодно. Кроме того, я, батя, построил дачу. Выложился порядочно.

— И сем девка занимается?

— Она, видишь ли, бросила институт. Замуж вышла.

— Который раз-то? Ты ж писал, сто она и три года назад выскакивала?

— С тем она развелась, — Василий умолчал, что дочь уже не во второй, а в третий раз выскочила замуж. Умолчал и о том, что она в пятнадцать лет сделала аборт.

— Не многовато? В девятнадцать-то годов?

— Да ведь в старину в шестнадцать выходили.

— Выходили, стоб жизнь прожить, а не безобразнисять.

— А я, батя, за тобой приехал, — сообщил Василий.

Старик, будто не осознавая, о чем тот вел речь, глядел на него.

— Ты, стало быть, приехал за мной?

— Ну, папаша. Прямо кино с тобой. Я же говорю — за тобой. Чего тебе тут сидеть?

— А тама?

— Тама ты будешь жить в хороших условиях.

— Нужник, сто ль, теплый? На вашей дасе?
— И все остальное прочее. Вопрос решен: завтра надо ехать. Летом сбудем хату.
— Ловок ты сбывать-то. А ты ее, к примеру, строил?
— Прогресс, что же поделаешь? Мне и самому жалко деревни. Но тут ничего уже нельзя повернуть. Я ведь приехал за тобой после звонка директора химзавода. Им нужно строить вторую очередь, а вы мешаете. Добришка у тебя нет. Машина моя стоит в Свешневе. Завтра сядем и укатим. И на том вся трагедия разрешится. А с матерью, уверен, ты поладишь. А ты чего, батя, свет не зажигаешь?
— Мы без света сидим, — не сразу выговорил Егор Егорыч. — Без огня.
— Да почему? — изумился Василий.
— Ты, сын, видать, не поймешь, — старик, сгорбясь, глядел в стол; тяжелые, в окостенелых мазолях, бурые, как древесные корневища, руки его вздрагивали. — Со двора я не сойду, — прибавил он упрямо после некоторого молчания. — Как его бросишь-то? Тут же ишшо дед сидел! На этом клоку земли — пот нашего корня. Как же бросить?
— Ну, батя, всякому упрямству предел есть! — Василий начал выходить из себя.
— Ложися спать, утро-то, говорят, мудрёнее, — с тяжелым вздохом ответил старик.

VIII

"Пропади все пропадом! Уеду!" — думал Егор Егорыч с каким-то облегчением, направляясь ко двору Евдокии; к ней он шел с твердым намереньем — отдать ей живность. Старуха, затопив печь, управлялась по хозяйству.
— Чо, сынок, пожаловал? Знать, медведь сдохнеть, — Евдокия, приглядевшись к лицу старика, испугалась его вида. — Не прихворнул, Егор?
— Дело, кума, выходить... дохлое, — проговорил с расстановкой Егор Егорыч, — тутка, правду баютъ, серта мы высидим! Василий... приехал за мною. Жгу, кума, мосты! Забирай курей и овец. Сему, грят, быть, таво, грят, не миновать. Еду к сыну! И ты бросай энту жизнь к сертовой матери, не то проклятая химия доконаеть. Смертный, видать, сяс настал нашей Лопуховке! Ее сяс пробил!
Евдокия, державшая жилистыми руками чепелу, гневно-угрожающе надвинулась на него:
— Ты что, ай белены объелся, дурень этакий? "Серта высидим". Постыдился ба! У-у-у, тоже на безродное поле потянуло. Согнать нас им права не дадено. Найдем, чай, укорот и на химию, на заразу энту, чтоб ей ни дна и ни покрышки! На кой ляд мне твои овечки и куры? У мене своих яиц некуды девать. А ты подумал, что будешь у них приживальщиком? Я-то, вона, тоже съездила. Чуток без пензии не осталася. Будешь ты, Егор, не полноправным гражданином, а приживальщиком. Я-то про Васькину женку слыхала. Да она тебе такую устроить жизню, что закричишь караул. Сноха-то — ворона в павлиньих перьях. Сам помнишь, как она, приехавши сюды, ряшку пивом мыла. Под ее-то каблуком ты павлином не походишь.
— Не смогуть посягнуть на мою свободу, — твердо веря в такое свое право, проговорил Егор Егорыч.
— А кто у тебя будеть пытать, наравится тебе ай не наравится? Ноне родители для детей — приживальщики. Заартачишься — сдадут в богадельню. Не то ишо хуже...
— Куды уж хуже-то?
— Туды. Небо увидишь в клетку: в психический дурдом определять на вечное довольствие, — тады поропщи.
— До такого подлого дела оне не дойдуть!
— Избави Бог, — Евдокия перекрестилась. — Да не меняй волю на хомут.
— Да ить сын же, сын! Пойми ты это!
— Известно — сын. Да мы, старые крестьяне, должны помирать в своих углах. А там тебя скука заест. Нас на такой крест Господь определил. Тут-ка, серед своих полей, мы ближе к Нему, — она опять перекрестилась.
Егор Егорыч, чувствуя, что теряет решимость, с тяжелым вздохом опустился на табуретку. Мягко золотились и дрожали на его руках и на сивой бороде теплые блики — отсветы жарко гудевшего огня в печи. Ласково светились на подоконни-

ках милые сердцу огоньки. Родной, такой дорогой ему мир... И в это утро он должен был с ним порвать — уйти в другую жизнь?..

— Не знаю, кума... Похоже сто — дорога наша с тобою одна... в Ольховый лог. Да и не за горами. Куды уж мне, верно, гопак-то плясать?..

Вошел в дубленой шубе нараспашку и в богатой шапке Василий.

— Здравствуй, бабуся, — кивнул он Евдокии. — Наглядывай за двором. Весной заскочу продавать. Едем, батя!

Егор Егорыч с тяжелым вздохом поднялся с табуретки.

— Ты, Васька, не серсяй... но я остаюся.

— Ну ты, папаша, шутник! — возмутился Василий, обдумывая: не выпихнуть ли от зловредной старухи родителя за шкирку? — Ты что — не понял, в конце концов, что вас весной потурят?

— Не имеють на то закона, — остудила его пыл Евдокия.

— Кто вас станет спрашивать? Кто вы, собственно говоря? Никому ненужные пенсионеры, балласт, — вот вы кто!

— Васька, ты того... ты морду-то не подымай. Не позорься перед сельсянами, — пристыдил его отец. — Сказано: остаюся, — знасить, остаюся. И разговоров боле нету. Ехай обратно.

И как ни наседал Василий — пересилить отца он не сумел: его доводы о прогрессе городской жизни и о гибельности в деревне они дружно отбили в три глотки — к ним на помощь явился и Степан.

Василий, в конце концов, сдался, махнул рукою: "Пропадите в допотопщине!" — и зашагал в Свешнево.

IX

Дочку Нину, проживающую в Москве, актерку, сказать по правде, Евдокия уж не чаяла увидеть: с тех пор как уехала (а с того времени минуло ни много ни мало пятнадцать годков), дочка ни разу в деревню носа не показала. Не чаяла Евдокия — и вот же она предстала на пороге... нарядная, чистая, обихоженная, — ну, прямо-таки журнальная картинка. Евдокия — стыд и срам! — не узнала свою дочку. Что-то было знакомое и родное в оскале — в какой-то лошадиной улыбке; и в то же время эти припухло-капризные, ярко крашенные губы и с фосфорическим блеском глаза, обметанные длинными и загнутыми ресницами, какие бывают у породистых овец, и сизо-дымчатая, с белыми (тоже нарядными) прядями копна волос, — все это никак не соединялось с той милой, голенастой, в ситцевых дешевеньких платьицах девчонкой, какую помнила и крепко берегла в памяти. И все ж сердце подсказало, что перед нею стояла она, ее дочка!

— Ой, Ниночка, ой, доченька, какая ж ты стала! Прям, ей-ей, картинка, ой-ой! — запричитала старуха, но уже с другим оттенком — не радости, а прорвавшейся в ее голосе скорби, которую можно было рассудить так: картинка-то картинка, а вот ежели пойдет дождик да все посмоет, то что же останется?.. Нечуткая к материнскому причитанию, дочка не угадала оттенка ее скорби, — это было бы глупо и смешно, если мать не рада тому, какой высоты она достигла, но ее слух резанула "Ниночка", и она сочла нужным пояснить:

— Я — Нинэль. Имей это в виду, мамаша!

Такого чудно́го имени Евдокия отродясь не слыхала, она даже перекрестилась, будто речь шла о какой-то нечистой силе; спросила с изумлением:

— Заграничное, что ль, имя-то? Мы ить с отцом, пухом ему землица, тебя Ниной назвали.

— Не будем распространяться!

Мать поставила на стол самовар. Нина-Нинэль достала гостинцы и подарок — большую черную, с красными цветами по полю и с длинными кистями шаль, — набросила целую "Турцию" на плечи матери.

Евдокия, поглядевши на себя в обломок зеркала, засмущалась, заотказывалась:

— Такой-то красы я никада не носила!

— Шаль — ничего себе, — Нина-Нинэль вытащила нарядную пачку сигарет, кроваво-пестрыми, с крапинками, длинными ногтями привычно выхватила одну, чиркнула тоже нарядной зажигалкой, и хата окуталась, перемешавшись с духами и прочей косметикой, еще более приторно-сладким фимиамом.

— Ой, ой, дочушка... Нешто ж женское дело-то? — Евдокия покачала горестно головой.

— Ты, мамаша, отстала от действительности.

— Да ить — страмота!

На пороге вдруг возникли Федька Гнутый, за ним — Нюшка Голянкина со своим красным носом — свишневцы.

— Приветствуем антилигенцию в родных пенатах, — зарасшаркивался Гнутый. — Цалуем, как грится, ручки. Корихвеям искусства! Следим за вашим Олимпом. Дайте, можно сказать, прикурить: не нашим безмозглым кочерыжкам чета!.. Што значица, жизь в верьхах! — продолжал с пафосом Гнутый. — Очення буду, так сказать, польщен, Нина Ивановна, ежели дадите автограх. — Он выложил на край стола засаленную, провонявшую махоркой тетрадку в дермантиновом переплете: там стояли росчерки всех знаменитостей, наезжавших в совхоз.

— Нинэль Ивановна, — поправила его дочка Евдокии; презрительно кривя губы, она нарядной ручкой вывела свою подпись, напоминавшую птицу в полете.

— Какие, Нинэль Ивановна, новости в верьхах? — свойским тоном спросил Гнутый, в то же время шаря блудливыми глазами по ее плотно обтянутым ляжкам и весьма выпуклому впечатляющему заду.

— Вчерась по телевизору, грят, показывали, будто тебя с Нюшкой ждуть в Москве на синпозиум, — поддел вошедший Егор Егорыч, на что Нюшка ощерила свои желтые редкие зубы:

— На сибя погляди, старый мухомор.

— Вам чего надо? — Нина-Нинэль не очень-то дружелюбно уставилась на Гнутого и Нюшку. — Лакать я вам не привезла.

— Очення некультурно. Гляди-ка, нашпаклевалася! Она, вишь ты, гордая, — Нюшка потянула за рукав Федьку Гнутого, и они быстренько ретировались вон.

Актерка под материнской крышей прожила два дня. И все два дня куражилась заметуха, когда нельзя было понять — не то день, не то вечер. Евдокия по-прежнему не зажигала огня. Дочка только крутила головой: "Первобытная дикость! Кошмар!"

— Замужем же ты ай не? — спросила мать, когда дочка, отпихнувшись от стола, красила губы, хищно вывернув их.

— Семейная жизнь меня, мамаша, стесняет.

— Кака ж жизнь у бабы без семьи?

— Так то у бабы.

— Сколько ж разов ты выскакивала?

Нине-Нинэль было стыдно сознаться, что выскакивала четыре раза, и она скостила половину.

— Пошто развелася и с тым, и с другим?

— Про то, мамаша, длинный рассказ.

— Как же в старости без дите?

Дочка загадочно усмехнулась:

— А я буду старая?

Но мать спустила ее с розовых облаков на грешную землю, — сказала отрезвляюще:

— Чай, сморщишься. Это чичас кобели вьюнами, а придет время — стакана воды некому будеть подать. Ой, несчастная, что ж ты с собою сделала?!

Такой выходки Нина-Нинэль от матери не ожидала; возмущенная и высокомерная, она вскочила из-за стола.

— Да ты, в самом деле, белены объелась? Мне все завидуют!

Но старуха до основания добила ее гордость:

— Кто курвам завидуеть?

— А! — блеснув хищно зубами, воскликнула та. — Можешь считать, что у тебя нет дочери! Знать тебя, дуру грязную, не знаю. Ноги моей больше никогда здесь не будет!

Евдокия, загорюнясь, с состраданием и материнской любовью смотрела на дочку.

— Боже праведный, что ты с собою сделала?! — повторила она, и слезы градом покатились по ее щекам.

После обеда дочка собралась в отъезд. Равнодушными, с фосфорическим блеском глазами поглядела на жилистую серую фигуру матери, сухо-сдержанно простилась с ней на ветряной дороге и поскорее юркнула в автобус, точно боясь

материнского оклика. А старуха долго еще вглядывалась в сумеречную дорогу, в даль, подернутую свинцовой мутью, где не чаялось, не виделось никакого просвета.

X

Три дня дул пронзительной силы северо-восточный ветер, повыламывал в саду сучья яблонь, ракитник над оврагом, повалил уже который год одиноко горюнившуюся пуню на бывшей северной околице Лопуховки. Все три ночи буйства стихии Степан спал вполглаза, одетый, лишь без сапог. Хата его дрожала, ходила ходуном, дергалась на крючке дверь, по окошкам хлестали ветки ободранного вишенника, грохотало с дьявольской силой в трубе... На рассвете третьей ночи, когда порывы ветра дошли до истинной бури и что-то гулко и как-то утробно ухнуло вверху, Степан живо натянул сапоги и выбежал наружу. Так и есть, случилось то, чего он больше всего боялся: рухнула половина крыши! В сумеречное небо торчали, будто прося милости, как в мольбе воздетые руки, обломки стропил, уродом чернела оголившаяся труба. "Так! — подумал с полным спокойствием Степан, словно видя не свое, а чужое разорение. — Чему быть, того не миновать. Время жить — время и подыхать. Не присказка, а обыкновенная быль. Все, артиллерист: позиции твоей, видать, хана!" С тем же спокойствием Степан вернулся в хату, где было чуть теплее, чем на воле, стал вздувать самовар. Долго ломал в одубенелых, корявых пальцах спички, влажные лучинки чадили, не разгорались, садил едучий, смолистый дым, выжимавший из глаз слезы. Тяжелый, костистый, в рубахе с оборванными пуговицами, с остро торчащими лопатками, Степан горбился за столом, прислушиваясь не столько к порывам ветра, сколько к самому себе. Какая-то упорная, несгибаемая двужильность звала его душу к светлому торжеству нового дня, будто он сулил ему что-то необычное, то самое заветное, о чем когда-то так много думал... Не заметил, как выползла обжигающая щеку слеза. Кому он жаловался на свою судьбу? "Надо вводить в дело резервы", — сказал себе Степан ту решительную фразу, к которой всегда обращался в самую лихую минуту. Но он тут же передразнил себя: "Какие у тебя, у дурня старого, ишшо резервы? Твоя позиция — нуль целых и нуль десятых". Это была правда, горькая, но правда. "Мой резерв один: умотать к сыну Сереге в Минск. Имею право. Явлюсь-то я со своей пенсией". Но другая, цепкая мысль тотчас одолела первую: "Как же я буду лежать, када покину мир, на чужом минском погосте, вдалеке от своей Аксютки?" Горькая и скупая слеза опять выкатилась на щеку, запуталась в щетине, щекотала кожу. "А ежели был социализм развитой, а теперя — развитая демократия, — то извольте-ка, субчики, мать вас... поправьте мне крышу!" Такой поворот мысли покончил с дорогой к сыну: "Егор не дезертировал с хронту, а я, стало быть, побегу? На радость дубарям-химикам? Да за каво вы меня примаете?" И как-то машинально, совсем о том не думая, Степан откинул крышку материнского сундука, где лежало и Аксиньино, и его добришко, как-то: ее два ношеных старинного фасона сарафана, цвета яичного желтка, отрез на костюм, еще доставшийся по ленд-лизу, присланный союзниками-американцами, заготовки на хорошие хромовые сапоги, два вышитых Аксиньей кисета: один новый, другой замусоленный, захватанный, потертый, побывавший с ним на войне, розовая, с оторванным ухом дочкина кукла. Добришко, однако, не интересовало Степана; расшвыривая его как попало, он запустил руку на самое дно, достал с испода тугой сверточек в пестрой тряпице, выудив из нее все три ордена "Славы", дивясь тому, какие эти награды были чистенькие, прямо как с завода, одно заглядение! "Эге! Да я их ни разу и не надел, собственно говоря. Я тебя, гад, прижму полным бантом "Славы", тебе нечем будет крыть!" — подумал Степан о директоре совхоза Кожухове. Прикрепив к пиджаку ордена, Степан вышел наружу. Уже окончательно рассвело. Ветер почти стих, по продавленной крыше и по сугробам текла подкрашенная зарей, курилась легким дымом метелица. Над безлюдной равниной народился новый день. Над Егоровой и Евдокииной хатами стелились дымки от печек. Степан упорно шагал в Свешнево. В поле было зябко и грустно, похоронно пели телеграфные провода.

В предбаннике директора пришлось проторчать около часа. Секретарша, намалевав губы, сперва было оскалилась: "Лезут тут, Виктор Геннадьевич не может тебя принять", но, увидев звякнувшие ордена, утихла, а через час бросила сквозь зубы: "Заходи, дед, да покороче!" Кожухов нелюдимо, наморщив лоб, взглянул на серого, худого старика.

— Чего хочешь?
— Крыша рухнула. Подсобите, сам я не осилю.
— Ты, дед, откуда?
— Что ж, директор, своих людей не знаете? Из Лопуховки я. Забыли, что ль, как нас в начале зимы выкуривали?
— Тогда все ясно, — сказал, как окончательно решенное, Кожухов. — Ваши хибары — под снос.
— Сперва вам надо спросить наше согласье.
— Земля, дед, — государственная собственность: она не ваша.
— Ну, это вы не рыпайтесь! Я имею право на ремонт... — Степан, смущаясь, поперхнулся, словно просил подаяние, как-то конфузливо распахнув пальтишко. Кожухов молча глядел на ордена. Он жевал толстые, красные губы, обдумывая, как бы поделикатнее выпроводить старика.
— Все это, дед, прекрасно. Рад, что у нас проживают такие герои, но вопрос решен: хаты ваши мы ликвидируем.
С тем, не солоно хлебавши, Степан и покинул его кабинет. В магазин за хлебом он не пошел, приготовившись "к высокому часу своей судьбины", как сказал себе. И с такой мыслью заторопился домой. С низкого неба, из темных брюхатых туч, ползших над самой землею, сыпал снег, в лозняках что-то терлось и мяукало; на опушке Мытного угора стоял старый волк, тоже, как и человек, приготовившийся к своему часу. Они встретились взглядами, и в светлых, бесчувственных глазах зверя Степан... прочитал сочувствие. "Жалеет, что ли, меня?" — мелькнула у него догадка. Но тут же Степан опроверг ее — может ли волк осознать, какие муки гложут человека?
— Уездили, брат, нас с тобою, — пробормотал Степан, испытывая сострадание к зверю; оскальзываясь, топая невпопад, он вспоминал убитых фронтовых товарищей, твердо решив идти к ним и к милой своей старухе-женке.
"Што мне небо коптить? Хотел, баран, "Славою" напужать. Кого нынче такими железками проймешь? Да на вас, на гадов, надо батарею "катюш" ставить! — под гадами Степан разумел Кожухова и ему подобных. — Как вас, собак, много, када ж вы переведетесь?" — Обессилев, он приткнулся под комель старой, наполовину обугленной кладбищенской сосны; безропотно угасала под сумрачным небом даль, отходила от его тела и душа, — или так ему казалось?.. Сжимала сердце обида на детей. "Отца бросили! Да ведь моя ж кровь! Стало быть, сам же я и виноват: каков, говорят, ствол — такие и сучья. А теперя, Ксюша, я к тебе пришел. Заждалася ты меня тама". Степан прогребся по сугробу к занесенной могилке жены. Тихо и скорбно шумели над его головой сосны. Над погостом царствовала тишина вечности — безропотного покоя ушедших жизней. "Скоро, скоро наши души соединятся, милая моя женка". Долго глядел он на белый немой бугор, на водруженный им дубовый крест...
Плохо помнил Степан, как вернулся домой. Посидел, не раздеваясь, в холодной, старой своей хате.
— Ну, что ж, ребяты... — Степан поперхнулся, снял со стены вожжи, вышел наружу, пробился к забитому снегом хлеву. Там стоял нежилой дух. Закинув вожжи на балку, он неторопливо соорудил петлю, на глаз определив ее размер, подумав: ишь, тютелька в тютельку. К его услугам оказался и кряж, на котором он колол дрова, и Степан отметил: "Везет, скажи, мне..." Неторопливо накинув петлю на шею, Степан дернулся прочь, выбив из-под ног кряж, но горло отчего-то не захлестнуло, муки удушения не было, в расслабленной изнеможенности он пхнулся в летошнюю солому; рядом стоял перерубивший топором веревку Егор Егорыч.
— Жить надо, Степан, надо жить, — сказал он простым, будничным голосом, но с братской теплотою. — Вожжи-то попортил: они б тебе сгодилися.
Горло Степана перехватила спазма, из глаз хлынули слезы: то было страдание, уже возвращающее его к жизни.
Они вошли в Степанову хату. Окошки были, как мохнатыми занавесками, схвачены пышной изморозью, и по полу ходил ледяной сквозняк. Кошка, свернувшись клубком, мурлыкала на загнетке. Жизнь, однако, продолжалась — это Степан определил по звуку шастающего туда-сюда маятнику ходиков. Сюда же, почуяв неладное, поспешила и Евдокия: что-то подсказало ей — Степан был на краю беды. Обо всем старуха догадалась, едва только вошла в хату, и сразу же обратилась с молитвою к Богу, чтобы Он своею милостью и благодатью подсобил бы падшему духом и ослабшему. Старые мужики молча сидели, не мешая ей

молиться. Когда Евдокия кончила молитву, Степан рассказал, сухо и коротко, о разговоре с директором.

— Крышу чинить отказался наотрез. Заявил: хаты наши весной пойдуть под снос.

Егор Егорыч выдвинул такой план:

— Кликну Серегу Глушкина, как-никак родня моей женке, а он позовет товарищев. Игнат Симукин, уверен, тоже не откажеть. А этих собак — шибайщиков — ни в коем разе звать нельзя: обдеруть до костей, затребуютъ ящик водки. Я их знаю: из пятерых нет ни одного с совестью.

Егор Егорыч в предвидении не ошибся: на другой день из Мытного угора мужики приволокли добротные хлысты. Подсоблять подымать крышу, чего никак не ожидал Степан, явились пятеро свешневских мужиков, предводительствуемых Игнатом Симукиным. Игнат был мужик громадной силы, сидел на хлыстах гора горою, кроме того, с такой иерихонской глоткой, которую всегда слыхать было за две версты. Какой только грязи ни лили на этого безотказного мужика: что он, не моргнувши, к примеру, может стать человеку на одну ногу, взять за другую и натуральным образом разодрать его на две половинки, притом ничуть не терзаясь, и указывали на такое его действие с добавкою: "Сам я, к сожаленью, не видал, мне рассказывал тот-то и тот-то, ну, а тот-то, понятно, видел воочию, даже божился", — как при такой эмоциональной окраске не поверить? Так и городят поклепы на Симукина, за свою жизнь не разодравшего не только человека, но даже куренка, потому что когда случалось эту живность забивать, то Игнат неприменно призывал к такому действу жену, которая, ухватив топор, тут же отхватывала петуху голову, по поводу чего Игнат замечал: "Сильна баба!" К мужикам было пристроился Федька Гнутый, никогда не державший в руках топора: "Какой ишо вопрос, подсобим, мы, брат, при развитом-то не такие сооружения возводили!", но его отшили, ибо с него — как с козла молока. Племяш Евдокии Александр тоже живо отозвался подсобить; дело столковали всего на двух бутылках, — после сидения на ледяном ветру на верхотуре как не разогнать кровь русскому человеку? Работа пошла весьма ходко, тем более что хитрости в ней никакой не было: к обеду уже поставили новые стропила. У Егора Егорыча под навесом лежали доски, их доставили сюда, и как раз хватило на крышу. К вечеру, когда засумеречило и на небе забелели звезды, крыша была готова. Степан затопил печку. В утробе загудел огонь, запотели окошки, жилье старого воина наполнилось живым духом, даже повеяло отрадою на каждого сидящего за столом, ибо восседали за ним все крестьяне.

— Спасибо вам, братцы, а то я уж вовсе отчаялся, — Степан вышел их проводить.

Ветер, повернувший с юга, нес оттепель, — время поворачивало на весну.

— Последняя, видать, зимушка у нашей Лопуховки, — Евдокия, расчувствовавшись, не удержала слезу, она медленно ползла по щеке.

— Тю, баба! Крышу-то вона Степану возвели! — подбодрил Егор Егорыч, с радостью вдыхая дух овеянного оттепелью вишенника.

XI

Дождались-таки весны-гулены, думали, что и конца не будет метелям да мозглявым оттепелям, когда не знаешь, какая пора на дворе: то ли осень, то ли зима... Это раньше бывало, что марец откусит палец, а ныне с середины месяца повернуло на явное тепло. С раннего утра до полдня над полями дрогли, курились мглистые туманы, съедавшие пуховики снегов, засверкала в промоинах, в вешней водице небесная ширь, засинели колкие, пахучие утренники, пошли гулять по пустым пажитям сквозняки. День прибавился, слава Богу, — теперь Евдокия управлялась по хозяйству засветло. Теперь-то можно свободно обходиться и без огня. Волки тоже ушли в леса, лишь изредка наведывалась косуля, не боявшаяся брать еду из старухиных рук, — зимой она отпрянывала в угол, дичилась.

В такую пору к Евдокии явилась микулинская старуха Прасковья Ивлева с пожитками, умещавшимися в корзине. Старуха была худая, телогрейка висела на ней, как на колу, резиновые сапоги громко хлопали на ее тощих ногах; была она истовая, деятельная, привыкла к своему огороду, к хозяйствишку, — и вот все ее добро занялось огнем, за один час выгорело дотла, до "хундамента", как она выразилась.

— Да кому помешала твоя хата?

— Знаю — кому! — зловещим голосом выговорила Прасковья. Тую собаку я знаю ужо точно. Ну, что ж, как гритца, око за око. То же самое будет и с егоным двором. Не сойти мне с энтого места!

— Ты погоди-ка, — испугалась ее злобы Евдокия. — Ты таких слов не говори. Не в нашей власти наказывать. Может, какой пьяный окурок бросил? Ты сама-то где была в то время?

— В Свешневе, в магазин ходила. Воротилась — одне головешки. Тут дело рук змея подколодного Семена Хрюпина. Его рук дело!

— Да с чего ему тебя жечь?

— Не знаешь — с чего? Оттого, что злодей. Он, собака, еще летось грозился сжечь меня. Потому что его, вора, на комбикорме застукала. Вот он мне и выместил.

— Да мало ль какой шум бывает? Что ж мстить-то? Негоже это, Прасковья! Бог накажет!

— А иде он был, Бог, чего попустил сжечь мою хату?

Речь ее была столь угнетающе-страшная, что у Евдокии потемнело в глазах. И еще было страшнее: такую злобу, вместо душевного очищения, она таила в наступившие Великопостные дни! Ивлева доконала ее вовсе, потребовав:

— Дай-ка мне, Дуня, сала пожрать. Давно я яво не трескала.

— Какое сало — в Великий-то пост?!

— Постись, коли ума нету, а мы, чай, грамоту энту понимаем. Усё энто, Евдокия, блажь. Над нами ни хрена никакой власти нету. Про то по телевизору говорють. Раз живешь, раз, опять же, помирашь. А выпить, подруга, у тебя нема?

— Да ты, я вижу, уж не с сатаною ли подружилась?

От пустой похлебки, которой Евдокия ее угостила, Ивлева скосоротилась, стала ее высмеивать:

— Зачем, собственно гря, живешь? Усе тама будем — в Ольховом логу. А смачно поись да выпить — тут, Дунька, политика... как она?.. Во — демо... демо... во — кратическая! Слыхала тактику?— Выманив из кубла Евдокии кусмень сала, она тут же половину уплела, пояснив еще раз: — Усе тама будем.

У Евдокии она жила два дня, вела речи о том, что об земле нынче горюют одни ненормальные, что наступили иные времена...

Ушла она под вечер, а ночью, ближе к рассвету, Евдокия в полудреме взглянула на окошко и едва не вскрикнула от ужаса: там дрожал, играл бликами отсвет недалекого пожарища. Как была, в ночной рубахе и босая, Евдокия выбежала на крыльцо. Так и есть: горел — тут она не ошибалась — хрюпинский дом, огонь полыхал у самого лога, с правого бока Свешневской околицы...

XII

Как-то, не глядя на распутицу, явились двое: длинный, узкий, в каком-то черном смокинге, со смоляной бородкой, вьюноша не вьюноша, мужик не мужик, что-то среднее, и с ним задастая джинсовая девка, раскислая от помад и химии, развязная, не выпускавшая из полыхающих крашеных губ сигарету.

— Мы, бабуся, из музея. Иконку не продадите? — борадач прицелился холодным, изучающим, черным, как ночь, глазом на икону Божьей Матери, определив, что адрес им указали верный, — икона была, в том он не сомневался, семнадцатого века.

Евдокия так и отпрянула от него: свят, свят, да виданное ли дело — продавать икону?! Несмотря на все свое миролюбие и доброту, она пришла в негодование:

— Да как ты, басурман этакий, дьявольское семя, могёшь такую похабность молоть? Где это видано, чтобы святой образ Пречистой продавали за деньги? У тебя должен отсохнуть язык!

Девка закатилась смехом, цинично-бесцеремонно разглядывая допотопную старуху.

— Ты что, бабка, с луны свалилась? — при этом она возмущенно потрясла головой. — Икона — тот же товар.

— Тебе за такую речь, чай, отплотится.

— Правильно. Разделяю, бабка, твое возмущение, — кивнул напарник девицы, смекнув, что икону можно было выцагнить задарма. — Действительно, я про

это слышал: икону продавать кощунственно, и мы надеемся, что ты нам... то есть, конечно же, не нам, а музею подаришь бесплатно.

— А этого не хоша? — На пороге возник Степан, показавший бородачу кукиш.

— Выражайся, дед, вежливее, надо знать, с кем разговариваешь. Что вообще за хамство?! — ощерилась девица.

— Я тебе счас такую вежливость покажу, что живо выкатишься со своим другом-хитрованом!

— Любезный дед, мы люди деликатные, не будем обострять, — проговорил примиряюще бородач.

Сюда, на помощь, поспешал и Егор Егорыч. Узнав, в чем дело, он потребовал:

— А ну — покажьте документ!

— А ты, собственно говоря, кто такой? Почему я должен его тебе показывать? — взял на горло бородач.

— Давай докумeнт! — насел и Степан.

— А-а-а, что с этими отбросами говорить! — девица, крутнув круглым задом, засмунила джинсовыми ляжками, зашмыгала к порогу.

— Так, приступ отбили, молодцами, ребята! — похвалил Степан. — Шастають, гады, псы безродные. Какая ж их земля вскормила?

— Наша, брат, русская, — Егор Егорыч присовокупил непечатное словцо. — Соков в ней много, она, землица, кажной твари — мать родная, даже и тем, кто ею кормится и ее же лаит. Великий наш писатель Хведор Михалысь Достоевский крепко сказал: мы для всего мира, стало быть, открытые, всех готовы накормить, кров предоставить, всем пожертвовать. И вот докормили, допритавляли, сто сами ж осталися с голым задом, у самих-то крыша дырявая, сапоги худые, жратвы нету, земля в упадок пришла, одне бурьяны... да иудеи насяльники. Вона куды выскосила наша широта да жертвенность!

— У дающего да не убудет, — возразила Евдокия.

— Когда б не убыло-то! А то ить, верно, нищие, — вздохнул и Степан, полностью разделяя мысль Егора Егорыча.

XIII

Не было дня, чтоб ни вскипала брехва в Свешневе. В семьях царил разлад. Не одни молодые — старухи от утра до ночи чесали языки про разную суетную блажь, осуждая друг друга. Наведываясь в магазин, проходя мимо злоязычниц на скамейках, Евдокия их усовестивала: “Креста на вас нету! Будете кипеть в геенне огненной!” Но закаленные в брехве старухи не боялись не только геенны, но и самого дьявола.

К Евдокии все чаще являлись обиженные судьбою, обозленные люди. Еще до того, как тронулся снег, жил у нее старик Хомутов из Макеева. Хату он свою продал.

— Куды ж ты теперь? — спросила она у него.

— Бродяжничать.

— А угол свой? Он-то как же? А земля?!

— Земля! — сразил ее своим восклицаньем Хомутов. — Чтоб ее черт нюхал! Пропади она! На моей земле... вона — фермеры!

— Старый балбес, дубина безродная! — кричала ему в спину Евдокия.

Егор Егорыч, тяжело оперишись о костыль, молча глядел вслед Хомутову, а когда тот скрылся за одичалыми садами, проговорил беспомощно:

— Плетью-то обуха, видно, не перешибешь.

Земля осталась сиротской. Перерождались мужички. Про такого лоботряса и пройдоху, как Федька Гнутый, нечего было и говорить, но теряли связь с землею еще в недавнем времени истовые.

— Мы, брат, грамотные, — тоном человека, знающего себе цену, бросал Федька Гнутый, — в Конституции вона записано: город сравнян с деревней. А раз сравнян, то предоставь нам, сельскому пролетарьяту, все как положено. Всякий хрукт, а также прочее довольствие. Мы, брат, прессу изучаем.

— Насобачились, дубари несчастные! — Егор Егорыч тут же обругал и себя: разве ж Нюшки с Гнутыми виноваты, хотя они и лодыри отменные? “Тутка глубже надо копать. Отучивать мужичков от земли начали давно”.

— Кляни не кляни, да коли б один Гнутый такие побаски рассказывал!

Раньше б ему пасть живо заткнули сами мужики, а ныне гогочут. Стало быть, по душе речи. Вот что страшно! — говорил Степан.

...Евдокия хозяйничала в огороде: ветры да ледяные зимние бури повалили в трех местах плетень, похилили набок хлев, пообшарпали вишенник. Как славно дышала земля! Животворящие эти запахи придали бодрости и энергии. Евдокия любила разговаривать с землей, уверенная в том, что та понимала ее речь. В таком бдении на своих сотках, в огороде, в саду Евдокия испытывала полное счастье. И именно такой первый выход на огород по весне всегда был для нее как праздник. Левый угол огорода она пустила под клубнику. Нарочно в зиму не обрывала желтые, сухие листья, чтобы получше укрыть от холодов корни. По приметам, как определила Евдокия, год должен выйти плодоносным, ягодным, если только не потравит проклятая химия. Два дня, не разгибая спины, она резала усы, обрывала сухие листья, взрыхляла около корней землю, заливая ее навозной жижей. От клубники старуха перешла на свекольные и луковичные гряды. Земля лежала мягкая, податливая, ею ухоженная, — на своем огороде Евдокия знала каждую пядь. Тут же, меж крыжовниковых низеньких кустов, у нее был разбит помидорник, — все, кто заходил, дивились красотище: краснеющие, по два кулака, упругие плоды не походили на худосочные, хлипкие томаты из овощного парникового совхоза, взращенные по всей последней агрономической науке: надкуси — и брызнет фонтан кислятины. Три широких гряды Евдокия решила пустить нынче под огурцы, — летось она тут высеивала фасоль. Уже который год окрестное население сидело без огурчиков, какие там нежные-нежинские, не выскакивали даже коряевенькие, с кривой мизинец, — потому и кидались бабы, как полоумные, в сельмаг, когда завозили огурцы. Но у Евдокии всегда, даже в неурожайный год, пусть поплоше, но огурцы родились, и она умела мастерски их засаливать — покупные опять же не шли ни в какое сравненье. Хрумкни огурчик Евдокии, — пойдет аромат на все помещение. А репа, а хрен, разбивший целую плантацию под кленом!.. Осенью над всей этой благодатью завешивали золотые солнценосные головы подсолнухи. Умела Евдокия взращивать и тыквы с добрый бочонок размером, — полосатые красавицы, презирая грядную мелкоту, в пору созревания лежали на бороздах истинными великанами. Даже сам директор Кожухов, зашедший как-то в конце лета выпить воды, подивился старухиному огороду.

Евдокия стаскивала в кучи и поджигала летошнюю ботву и траву;и горький дымок, стоявший над огородом, был мил и приятен ей. Ничего в свете не могло сравниться с отрадою: стоять в такой вот погожий день посреди своего огорода, вдыхать этот дымок и чувствовать, как тихо отходит от всякой смуты твоя душа. Не было для нее в свете выше такого счастья! Тут Евдокия услыхала возбужденный голос Егора Егорыча. По переулку к ее двору шествовала целая фаланга чисто одетых начальников. Не столько по обрывкам слов, сколько по взъерошенному виду Егора Егорыча Евдокия определила, что предстоит схватка: недаром же они направлялись к ней! Сзади группы, налегая на костыль, поспешал Степан. Одна нога Степана была в кирзовом сапоге, а другая в калоше, и она хлюпала и соскакивала, но он, однако, не замечал этого неудобства, — и такая деталь не укрылась от глаз Евдокии. Значит, Степану было не до обувки. Кавалькада начальников остановилась около низенького, вросшего в землю крыльца. Евдокия, стыдясь своего вида, выпростав изваленный в земле подол сарафана, заспешила из огорода к ним.

— Вона, кума, полюбуйся: явились голубсики гнать нас со своей земли! — крикнул Егор Егорыч как-то по-петушиному, с надрывом, точно ему наступили на любимую мазоль.

Кроме своих начальников — директора Кожухова; предсельсовета Декова, укормленного дяди с лицом, указывающим на то, что человек этот был в дружбе с бутылкой, за что и потерпел жизненное фиаско — был с треском выперт с должности директора совхоза и уплатил по суду штраф за павших телят; председателя профкома Гулькиной, раскислой от безделья и сплетен бабы, — кроме них нагрянули еще трое. Один был довольно тучный, каменно-спокойный, как живая статуя, с сытеньким загривком, азиатского вида, — директор химзавода Амосов, другой — вертлявый, смуглый, бойкий, — главный инженер Вельтман, третий — начальник сельхозуправления Комаров, похожий на огромную дрожжеватую квашню. Такого обилия руководящих двор Евдокии никогда не видел. Подобное нашествие начальников знаменовало какой-то коренной поворот не только в ихней, трехдушной жизни, но и в окончательной судьбе Лопуховки.

— Вы неверно трактуете факт, — поправил Егора Егорыча Амосов, — мы явились не гнать, а предложить вам переехать, притом без затяжки, на центральную усадьбу. Что здесь плохого?

— Разумеется, мы печемся о вашем же благе, — прибавил главный инженер, — вам предоставлены благоустроенные квартиры.

— Уж спасибо, мы как-нито обойдемся, — решительно отрубил Егор Егорыч.

— Мы из своих хат не уйдем! — от имени всех троих жителей заявил Степан.

— Знаем мы ваши благи! — кивнула Евдокия. — За две версты бегать на огород да в хлевы.

— Вам что — нравится из магазина за три километра сумки таскать? — спросил сдержанно Кожухов.

— Видно, нравится, — услужливо поддакнула Гулькина.

— А это мы с тебя да с выкормуша предсельсовета Декова должны спросить — чего нам в Лопуховку не возите хлеб? — дал сдачи Степан.

— Разговаривай, дед, корректно, — посоветовал с угрозой Комаров, заметно осмелевший после опубликованного указа о привлечении за оскорбительный разговор с должностными лицами.

Степан усмехнулся:

— А как же демократия?

— Земля, на которой вы проживаете, решением сельхозуправления передана под постройку нового аммиака, — сказал, теряя терпение, Амосов. — Вы, собственно, на ней уже сидите беззаконно, и в случае чего — мы можем обратиться в милицию.

— Как? Земля наших дедов уже для нас заказана?! — вскричала Евдокия, уставясь на холеного Амосова.

— Не шуми, бабка, — мы ставим вопрос полюбовно, — сказал Кожухов, — я думаю — до милиции дело не дойдет? Не хотелось бы.

— Вы нас не припугивайте! Мы не из пугливых, — бросил затравленно Степан. — Хрен вам в зубы! Тольки через наши трупы. Без бою мы позицию не отдадим.

— Да ты что, дед, вообще-то себе позволяешь? — округлила от возмущения глаза Гулькина.

— Сто, видать, давно под мужиком не лежала? — остепенил деятельницу Егор Егорыч. — Все, мать, "постишься"? Совсем прокисла!

— Замолчи сейчас же, хам! — взвизгнула Гулькина; она всегда, когда ей наступали на хвост, взвизгивала.

— Филиппенков, выражайся в рамках корректности, — заметил Комаров, выразительно шевеля усами.

— Вот выписка из решения управления о передаче данного земельного участка под застройку аммиака, — Деков выудил из красивой папки лист.

— Возьми в тувалет свою бумажонку, — заявила Евдокия. — Нету такого ноне закону, чтоб разорять деревеньки! Дайте нам государственный указ.

— Завтра, бабуся, Верховный Совет обнародует такой указ, — съязвил главный инженер, закатившись при этом смешком и понимающе переглянувшись с Комаровым.

— Как бы ты завтра сам не окочерыжился от своей химии! — дал ему сдачи Степан. — Еще, выходит, мало землицу потравили? До конца, до мертвого праху, хочете? Молодцы, ребята!

— Мы вас предупредили, — сказал Кожухов. — Последний срок — через десять дней. Имейте в виду: квартиры у меня на счету. Их может вообще не оказаться. Вы еще шустрые — третий этаж вам не страшен.

— Царица небесная! — взмахнула руками Евдокия. — Как же мы будем туды лазить, на этаку верхотуру?

— Крестьяне — народ закаленный, он и не то выдерживал, — подбросил язвительную реплику главный инженер Вельтман.

Егор Егорыч подмигнул Амосову:

— Мы уже лусьше с товарищами дилехтором да бойким главным инженером махнемся. Мы въедем в ихние котежи, а вам всусим квартеры в энтих желтых коробках, на третьем этаже.

— Юмор любишь, дед? Ну-ну! — сказал с угрозой Комаров. — Через десять дней не очистите — погоним бульдозеры. Это — последнее предупреждение!

XIV

Срок близился. Заступила Страстная неделя, близилась и Пасха — самый светлый для Евдокии день. Хотела выбраться причаститься, очистить душу пред Господом, но автобусы из-за прохудившейся дороги в Гурьевск не ходили, а до Ивунинской церквушки пятнадцать с лишком километров — по распутице не добраться.

Сырым, дождливым днем явилась к Евдокии Ивлева Прасковья. Старуха выглядела какой-то скрюченной, будто ее помяли зубья молотилки, и она то и дело паралично заматывала головою. С нею — Евдокия это видела — произошла разительная перемена, и за столь короткий срок! Евдокия ахнула в душе и горько заплакала. Она всегда плакала по чужому горю больше, чем по своему. Мстительная злоба, которая недавно клокотала в сердце Прасковьи, сменилась слезливой беспомощностью. Евдокия не напомнила ей о зле, которое она причинила, о том, что Семен Хрюпин, судя по всему, не поджигал ее хаты, — такие суждения она слыхала в Свешневе. Сама Прасковья знала про все, что случилось после того, как она сожгла двор Хрюпина. Сказать по правде, она не ожидала, что так получится. Ее вдруг охватил страх. Старуха и сама не знала, чего она боялась... У брата в Ярцеве она не прижилась — тот ее выпер. Прасковья не стала его упрашивать. Поведав Евдокии, как ее выгнал брат, она заключила:

— Ныне кажный живеть для себя. Я на Федю не в обиде.

Да она и ни на кого теперь не была в обиде. Евдокия приютила ее, как родную. "Живи", — сказала она ей.

А дни шли... Тяжелый срок неумолимо приближался. Егор Егорыч, ходивший на центральную усадьбу, там все вызнал, вернулся чернее осенней ночи; Евдокия ладила топором тын. Егор Егорыч едко высмеял ее:

— Кому стараешься, кума? Псу под хвост: во вторник жди гостей! Нагрянуть, стоб им сто сертей в песёнку, сгонять нас! Слыхал: приказ проведен, стало быть, по инстанциям. Дело, ребяты, швах: сила солому ломить.

— Ты погоди-ка! — у Евдокии вывалился из рук топор. — Не дозволють!

— Химия, кума, — царица нонешней жизни, стоб ей, собаке, ни дна и ни покрышки!

Сюда же поспешал и Степан.

— Хана нашей Лопуховке! — сказал ему Егор Егорыч; почувствовав бессилие, он опустился на кряж.

— Да ты говори толком! — потребовал Степан.

— Во вторник явются подлые с бульдозером.

— Такого права нет!

— Права! — усмехнулся Егор Егорыч. — Или ты не знаешь, как энто право спроворили химики в Ставкове? Сход постановил не трогать, а их послухали? Сила солому, говорю, ломить: дело, ребяты, дохлое!

— Запел Лазаря! Подымем обчественность.

— Кого? Федьку Гнутого со своими пропойцами подымешь? Или, можа, Нюшку Голянкину? Какая у нас обсественность?

— Гнутый да Нюшка — шваль, отбросы обчества. Есть же люди.

— Люди! Ох, Степан, ты прямо как малое дитя: нешто не видишь, какой кругом народ?

— Ты, Егор, народ не хули, — возразила Евдокия, — крышу-то Степану не родня покрыла — чужие. Тутка не об том речь. Пущай нас вяжуть, а так, по-доброму, мы с дворов не стронемся.

— Правильно! Займем позицию.

— Сто ж... вырабатываем льтернативу... — сказал Егор Егорыч, свертывая козью ножку. — Во вторник ты, Степан, привинсивай на пинжак "Славу" — все три степеня. Пущай знають, падлы, ково идуть гнать с родной земли! Надо б корреспондента кликнуть.

— Кликни! Как будто у нас с тобой связя! — пожурил его Степан. — Готовьте колья.

Евдокия перекрестилась:

— Спаси, Господь!

— Рукопашной не миновать, — заявил и Егор Егорыч.

XV

Не миновали, — это они предсказали верно. Во вторник, когда Евдокия только что отстряпалась и закрыла вьюшкой трубу, вскочил, не похожий на себя, взъерепененный, в калошах на босу ногу Егор Егорыч, крикнув фистулой:

— Припожаловали, мракобесы!

Евдокия кинулась к окошку: так и есть — со стороны Свешнева въезжал бульдозер, за ним — два грузовика, завершали два "уазика" с руководящими.

— Святители-великомученики! — она, суетясь, торопливо сняла икону Божьей Матери.

Егор Егорыч крикнул запальчиво:

— Ты их энтим хрен проймешь! Бери, кума, дубину. Вона Степка, молодец, прихватил ружье.

Они суетливо вышли на крыльцо. Степан, помахивая ружьем, в воинственной позе остановился около евдокииной калитки.

— Займайте круговую оборону! — сказал он по-военному веско, видимо, и в самом деле решившись сражаться не на живот, а на смерть. — Тольки через наши трупы!

Евдокия, сморгая великими ей резиновыми сапогами, держа в вытянутых руках икону, пошла с молитвою вокруг своего двора. Егор Егорыч вооружился заготовленным еще с вечера колом.

Бульдозер, поревывая мотором на ямах, а за ним грузовики с "уазами" приближались к евдокииной обители — она на пути стояла первой. Ревущая машина, угрожающе поводя хоботом со стальными пальцами, уткнулась в самый забор. Егор Егорыч и Степан, за ними с иконой Евдокия стали перед грохочущей махиной.

— А ну, вертай назад! — крикнул Степан, нацелив ружье на высунувшегося из кабинки водителя. — Не то башку продырявлю.

— Я имею приказ, мое дело малое, — парень, косясь на ружье, оглянулся на остановившийся "уазик". Из него с возмущением на лицах вышли Кожухов, директор химзавода Амосов и главный инженер.

— Лошаков, не валяй дурака! — прокричал Кожухов. — Ты нам ответишь за ружье. Есть решение, — он вынул из кармана лист, — вот: здесь сказано, что территорию Лопуховки, Микулина и Полибина отводят под строительство крайне необходимого народному хозяйству объекта. Собственно говоря, во всех трех пунктах никаких деревень нет. Не назовешь же деревней ваши три хаты? Так что грузите без волынки пожитки, машины — вот они, подогнаны. В противном случае будете нанимать машины за свой счет. Вам же выгоднее переехать бесплатно. Бензин кусается.

— Какая заботливость! — срезал его Степан.

— Лошаков, брось дурить! — побагровел Кожухов.

— А он не спятил? Можно отправить полечиться, — выговорил зловеще Амосов.

— Вам не дадено право сгонять нас со своей земли! Вы тутка не разоряйтесь, — ринулась на защиту Евдокия.

— Вот оно — наше право! — Кожухов опять потряс листом.

— Что за спор? Разве нельзя договориться по-человечески? Привыкли начальнички к хамскому обращению с простыми людьми, — из остановившегося второго "уазика" вылез плотный, гладко бритый молодой дядя — глава районной администрации, и как-то по-свойски, по-панибратски заподмигивал стоявшим "на позиции" жителям. — Они все поймут, если без угроз. Причем здесь лечение, Амосов? Вы эти штучки — насчет психиатричек — бросьте. Не знаете, что теперь в стране царит демократия? Я сам выходец из крестьян. Знаю, что такое, так сказать, укропчик под окошком. Как вы разговариваете с кавалером трех степеней "Славы"? Это, товарищи, позор! Заелись, понимаете! Но, с другой стороны, милые вы мои жители Лопуховки, — власть тоже следует уважать. Она все-таки ваша.

— Мы энтих выкормышей на должностя не ставили. А станет вопрос на выборах — голоснем против, — не очень-то восторгаясь речью высокого начальника, сказал Степан. — Неперспективные деревни нонече не дают рушить. Вам крылы подрезали. Мы знаем постановления!

— Полностью разделяю ваше замечание, но завод — он тоже, папаша, для вас же. Без удобрений — поле пусто.

— Посадите его себе в штаны! — бросил Егор Егорыч. — Ишо мало потравили земли? Приезжай к нам летом — запах землицы не почуешь: в нос шибаеть одна химия.

— Да что с ними, товарищ Конин, говорить, — главный инженер свирепо уставился на Степана. — Брось, старый хрен, ружье!

— Я те брошу! Сунься-ка! — посулил Степан.

— Вы обязаны подчиниться властям, — теряя терпение, сказал Кожухов. — В конце концов, должны вы соображать: куда вас гонят? В квартиры со всеми удобствами, притом — на центральную усадьбу!

— Знаем мы ваши квартеры, — обронила Евдокия.

А по дороге, им в помощь, уже поспешали микулинские и полибинские старухи; и два старика, вооруженные один — чепелой, другой — дрекольем; у микулинской Дарьи Щупловой в руке был тонкий сыромятный кнут, с которым она выгоняла в поле скотину.

— Дадим прикурить! — крикнула Дарья, занимая позицию.

— Пройди-ка скрозь нас! — полибинский старик выставил чепелу, как пику, так что Кожухов, сунувшийся было на этот фланг, отпрянул назад.

— Еще раз заявляю: прекратите самоуправство! — крикнул Кожухов.

— Как решит сход — так и будет! — заявил старик с чепелой. — Про квартеры вы, Кожухов, натурально брешете. Я сам вчерась видел ваш "рай", какой вы нам уготовили: в желтом домине — Бухенвальде люди мерзнут, отопление там на честном слове, воды в кранах нету, а в колодцах — не вода, а помои. Огороды в поле, черт-те где. Загнать нас хочете на третий и четвертый етажи, а лестницы там такие крутые, что ежели грохнешься наверху, то будет каюк, покеда до низу скатишься, то и дух из тебя вон. Плосковская старуха недавно обе ноги переломала. Себе-то ты, Кожухов, отгрохал котеж, кирпич к кирпичику со всею сантехникой, а нас хочешь сгноить в этакой срамоте. Ну, а мы, представь, не те Ваньки да Маньки, чтоб ты мог на нас в рай ехать, — нонече мы слыхали про демократию. Ну, а раз демократия, то лезь сам со своей ухоленной телкой в Бухенвальд. Да один ли ты, Кожухов, такой, — вы все, начальники, живете в котежах. Ну и хрен вам в зубы, силой вы нас не возьмете!

Из-за "уазика" показался милицейский плотненький туз, но глава администрации дал ему знак — и тот живо ретировался в машину и больше уже оттуда не высовывался. В это время показалась новая подмога: из автобуса, остановившегося около "уазов" начальников, стали выскакивать, как горох из мешка, активисты общества "Возрождение деревни", только что созданного его предводителем, инвалидом войны на деревяшке, в помощницах у него состояла молоденькая учительница из сельской школы. Эта помощница была сущая пигалица, обсыпанная, кроме того, веснушками, отчего лицо ее напоминало сорочье яйцо, и будто на нем толкли коноплю. Юное лицо энтузиастки дышало наивной верой в то, что справедливость непременно восторжествует, как бы ее не зажимали бюрократы и всякие захребетники, сидящие на мужицком хлебе. Энтузиастка, как и ее предводитель — инвалид Федор Серафимович Красножупанников, любила почти приконченную деревню и готова была идти на самопожертвование, лишь бы ее возродить. На месте же села, откуда был родом Красножупанников, располагался танкодром, как он сам выражался: "Распяли родительскую земельку, под гусеницами стоном стонет". Актив, вытряхнувшийся из автобуса, состоял из учащихся школ и сельхозтехникума. Ребята весьма проворно выбросили полотнище: "Руки прочь от Лопуховки, Микулина и Полибина!" Активисты вытянулись в цепочку вдоль евдокииного тына.

— Вас кто сюда звал? Какого черта привезли учащихся? — накинулся на Красножупанникова главный инженер. — Вы что себе позволяете?!

Инвалид, закаленный в сражениях за правду, колюче смерив его глазами, ткнул железной ногою (словно нечаянно) в лакированный ботинок того, зычно заговорил:

— Отравителям шибко нравится это место, им оно во всех смыслах подходит. Судите, товарищи, сами: глубокий овраг тянется от Микулина сюда, до Лопуховки, на дне хорошая водная артерия — речка пяти метров шириною, а она, как вы знаете, в двух верстах впадает в Днепр. Так что дураку и тому ясно: удобно сплавлять сюда всякую дрянь, отраву — скрыто будет от глаз. На месте ваших садов и жилищ вырастет мракобесина, именуемый спасителем наших полей, — на самом же деле — отравитель химзавод, и тогда будет крышка не только трем едва дышащим деревенькам, почернеют леса, обуглятся живописные овраги, — и

останутся в выигрыше начальники. Им, товарищи, пойдут крупные навары по части премиальных, они получат возможность понастроить себе еще новых котежей, понятно, на десятиверстном расстоянии, в сосновом Сивцовом бору, — они уже разбили там себе участки.

— До каких пор, товарищи, вы будете рабски молчать? До каких пор мы, русские, будем молчать? — крикнула звонким голосишком учительница, выждав паузу в речи Красножупанникова.

— Не сойдем со своих углов! — заявил Степан.

— Костьми лягем, серт бы их побрал! — воинственно крикнул Егор Егорыч.

— Мало вы еще, дураки, сидели без света? — вышел из себя Кожухов. — Мало вам вашей дикости?

— А это они, Кожухов, должны на вас подать в суд за то, что вы их лишили света, — дал ему сдачи Красножупанников. — Мы видели на столбу обрезанные провода.

— Я не давал такого указания. Они сами всю зиму сидели без огня. Это их личное дело, — заявил Кожухов.

— Правильно. Сидели впотьмах по доброй воле, а отключать лектричество, лишать нас свету, ежели б мы захотели им воспользоваться, — вы, Кожухов, такого права не имели! — громыхнул Степан.

— Ты, дед, точно знаешь, что свет отключили по моему приказу?

— Бросьте вы тутка накручивать, езжайте обратно, бо свои хаты мы не покинем, — с упорством заявила Евдокия.

— Прекращайте галдеж! — вышел из себя Амосов. — Вы обязаны исполнить решение администрации. Семенюк, какого черта, делай то, что тебе приказано, — повернулся он к бульдозеристу.

— Стать цепью, взяться за руки! — скомандовал Красножупанников.

Положение было острое... Семенюк, полезший было в кабину, спрыгнул обратно на землю. Глава администрации, сощурясь, что-то обдумывал, а руководящие смотрели на него. В тишине, хрумкая подошвами по летошнему сухобылью, глава направился к "уазику". Руководящие молча, стадом двинулись за ним.

— Ишь ты... глянь-ка... я-то вона с чепелой, — проговорил полибинский старик, лишь сейчас заметив это орудие в своих руках.

— Приступ, товарищи, кажись, отбили, — сказал Красножупанников, глядя, как один за одним, визжа моторами, выруливали "уазики".

XVI

В Ивунино под Светлое Воскресенье, под Пасху, наладились идти втроем: спозарань к Евдокии явились две свешневские старухи — Матрена Фомкина и Варвара Хотькина, баба громадно большая, с широкой, как стол, спиною, и трубным, мужицким голосом. Наказав Егору Егорычу приглядеть за живностью, Евдокия приперла колом двери, и они вышли на полузаглохшую, с почти заросшими колеями, забытую Фоминскую дорогу. Евдокию удивила Прасковья: она не ожидала, что та отправится вместе с ними. Но когда они поровнялись с ее хатой — дорога лежала через Микулино, — Прасковья, собранная, с узелком в руке, с куличом и крашеными яйцами, вышла им навстречу.

...Как все переменилось! Пройдя с версту, когда с трудом продрались через низину, всю опутанную олешником и лозой, поднялись на изволок, они не узнали местность. Куда это они выскочили?! Кругом, куда ни бросали взгляды, — была незнакомая, дикая глушь. Стоял тихий умиротворяющий шум первой, еще клейкой, пахучей, душистой зелени. Березки, обнизанные полураспущенными листочками, ракиты, лозняки и ивы — все было окутано этой клейкой зеленой благодатью. В воздухе был разлит животворящий дух испарений. Тихое, легкое дуновение колебало едва распустившиеся листочки; но великого гомона птиц, столь яростного в такую пору весеннего обновления, не было слышно: каркали одни вороны. Не первую весну они встречают без птиц. Еще той весной, когда в блеске распахнулся мир и все убралось нежной листвой, как-то под вечер выйдя за двор, в поле, Евдокия вдруг поразилась глубокой немоте, царствующей кругом. То же было и теперь, и только иногда выказывала прыть вертлявая, насмешливая и хитрая сорока, да драла горло ворона; того буйного птичьего хора, какой они

привыкли слышать, не было и в помине. Старые женщины продолжали озираться, по-прежнему не узнавая местности, околдованные до звона в ушах тишиной.

— Глухо-то как! — проговорила Евдокия, приглядываясь то в ту, то в другую сторону.

— Что, это Плосковский бугор? — спросила Варвара, тоже глядя как на все незнакомое.

— Должно, тутка лежало Плосково, — ответила Евдокия.

— Мать честная, а куды ж девалась Фоминская дорога? — Матрена как ни всматривалась, не могла сыскать ее следа.

— Зона, аль не видишь? — едко усмехнулась Варвара. — Словцо-то придумали не без умысла.

— Надо держаться вот туды, — Евдокия указала левее гряды березняка, — должны выйти к Макееву.

Краем поля они спустились опять в низину. В затишке, на солнцегреве, был сильно ощутим едкий запах удобрений, но в низине их овеял дух душистой молодой листвы. Тут царствовали олешник и мелкий ракитник. Передом, как буйволица, неутомимою пехотою перла Варвара. Здесь властвовала благодатная сырь ничем не отравленной земли. Стеной пушились махалки осокорей.

— Тут гдей-то должна быть Серебрянка, — сказала Евдокия. — Давненько я не пила славную водицу!

— Непохоже, чтоб тут текла Серебрянка, — возразила Прасковья, — речка правей, под Громово.

— Оттеда она как раз сюды и выходить.

Лощине, казалось, не виделось конца, а желанной речки все не было, — меж лозняка ржавела лишь заболоченная вода. Однако Евдокия не могла ошибиться, не иностранка же она: стыд и срам — не знать родных окрестностей!

— Нету тут никакой речки, — стояла на своем Прасковья, уже жалея, что пустилась, дурища, в такое нелегкое путешествие.

— Не лотоши, — остановила ее Степанида.

Наконец показались извивы берегов, и их слуха коснулся чистый, ясный звук, напоминавший тюканье множества серебряных молоточков по своим наковаленкам. В потаенной запустелости, под наклоненными космами ивняка жил и продолжал дышать этот удивительный источник. Старухи разгарнули камыши, летошний бурьян и, припав на колени, напились. Прозрачная вода, питаемая донными ключами, была столь душистая и прекрасная, что они долго не могли от нее оторваться.

Евдокия не ошиблась, когда говорила, что здесь находилось Макеево, — действительно, поднявшись на полувзгорье, выворачивая ноги на попорченных плугами улешах и глубоких колчах, бездорожно подошли к былой деревне, от которой остался всего лишь один двор с единственным жителем в нем. Длинный, нескладный старик с полным, однако, спокойствием, как будто и не было такого морового истребления деревень, чинил разваливающееся крыльцо.

— Бог в помощь, — сказала Евдокия. — Жив, Михеич?

— Я-то со светом, а вы, слыхал, зиму куковали впотьмах, — проклокотал гортанным басом старик.

— И то правда, — созналась Евдокия, — неужто, старый, не боишься?

— Я ничего не боюсь. — Ни человека, а зверя и тем паче, бо человек — он злей голодного волка. — Михеич помолчал и спросил с насмешкой: — Вы куды, старухи, претесь?

— Ты лучше, отец, скажи: так прямо к Ивунину мы выйдем? — не отвечая на вопрос, обратилась к нему Евдокия.

— Дороги туды нету. Берите полевее, по просеке на Мисюково. В деревне, кажись, стоит два двора. А от Мисюков — километров семь, а то и с гаком. Держитесь вдоль бывшего большака. Хотя большак заглох, и вы его навряд сыщете. Ивунинская церковь, говорили, держится на честном слове: вряд ли она выдержала недавнюю бурю. Из конхвиденцияльних источников мне известно, что церковь натурально завалилась. Так что, старухи-молодухи, вертайтеся обратно. А то ить тут у нас ноне такие турлы, что можно сгинуть и пропасть, окромя всяких шуток.

— Тебя, Михеич, дети на житье зовуть? — поинтересовалась Евдокия.

— А двор на кого кину?

— Молодец, старый, а то вон кидають на произвол судьбы, — так было отрадно Евдокии слышать его слова!

— Да и жизь-то какая ж: один, как волк, — вздохнула Варвара, когда скрылась из вида крыша его хаты.

— У всех у нас, у старых крестьян, такая жизнь, — ответила Прасковья.

И они надолго замолчали, как бы сосредоточив свое внимание лишь на том, чтобы не оступиться и не провалиться в какую рытвину, не попортить обувку (привычка старых крестьян — поберечь обувь, не думая при том о ногах); так они шли долго по запущенной, разрытой тракторами просеке. Солнце уже поднялось в зенит и припекло совсем по-летнему. Старухи заметно поупарились.

— Малость передохнем, — сказала Евдокия, сворачивая к молоденькому дубку, под сенью которого на душистой травке они и расположились трапезничать.

XVII

В узелке Евдокии, кроме пасхи, кулича и яиц, которые она несла для освящения, была тощая, постная трапеза — бутылка квасу, пара огурцов и несколько картофелин в мундирах. Прасковья прихватила хороший кусмень отваренного сала, но, покосившись на крумкающих огурцы, постящихся товарок, не рискнула вынуть его из узла. Евдокия дала ей картошек, а Варвара грибков.

Над их головами тихо струилось благодатное тепло и журчали, зависнув на крылышках, жаворонки. Евдокия горячо помолилась на восток после трапезы.

— Бог напитал, никто не видал. Двигаемся, подружки, дальше.

Старухи поднялись, придерживаясь просеки, но она вскоре кончилась, посветлело и стало шире и далеко видно, что их, однако, не обрадовало: кругом лежало одичалое безлюдье... Колея заглохшей дороги уткнулась в заросшее бурьяном подворье, о существовании здесь деревни напоминала лишь одна печная труба, немым уродом торчавшая и господствовавшая над местностью.

— Стригуново, что ль? — Варвара, снова шедшая передом, остановилась.

— Должно, оно самое, — ответила Матрена.

Евдокия, сотворив крестное знамение, сокрушенно выговорила:

— Как, скажи, ураган пронесся! А какая деревня была! Сколько тут водилось мастеровщины! И скорняки, и сапожники, про печников я и не говорю: такую красу клали, что ныне нигде не сыщещь! Жестянщики, опять же, а гончарники! Тут где-то поблизости такие славные глины есть — вот они, из той глинки, и делали чудо. Что тебе кувшин, что кружку, что какое блюдо — все выжигали отменно.

— Про здешних гончарников и я слыхала, — подтвердила Матрена. — Велики были мастера, что правда, то правда.

— Однако, бабы, куды ж нам иттить? — спросила озабоченно Варвара, оглядываясь по сторонам: она ничего не узнавала.

— От Стригунова до Ивунина шесть верст, и двигаться, стало быть, нам надо маненько поправее, тут где-то должно быть Милюково, — Евдокия указала рукой на покатое поле, покрытое серыми дерюгами неубранного льна.

Они двинулись, как по насту, по этому зазимовавшему льну.

— Под снегом оставили, балбесы проклятые! — заругалась Варвара. — У, дурачье!

— Что ж тут, молодуха, толковать? — вздохнула Евдокия. — Никому не нужная земля.

— А на трибунах патриоты вон как горло деруть! Складно научились байки плесть, — зло проговорила Прасковья.

Опять потянулись бурые плеши полей, кустарники, овраги, снова горестно шли через какую-то погубленную деревню: от нее уже и печной трубы не осталось, лишь несколько яблонь да старые березы вдоль сельского проулка. Догнивал остаток плетня; к кривому столбу была прибита дощечка, и на ней таращились кривые, краской писанные буквы: "Д. Мартыновка. Почти память!" Намытарившись, дав порядочного крюку, уже в сумерках, сильно упаренные, они наконец-то вышли к Ивунину; увидев торчавший из-за бугра крест церквушки, Евдокия широко перекрестилась:

— Жива, милая!

И так у нее стало светло и радостно на душе! Село тоже хирело, стояло дворов десять, и чувствовалось, что были последние потуги, чтобы выжить. Церковь, ветхая, деревянная, вся на подпорах, в заплатах, вздрагивала даже под легким

ветром, и было удивительно, как она выжила и выдержала бурю на исходе зимы. Вокруг нее толпились люди, веселые, нарядные, укладывали узелки на столе, золотыми крапинками светились зажженные свечки. Чистенький ветхий старичок, батюшка, белый, как лунь, самозабвенно кропил, потряхивал веничком, освящая куличи и яйца. Внутри церквушки, такой же убогой, как и снаружи, на Евдокию повеяло великой умиротворенностью, покоем, праздником, неземной святостью; она чувствовала, как верующая, присутствие Бога и, всхлипнув от нахлынувших чувств, дрожащим, кающимся голосом выговорила:

— Прости, Господи, прегрешения мои!

Она и сама не знала, в чем каялась, но, как каждый живущий, считала, была не без грехов, и теперь, сотворяя молитвы, освобождалась от налипшей житейской корысти, и все светлее и светлее становилось у нее на душе. Горячо, истово молилась и Прасковья: то и дело становилась на колени, и Евдокия слышала, как из самой души она выдыхала:

— Сыми, Господи, с меня подлое злодейство!

"Ослободи от греха ее душу! Господи, умилостиви ее своею благодатью!" — молилась за нее Евдокия.

Те же светлые, хорошие лица были и у Варвары, и у Матрены.

В двенадцать ночи под малиновый звон колоколов пошел крохотный, жалкий крестный ход — понесли иконы и хоругви втроем: батюшка-старичок и два молоденьких отрока. Они подняли пение, им вторили из толпы; тихо потрескивали свечки, колебались от сквозняков огоньки, светились лампадки, и Евдокия не могла сдержать слез от умиления и счастья. А когда в очередной раз выкликнула: "Воистину воскресе!", что-то высокое, дорогое затрепетало в ее душе, будто она вся озарилась светом.

Незаметно, тихо минула великая ночь. По Ивунину вразнобой кричали петухи, когда они вышли обратно. Занимался ясный, очень теплый, совсем летний день, играли, радуя душу, солнечные блики, благодатным покоем дышало небо. Обратный путь им показался легче, короче; они уже не блудили; в бывшем Мартынкове перекусили, разговелись.

— А церквушка не сегодня завтра завалится, — сказала Варвара. — Долго ей, бедняге, не стоять. И Ивунину тоже.

— И нам долго не ходить, — ссыпая в ладонь крошки, отозвалась Матрена. — Всему свой срок.

— Свой-то свой, да ежели б не дурные головы, разве б погибли деревни? — сердито выговорила Варвара.

— Как есть — так и есть, — Евдокия, завязав узелок, поднялась. Пройдя немного, она прибавила: — Живи по Божьей правде — и тогда всего в нас будеть вдоволь.

— А ежели глотки рвут? — спросила насмешливо Варвара.

— Пожалей их, несчастных. Пожалей злого. Другого-то ничего нам не дано. За добро отплатится.

— Откуда ему быть-то, добру? — усомнилась Прасковья. — Када злыдня кругом?

— А все ж надо верить. Надо верить, — упорно повторила Евдокия как заклинание, потому что она считала: без такой веры нельзя было жить на свете. И вновь изумилась пронесшейся над русской землей буре: — Даже после лютой войны, когда торчали одне трубы, и то деревни не заросли чертополохом! Держали корни. Как же оне сумели их выдрать?!

Старые женщины шли молча, думая над ее словами, — они не знали, что ответить.

"...ЗАТО НЕ ССОРИЛИСЬ ПОЭТЫ"

СОВРЕМЕННЫЕ КАВКАЗСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Траурная тень от черного дыма над горящим Грозным легла сегодня не только на белоснежные вершины Кавказа, но и на всю Россию. Трудно, почти невозможно говорить о дружбе, о любви человека к человеку, когда они смотрят друг на друга сквозь прорезь прицела, и каждый оправдывает свой непримиримый враждебный взгляд какой-то высшей целесообразностью, особым долгом перед своей родиной, предстающей в последний миг то ли в скорбном облике рязанской или вологодской матери-крестьянки, то ли в трагическом облике чеченской женщины, потерявшей на истерзанном асфальте в районе площади Минутка своего сына, мужа или брата...

Страшное время. Горькие размышления. Недоумение. Злоба. Ненависть... "Плохо верится в силу добра...", — если говорить провидческими словами великого Николая Некрасова.

Сегодня почти как прекрасный светлый сон вспоминается, что еще каких-то несколько лет назад стихотворение "Журавли" аварца Расула Гамзатова, ставшее песней, разлетелось по всем единым пятнадцати республикам, поддерживая согласное биение сердец почти 300-миллионного народа, воплотилось в бронзу и гранит величественных монументов в честь советских солдат, погибших за великое Отечество, стало вечной мемориальной славой многих российских городов и деревень, как, например, памятник на Соколовой горе в Саратове. И остановит ли сегодня чью-то ожесточенную душу память о том, что взаимоотношения России и Кавказа освящены именами Пушкина, Лермонтова, Толстого, что этими чувствами жила душа Кайсына Кулиева, этими чувствами и сегодня живет поэзия Расула Гамзатова.

Как показывает время, исторические воспоминания сами по себе не предотвращают несчастий на пути народов, не удерживают их от безоглядного повторения героических и кровавых ошибок прошлого. Нужны ежедневные, терпеливые, осмотрительные усилия, нужна взаимотяготеющая добрая воля тех, кто ответствен за судьбу многонационального людского монолита, разбитого скудоумием, а зачастую и прямой враждебностью псевдореформаторов. Нужно искать в прошлом то, что нас объединяет, чтобы соседи по-прежнему встречали друг друга гостеприимной улыбкой, а не направленным в самое сердце смертельным стволом. И литература должна сыграть в этом деле далеко не последнюю роль.

Когда редакция "Нашего современника" начала готовить публикацию стихотворений поэтов из республик Кавказа и их переводчиков, оказалось, что сейчас это сделать не так-то просто: долголетние и взаимообогащающие связи между национальными авторами и русскими переводчиками оказались основательно подорванными, если не навсегда утерянными, и ближайшее будущее не дает оснований надеяться, что полнокровные отношения между литературами будут восстановлены в прежнем объеме или хотя бы на том же качественном уровне. И тем не менее, мне кажется, что эта вот после долгого перерыва поэтическая публикация свидетельствует о том, что русская литература не потеряла интереса к творчеству своих собратьев-горцев, что русская культура и сегодня не считает закрытой, разгромленной дорогу ко всему многоцветию и многообразию культур народов Кавказа.

Трудно в грозное время говорить о любви человека к человеку, а говорить, и не только говорить, но и работать во имя любви нужно, ибо без этой работы не будет будущего, где не свистят пули и не льется кровь, где путник не хватается судорожно за оружие, встречая на своем опасном и непредсказуемом пути другого путника, идущего навстречу. Так давайте сделаем новый доверительный шаг к рукопожатию. Давайте вспомним в год 50-летия нашей общей Победы стихотворение Дмитрия Кедрина "Ночь поземкою частой...",

посвященное Кайсыну Кулиеву, написанное в 1945 году, и глубоко задумаемся над тем, а выдержит ли наша прежняя дружба очередное испытание на излете кровавого, страшного, великого и прекрасного XX века. И после него...

И еще об одном, очень важном. В 1995 году исполняется 100 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Но он был не просто и не только русским, он был поэтом всей многонациональной России. И как бы ни клеветали на него русофобы разных времен и поколений, каким бы "националистом и шовинистом" ни выставляли его борзописцы двадцатых и нынешних, девяностых, подхватившие ту же гнусную эстафету, Сергей Есенин навсегда останется человеком широкой русской души, принимающей в себя все лучшее, что было, есть и будет в душе народов и племен великой России. Недаром он завещал нам в поистине пророческом стихотворении "Поэтам Грузии":

Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты...

Исхак МАШБАШ,
сопредседатель правления Союза писателей России.

ДМИТРИЙ КЕДРИН

* * *

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе. Здравствуй!
Офицер Шамиля.

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
В полутьме голубой...
Верно, в дни Газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамиля.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски "поэт".

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила — не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.

И, как Байрон, хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу, —

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,
И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.

К утру иней налипнет
На сосновых стенах...
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

10 февраля 1945

КУМПФ ЛОМИА

ТЕРПЕНИЕ

Благословляю мужество терпения...

К. КУЛИЕВ

Терпение — к вершине скальный путь,
Его и мне жизнь вкладывала в грудь.

Я знал, когда пирует воронье,
В терпении спасение мое.

Порою я молился неспроста:
"Терпенье,
запечатай мне уста,
Чтоб духа высота — не изменила
И совесть оставалась бы чиста!"

Хвала тебе, терпение, хвала,
Что был спасен от совершенья зла,
Что добрым людям не нанес обид
И не меня испепеляет стыд.

Терпение,
и впредь в моей груди
Неправый гнев, как лошадь, осади.
Терпение, не дай соврать перу,
Терпение, пусть я в чести умру!

ЧЕХОВ В АБХАЗИИ

"Если бы я прожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок..."

А. ЧЕХОВ

С балкона гостиницы,
утром приехав,
По-летнему в белый одетый костюм,
Глядит постоялец по имени Чехов
На синие море и пестрый Сухум.

Еще побывает он в Новом Афоне
И райских деревьев оценит дары.
И нартов воочию, как на ладони,
С Анакопийской увидит горы.

Хозяин гостиницы счастлив успеху,
Он точно узнал от бывалых друзей,
Что постоялец по имени Чехов
Известностью всех превосходит князей.

И вымыслы греков, и сказки абхазов
Над морем всегда обольщают вдвойне.
И вновь отражение этих рассказов
Так ярко мерцает в ночной вышине.

С абхазского.
Переводы Я. КОЗЛОВСКОГО

МУШНИ ЛАСУРИА

СМЕРТЬ ТУРА

Он охотника поздно увидел —
И рванулся к черте снеговой,
Но вдогонку раздался выстрел,
Дым взметнулся пороховой.

И горячее сильное тело
Покатилось по осыпи вниз,
Где трава для него зеленела,
Где звенел серебристый родник.

Он любил эти древние горы,
Эту ясную синюю даль,
В дни погоды и в дни непогоды —
И дитя этих пастбищ, и царь.

А теперь он лежит без движенья,
Окровавлен и солнцем палим...
Ветер древнюю Песню Раненья*
Запевает с печалью над ним.

С абхазского.
Перевод С. КУНЯЕВА

---

* Песня Ранения, абхазская народная песня, которую пели над тяжелораненым воином (прим.переводчика).

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

ПИСЬМО В ЗАКАВКАЗЬЕ НА ПОЛЕ БОЯ

Собакой поисковой стать
Я сердцу дал без промедленья
Приказ,
когда землетрясенье
Прошло Арменией, как тать.
Но разыгралась вдруг война
Меж нею и Азербайджаном.
Его ль вина, ее ль вина? —
Сокрыто, словно за туманом.

Но вспоминаю суд вождя,
Когда, добиться правды силясь,
Не поделившие дитя
К нему две женщины явились.

— Эй, стража! —
бросил Соломон, —

Ты рассечешь младенца ныне
И каждой из обеих жен
Дашь по законной половине!

Взмолилась истинная мать:
— Царь, пощади дитя, помилуй,
И целиком вели отдать
Его сопернице постылой...

Давно опомниться пора
Вам в смертной битве окаянной,
Армения — моя сестра,
Азербайджан — мой брат названный.

Противоборство ваших сил
Кровавым обернулось вздором.
И кто б из вас ни победил,
Победа будет лишь позором.

Готов заложником я стать
Любой из двух сторон.
Убейте!
Но только женщин пожалейте,
Детей не смейте убивать!

Да станет доля к вам добра
И мир наступит долгожданный,
Армения — моя сестра,
Азербайджан — мой брат названый.

1993, март

* * *

Поэтов здравствовало братство,
И где вершин бела гряда,
К перу мое рукоприкладство
Ценилось в прежние года.
И льнули мы душой друг к другу,
И чуть кружилась голова,
Когда, как чаша, шла по кругу
Разноплеменная молва.

Еще отхлынет святотатство
И с глаз исчезнет пелена.
Мое к перу рукоприкладство
Кавказа вспомнят племена.

НАЛЬБИЙ

БОГАТЫРИ

На свет от звезды, как старинные раны,
Бжедугская степь открывает курганы...
На свет от звезды —
Встают из курганов могильные тени,
Могильные тени великих забвений
И ратной судьбы.

Не стукнет копыто, не скрипнет подпруга.
Молчанье!.. Громадные тени друг друга
В дорогу зовут.
Немятые травы дрожат от испуга.
Не стукнет копыто, не вспыхнет кольчуга,
Но тени плывут.

Река омывает гранитные плиты,
Деревья студеной росою покрыты,
Седым серебром.

Покой и безмолвие в мире разлиты.
Вода размывает могильные плиты
И боль о былом.

Приземистый месяц восходит в долине,
И всадники в лунном струящемся дыме
Обходят ее.
Но что это? Родины вздрогнуло имя:
То месяц, угрюмо мерцая в долине,
Задел о копье.

А всадники едут суровым дозором,
В пути озирая невидящим взором
Поля и луга.
Оружие блещет богатой оправой,
И бредят они и забвеньем, и славой,
И смертью врага.

Но тихо кругом. Ни звериного рыка,
Ни женского плача, ни ратного клика...
Царит тишина.
Высокое небо горит многолико.
Ни женского плача, ни ратного клика...
И нива тучна.

Ни свиста стрелы, ни булатного звона,
Ни вопля "алла", ни разбойного гона.
Над спящей землей
Трава луговая колышется ровно,
Ни свиста стрелы, ни булатного звона...
Как сон золотой!

Но клонится месяц на запад, и тени
Спешат по дороге возвратных видений...
Чу! Топот далек,
Все глуше и глуше тот топот удалый,
И клонится к западу месяц усталый.
Сереет восток.

Как только звезда на заре побледнеет
И свежестью в чистое поле повеет
Большая вода, —
Высокие тени уходят в курганы,
Травой зарастают старинные раны...
И гаснет звезда.

* * *

Ты камни родною землею назвал
И щедро возделать ее пожелал.
И камни в твое полетели лицо...
Летят и в меня эти камни.

Ты песню хотел уподобить свою
Звенящему в горной долине ручью.
И камни в твое полетели лицо...
Летят и в меня эти камни.

Слова твоей песни просты и чисты
В возвышенном звездном сверканье.
Я вижу, как камни летят с высоты...
Летят и в меня эти камни.

Постой! Я взываю к тебе как пророк.
Дай сердце свое успокоить.
Из этих летящих в лицо мне камней
Я дом не успею построить.

Постой! Дай очистить от тяжких камней
Дорогу к вершине и звонкий ручей.

Послушай: не шорох ли каменных трав
Мы слышим, к холодному камню припав?

С адыгейского.
Переводы Ю. КУЗНЕЦОВА

ШХАМБИЙ КУЕВ

МОЙ ТОСТ

Налейте полный рог вина,
Произнесу я длиный тост,
И выпить попрошу до дна,
Мой тост — из горя в счастье мост.

Пусть друг мой не познает бед,
Не бредит завистью сосед,
Не ждет рукопожатья враг,
И злобу не минует крах!

Пусть небо нас поит дождем,
А песня веет добротой,
Бессмертно мужество — с вождем,
Ребенок — с мамой молодой!

Налейте в полный рог вина,
Поднимем и — до дна, до дна!..

Горит святым огнем вино
И в небесах светло от звезд.
Я поднял полный рог давно,
Мой тост — из горя в счастье мост.

ЕЩЕ ЗВЕЗДА УГАСЛА

Еще звезда угасла в небе,
Во мраке ночи над рекой.
Старушка, думая о хлебе,
Вздыхает: “Мертвому — покой!”..

Легенды нам твердят от века,
Что, в самом деле, навсегда
С собой уносит человека
С высот скользнувшая звезда.

Но в реку падает родник
С вершин — и не теряет крик,
Не исчезает голос горный,
И даже лист в осенний сон
Слетает, тихий и покорный,
А мертвым травам слышен он.

Пусть звезды пчелами роятся
И под старушкину мольбу
Не умирают, а родятся,
Встречая новую судьбу.

Пусть солнышком, а не метелью
С утра баюкана верста.
И пусть звенит над колыбелью
Младенца — новая звезда!..

НИЩАЯ

Забытый камень у дороги,
Затерянный во мраке ночи —
Иль тень беды?
Иль страх тревоги?
Иль огонек нам сердце точит?

Не твой ли смех в тоске, во мгле,
Бредет сквозь слезы по земле?

Прохожий мелочь достает
И нищенке он подает,
Но посмотреть в глаза стыдится:
Жалеет?
Кается?
Боится?

Сад человеческий, то древо,
Тобою, кажется, потеряно,
Оно весной не зазвенит
Листвой в распахнутый зенит.

Но кто в грозе мятежных дней
Его лишил живых корней?..

Я опускаюсь на колени:
— О, Богородица, прости,
Тень по крутым холмам селений
Бредет...
Мать нищая в пути!

НОЧНОЙ МЕСЯЦ

Месяц склонился над яблоней белой
И под окошком примолкли черешни.
Снова, как в юности, дальней, несмелой,
Взгляд я ловлю твой нездешний, нездешний.

Смех твой нездешний откуда-то слышен,
Вправду — не только весною и летом
Я расцветаю той яблони тише,
Но говорю со Вселенной при этом!..

СВЕТ ЛЮБВИ

Пусть сгорит звезда моя дотла,
Чтоб огонь не гаснул никогда...
Не очаг, а молодость, светла,
Нас любовью греет сквозь года.

Пусть приходит с четырех сторон
Солнышко в окошко заглянуть:
То — любовь,
как ранний, чуткий сон,
Продолжает свой бессмертный путь.

С адыгейского.
Переводы В. СОРОКИНА.

МУЛИАТ ЕМИЖ

КАМНЮ

Как легки лепесток и запах цветка,
как немыслимо легок солнечный свет
и полет мотылька,
взгляды (не свысока)
и, рука музыканта, как ты легка!

И прозрачная лужица,
в зное истаявшая,
и раскрывшейся почки нежное кружевце
как легки, как легки!
Как легко все летающее,
все цветущее, все, что порхает и кружится.

Мне б их легкости, думает камень,
тот, который у нас под ногами.
Мне бы мягкость земли
иль подвижность воды:
чтоб проникнуть когда-нибудь
в темные ветки,
где творит хлорофилл
изумрудные клетки, —
я бы все рассмотрел, обо всем расспросил...

Вот что думает камень,
тот, который у нас под ногами.

Но представьте, что вдруг
стали б камни летать,
и летать, и порхать, и кружиться,
как бы стали мы, друг,
те сердца называть,
что устали, сгорели, успели нажиться,
те, что в камень хотят превратиться?
Как бы стали мы эти сердца называть?..

Нет, нынэ,*
на этой земле,
где так любит ласкаться к нам запах цветов,
где старухи так любят таскать на себе,
на пергаментных шеях, лисиц и песцов,
на земле этой, где
насыщает вода
из янтарных истоков оленей стада, —
твоя тяжесть угрюмая необходима,
чтоб Земля не вспорхнула,
как облачко дыма.
Нет! дружок дорогой, оставайся собой,
чтобы не улетучилась наша Земля.

В ДЕРЕВНЕ

Небо устало. Небо остыло.
Словно наш пруд
деревенский стало,
куда, в глубину вековечного ила,
все свои звонкие звезды сметало.

Все, что летало, теперь отлетало.
Все, что звенело, теперь отзвенело.

Одна Тишина в тишине шелестела:
одна в ароматах садовых плутала.

Гость мой измученный, гость городской,
спи же. Наутро чуть свет подыму я,
и красоту ты увидишь иную,
ту — что возносит людей над собой.

В светоявленье, в рассвета разливах,
в поступи утренней величавой
увидишь, как подвиг крестьян молчаливых
в полях золотится, увенчанный славой.

Увидишь, как золото страстотерпения
и серебро высшей пробы молчанья
в плоть виноградин входит с лучами,
что спят,
как младенец после кормления.

С адыгейского.
Переводы М. АВВАКУМОВОЙ

РАЯ УНАРОКОВА

* * *

Ты помнишь ли, как лунный свет
с земною тьмой стремился слиться,
а пальцы наши... Помнишь?.. Нет? —
как пять лучей могли светиться.
Хлестало весело с небес...
А это чувство... чувство это —
что превратилась тьма сердец
в зеленые долины света!

Теперь,
как долго б над рекой
мы ни стояли, ночи внемля,
нам не почувствовать с тобой,
как лунный свет ласкает землю.

Теперь,
как часто бы сюда
ни приходили мы в надежде,

---

* Нынэ — ласковое обращение, непереводимо (адыг.).

не признают уже сердца
себя долиной света прежней.
Нас дождь давно не веселит,
теперь все чаще он тревожный.
"Ты помнишь?" — медленно спросить.
Ответ услышать односложный.

С адыгейского.
Переводы М. АВВАКУМОВОЙ

ХАБИБ АЛИЕВ

РУССКИЙ СНЕГ

Здесь, на севере, воздухом вешним
и не пахнет еще. Спят под шубою снежной
лес и поле. Не скоро затихнут метели.
Ох, как крупно
небесная мельница мелет
эти дни, с высоты высыпая муку.
Здесь любая снежинка
размером подобна платку,
что когда-то горянки носили,
что мама носила моя...
Снег в России!
Как нежен и чист
снег в России.
Оттого-то, наверно,
светлой нежностью неимоверной
я сейчас преисполнен
и ночью, и в полдень,
и земной чистотой — как дитя,
по-сыновьи грустя
по даргинскому лесу,
по родному селу Урахи!
Снег идет... Снег идет...
Белый-белый,
белей, чем стихи.

МОНОЛОГ СТАРОГО КОНЯ

Все, хозяин... Лишил ты меня
и ухода, и ласки былой...
Так послушай
стон прощальный мой —
горькое ржанье коня,
безутешную конскую душу.

Было время: лихим скакуном
я летел горячо и крылато.
Вольной птицей, летучим огнем
и тебе, и другим я казался когда-то.
Да и сам ты, как сокол в седле,
дорогой мой хозяин,
мчался даже в полуночной мгле,
зорок, смел и отчаян.
И твоя молодецкая стать
становилась единой с моею тогда.
И друг друга с тобой понимать
мы без звука могли в те года...

А теперь лошадиная скорость
оказалась тебе не нужна,
и на голод, на холод, на хворость
ты обрек своего скакуна.
И мою лошадиную силу
поменяв на десятки других,
ты их поишь и кормишь бензином,
и заботишься только о них.
Не поводья сжимая — баранку,
ты летишь со двора спозаранку.
И пропитано гарью подворье твоё,
и бензиновым чадом — душа и житьё.

Нет, мой бывший наездник,
не меня ты забыл — а себя,
рёв коробки железной
больше голоса жизни любя.
Честь и совесть тобой позабыты.
Превратясь в торгаша из джигита,
ты гоняешь свои "Жигули"
по базарам — и копишь рубли.

Что же, горцы, случилось?! Едва колыбель
покидаете — сразу садитесь в машину
и несетесь по свету... И смотрит вам в спину
неухоженный облик отцовских земель.
Вы забросили землю,
как мать в старой сакле.
В небрежении пастбища, нивы, поля.
И в бензиновых лужах и в масляных каплях
задыхается наша земля...
Ваша жизнь — неживая, недобрая скачка,
где не помните вы ни родных, ни святынь.
Ваша радость — купюры, лежащие в пачках.
Ваши души — подобия стылых пустынь.

Так послушай хоть раз напоследок,
хозяин,
обреченное, горькое ржанье коня.
Кони мир покидают.
Здесь больше нельзя им
ни дышать, ни пастись.
Здесь — не жизнь для меня.
Так послушай, наездник мой бывший,
послушай —
я тебя не кляну, я тебя не виню,
но потомков твоих изможденные души
задохнутся в тоске
по живому коню!

С даргинского.
Переводы Ст. ЗОЛОТЦЕВА

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

ПЕСНЯ О ПАЛЕСТИНЕ

Ночи черная пучина,
Ни намека на рассвет.
— Где ты, где ты, Палестина?
Столько лет ответа нет.

Столько лет одни вопросы,
И, в тягучий глядя мрак,
Ты вдыхаешь дым да слезы
И не выдохнешь никак.

В родниках вода мертвеет,
Камень стонет, как живой,
И тревожно ветер веет
Над твоею головой.

Недруг празднует победу,
Сеет горе, сеет страх.
Неужели землю эту
Позабыл и сам Аллах?

Столько горечи-обиды,
Столько горестных утрат...
Даже песни, как молитвы,
В этом сумраке звучат.

Там — пылает, там — дымится,
Пальмы-призраки чадят,
И испуганные птицы
Прочь от дерева летят.

На душе тоска-кручина,
И откуда ни глядишь,
Ты, как рана, Палестина,
Столько лет кровоточишь.

Но не вечен сумрак ночи,
Сумрак горя и тоски,
И с рожденья дети точат
Для отмщения клинки.

Все они — твои солдаты,
Нет для них путей иных.
Не игрушки, а гранаты
Под подушками у них.

Жизни страшные картины —
Только горе, только смерть...
Что за песню, Палестина,
Для тебя сегодня спеть?

Мир большой не прочен ныне,
В нем резня, разбой, разлад,
И слова о Палестине
Песней-плачем в нём звучат.

Песней горестной и милой
Про судьбу и про народ.
Стала родина — чужбиной...
Кто такое не поймет?

Все мы, Господи, повинны
В том, что мир не стал светлей.
У младенца Палестины
Колыбельки нет своей.

Трудно дышится в Тунисе,
Душен беженцам Париж.
От печальных чувств и мыслей
Никуда не убежишь.

Стены Иерусалима,
Иорданская волна.
Людям так необходима
Их родная сторона.

И земля для них пустынна,
И сквозь боль они поют:
— Мы вернемся, Палестина, —
И уже к тебе идут.

С аварского.
Перевод И. ЛЯПИНА

ИБРАГИМ ТОРШХОЕВ

РУССКИЙ ЯЗЫК

— Сынок, тридцать третий идет до Угореловки?..

Из разговора в автобусе

Нет, бабуля, больше той деревни,
Все давно быльем позаросло.
Пышные сады, кусты сирени,
Временем, как бурей, унесло.

Там, где у реки вздыхало лето,
Слушая трехрядку до утра,
Бог добра до самого рассвета
С девками плясал вокруг костра.

Где, как хвост кошачий, рыжий колос
Золотился в солнечных лучах,
Где буренки на пастуший голос
Радостно мычали во дворах,

И где бык-молчун, гордясь своей породой,
Телок повергал в восторг и страх,

Там давно “отеческой” заботой
Стонут стены хат на сквозняках.

А потом еще и тридцать третий...
Господи, простишь ли это зло?..
Захлебнулись кровью лихолетий
Русская деревня и село.

Вятичи, куряне и древляне,
Сперто-стылый дух товарняков.
И опять смешались в Казахстане
Сотни вавилонских языков.

Но поесть просили все по-русски —
И прибалт, и немец, и поляк.
Верещим теперь, как трясогузки,
Под себя гребём: и тот, и всяк.

Нет, не в кабаках и не на рынках
Он сложился — наш всеобщий крик,
Он родился в лагерях и ссылках
Общегосударственный язык.

В нём слились проклятия и стоны
Наций и народностей земли.
Как же так мы, по каким законам
Собственную память отсекли?

Не избыть тоски моей и боли
На ингушском, слишком он суров.
Я, с рожденья выросший в неволе,
В русский проникаю до основ.

Боль эстонца, немца и поляка
В нём, с моей смешавшись, застит свет.
Обы мы чуть-чуть “того”, бедняга,
От суровых лет и тяжких бед.

Я из глаз твоих теку слезами,
Я от дрожи рук твоих сомлел,
Будто задохнулся не в Назрани,
А в твоей деревне угорел.

Ну пойдем, наверно, ищут дети,
На дворе уж вечер настает...
Никогда, родная, тридцать третий
До деревни нашей не дойдет...*

АНАТОЛИЙ БИЦУЕВ

* * *

Пока тебя враги не оставляют,
Пока для них ты чем-то нехорош,
Подножки ставят, имя затирают,
Не унывай, — ты правильно живешь.

Держись, мой брат, стерпи удушье сплетен
И жестче стой средь этой суеты.
Не по нутру им то, что путь твой светел,
Дела твои и помыслы чисты.

Когда идешь достойною дорогой,
Когда мечта высокая зовет,
Нелишне знать, что в жизни этой строгой
Коварства яд тебя не обойдет.

К несчастью, жизнь еще не опровергла
Мудрейшего, который нам изрек,
Что счастье и удачу человека
Всегда пронзает зависти клинок.

С кабардинского.
Перевод И. ЛЯПИНА

САЛИХ ГУРТУЕВ

* * *

Я — земля.
На мне моря и горы,
Реки, травы, рощи и леса.
Я держу их в радости и в горе,
Все их краски, все их голоса.

От рассвета жизнь идет к закату,
Беспокойства в мире — через край...
Человек, не делай больно брату
И в обиду брата не давай.

С балкарского.
Перевод И. Ляпина

* Стихотворение написано Ибрагимом Торшхоевым на ингушском языке и переведено на русский самим автором.

ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА

ЧЕЛОВЕК

Я в этот мир не ветром занесен.
Сквозь тьму веков прошел я звездным эхом
И, на земле поднявшись человеком,
Припоминаю прошлое, как сон.

Я был звездой, неведомой земле,
Затерянной в глубинах мирозданья,
Но лучиком небесного сиянья
Светил в ее тысячелетней мгле.

На камни гор я падал, словно снег,
И леденел, и таял, умирая,
Вот почему так явственны рыданья
В бушующих потоках горных рек.

Я видел солнце, видел синь небес,
Но вновь судьба жестокими руками
Взяла меня и превратила в камень,
И я в провале памяти исчез.

Не ведаю, какой небесный гром
Гремел над глубиной столетней мглистой.
Вдруг чувствую: на глыбе каменистой
Я пробиваюсь трепетным цветком.

И солнце жизни светит мне в глаза,
По стебельку веселый луч сбегает,
И чистыми искринками сверкают
На лепестках не слезы, а роса.

И жизни свет, как прежде, не померк,
Далек был и спокоен черный космос,
И ясно я Творца услышал голос:
"Возрадуйся и слушай, человек!

Отныне ты не тот, что был вчера.
Под голубою солнечною сенью
Пришествие твое на эту землю
Означит пусть пришествие добра.

Яви свои достоинства. Яви
Свою сердечность, силу, волю, разум
И все, что любо и не любо глазу,
Навеки именами назови.

Я в небо возносил тебя звездой
И низвергал тебя на камни снегом,
Чтоб на земле, поднявшись человеком,
Перед бедой ты выстоял любой.

Я теплоту души твоей вселял
В деревья, воды, травы, воздух, камни,
Чтоб все вокруг ты чувствовал до капли,
До камешка всю землю понимал.

Твои глаза, и сердце, и язык
Самим добром наполнены от века.
Не дрогни ж перед долгом человека —
Ты на земле всесилен и велик.

Оберегай ее от силы злой,
На боль земли всем сердцем отзывайся.
И, заклинаю небом, оставайся
Сам человеком! Будь самим собой!"

И понял я, в душе моей сошлись
Дыханья снега, камня, леса, луга,
Что мы неотделимы друг от друга,
И мне ответ держать за эту жизнь.

И потому, где мог ночлег иметь, —
Вставал и в путь-дорогу собирался,
И пламенем высоким загорался,
Чтоб грелись не умевшие гореть.

Хранил свое достоинство и честь.
И, если где-то в жизни солнце меркло,
На выручку я лез в любое пекло,
Хотя вполне бы мог туда не лезть.

Куда бы жизни вихрь меня ни гнал,
Я не погряз в бесчестном, гнусном, мелком.
Все вынес, оставаясь человеком,
И, может, человечней даже стал.

Я, плача, в этот трудный мир входил
От боли. И метался, слез не пряча.
А буду уходить, от горя плача,
Настолько эту землю полюбил.

Я правлю ею. Я держу ответ
За каждый кустик, камешек, былинку,
За каждую росистую тропинку,
Бегущую всегда за мною вслед.

И если я под ветром упаду,
Подобно застоявшемуся стеблю,
Пусть лягу человеком в эту землю,
Самим собой, у жизни на виду.

С балкарского.
Перевод И. ЛЯПИНА

НАЗИР ХУБИЕВ

ВОЛНА И КАМЕНЬ

Волна морская, шумная волна
поет про камень, омывает камень.
Но берег нем. И немоту веками
оплакивает, светлая, она.

...Одни спокойно, каменно молчат,
жестоко, мудро — в легкости и в горе,
Другие — словно песенное море,
и край их волн, как море, непочат.

Мой берег,
молчаливою скалой
стоишь,
ко мне угрюмо прикасаясь
там, где я весь, как море, разбиваюсь,
испепеляя тайный пламень свой.

С карачаевского.
Перевод Ф. ЧУЕВА

МУЗАФЕР ДЗАСОХОВ

ИРЫЗЫК*

Край свой отчий зовут Ирызык
Соплеменники гор — осетины.
Это имя вошло в их язык,
Как в небесную бездну вершины.

Водопада доносится рык,
Переменчивы ветры, как вести.
Ты моя колыбель, Ирызык,
Звездный отсвет потомственной чести.

Я к тому от рожденья привык,
Что душа не сбивается с лада.
Прошептать иль сказать "Ирызык" —
Это сладость для уст и отрада.

НАСТРОЕНИЕ

О, горное плато,
Я — человек, не зверь.
В моем наследье кто
Нуждается теперь?

И кто захватит в путь
Хлеб, испеченный мной?
Кому скажу: "Побудь
Со мною под луной?"

Кому скажу: "В мой сон
Проникни в эту ночь,
Когда не в силах стон
Я буду превозмочь".

Когда мне снится вновь,
Что я в бою убит,
Заря ли то иль кровь
Вокруг траву багрит?

Есть имя у меня,
Но грустно оттого,
Что славу среди дня
Украли из него.

Былому — не судья,
Грядущему — не сват.
Не знаю, кто же я
И в чем я виноват.

БАШНЯ КОСТÁ

Вот Нар! Над ним на грани света
Сошлись береза и сосна.
Был не достроен дом поэта,
Но башня песен сложена.

В стихах скитальческих воспета
Жизнь, что раздумия полна.
Был не достроен дом поэта,
Но башня песен сложена.

Людская боль. Не без ответа
Воспринималась им она.
Был не достроен дом поэта,
Но башня песен сложена.

Достойно слово — самоцвета,
Лачуги — царственна цена.
Был не достроен дом поэта,
Но башня песен сложена.

Любовь к горам хранил все лета,
Их видел в ссылке в пору сна.
Был не достроен дом поэта,
Но башня песен сложена.

С осетинского.
Переводы Я. КОЗЛОВСКОГО

---

* Ирызык — так осетины называют свою родину (прим. переводчика).

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО В ГРОЗНЫЙ

Артиллерия гулко лает,
Взят квартал, окружен вокзал...
Где теперь Магомет Сулаев,
Тот, что в Грозном стихи писал?

Вспоминаю былые годы,
Я на доброе тратил пыл:
Посылал стихов переводы,
Пел с ним вместе и водку пил.

Тот, кто наши столкнул народы,
Будет скоро держать ответ.
Но меж нами какие счеты?
С Новым годом тебя, поэт!

И опять, хоть преград немало,
Шлю привет
сквозь огонь и смрад,
Пью за друга, за аксакала,
Обнимаю, как брата брат.

1994

МАГОМЕТ СУЛАЕВ

КАВКАЗСКИЙ СНЕГ

Как будто сны,
когда пора проснуться,
Слетят снежинки хрупкие с небес,
Но не успев
седой земли коснуться,
Они растают — вот и след исчез.

И все ж,
не унимаясь, без разбору
Все падают и падают с высот,
Как будто ищут на земле опору,
Как будто ждут,
что кто-то их спасет.

Не унимайтесь, чистые,
летите,
Спасите нас
небесным взмахом крыл
И на земле несчастной остудите
Огонь вражды
и безрассудный пыл.

ПЕСНЯ О МОЕМ КРАЕ

Ты полыхал в далекие года,
Тебя терзали своры Тамерлана,
Османские аскеры шли сюда
И требовали дани неустанно.

И орды крымских ханов, озверев,
Всех вырезали — от детей до старцев,
И угоняли наших юных дев,
Чтоб даже память не могла остаться.

Мой край родной, не зная тишины,
Ты все-таки врагам не покорялся,
Отчаянно дрались твои сыны,
И небосвод надеждой озарялся.

Она взошла, когда российский брат
Встал с севера и поделился силой.
Века прошли, и над тобой горят
Созвездья нашей дружбы негасимой.

Подобно вечным и седым горам,
Мой край стоит в сияющем просторе.
И песнь его не заглушить ветрам,
Не утопить ни в горе, ни в раздоре!

С чеченского.
Переводы А. Боброва.

Редакция журнала “Наш современник”, а вместе с нами, надеемся, и все тридцать тысяч наших верных друзей-подписчиков искренне и сердечно благодарят Фонд национально-культурного возрождения народов России за доброе участие в частичном покрытии убытков, связанных с изданием журнала.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА — НАДЕЖДА РОССИИ

Из выступлений на конференции по проблемам русской национальной школы, проведенной в Свято-Даниловом монастыре

Битва за Россию... Сейчас она идет преимущественно в сфере политики. Ограбленные, униженные патриоты (как и другие слои населения, не определившие, да и не задумывающиеся о своей "партийной" ориентации) в моменты острых кризисов, на которые были так богаты минувшие годы, всякий раз надеялись на резкие и плодотворные перемены. Сейчас, сегодня придут к власти люди, болеющие за судьбу страны, и все изменится...

Время показало, что эти надежды были тщетными. Более того, ожидание быстрых кардинальных перемен мешало сосредоточиться на конкретной кропотливой работе в решающих сферах общественной жизни. А сегодня стало очевидно: только такая работа и может подготовить реальные перемены.

И одной из ключевых сфер, где определяются судьба, будущее России, является школа. Во многом именно от нее зависит, из кого будет состоять завтра общество — из "новых варваров", невежественных, помешанных на "легких деньгах", или из подлинных граждан. Школа — это, быть может, последняя надежда России. Но и неизбывная тревога ее. Ибо до сих пор нет русской национальной школы! Коммунистическая идеология все семьдесят с лишним лет накладывала на воспитание печать прямолинейного, жесткого интернационализма. Известно, что в первые годы советской власти отечественная история была попросту изгнана из школьных программ. Но и до самого последнего времени историю России наши дети изучали всего лишь как курс истории СССР. Комический парадокс: история СССР начиналась чуть ли не с каменного века...

В постперестроечное время положение лишь ухудшилось, причем несравненно. У нас не было н а ц и о н а л ь н о й школы, а сегодня возникает ситуация, когда у нас, не дай Бог, вообще не будет школы. Нынешние руководители государства, похоже, рассматривают образование как досадную обузу. Разрушаются как материальная, так и методическая база общеобразовательной школы.

Обо всем этом с тревогой говорили участники конференции, проводившейся под эгидой Русской Православной церкви и общественной организации "Всемирный Русский Собор" в Свято-Даниловом монастыре. Само проведение такого представительного форума, в котором участвовали церковные иерархи, замечательные русские писатели, видные методисты и педагоги, приехавшие из всех государств бывшего СССР, показывает глубину озабоченности создавшимся положением. И в то же время участие таких значительных интеллектуальных сил в работе конференции вселяет определенную надежду: общество, кажется, готово осознать колоссальное значение школы для судьбы страны.

Журнал "Наш современник" всегда уделял большое внимание проблеме формирования русской национальной школы и — шире — духовному воспитанию молодежи на идеалах и ценностях отечественной культуры. Достаточно вспомнить материалы Я. Берегового, И. Синицына, педагогов-практиков, публиковавшиеся в журнале в 80-е годы. Нередко они вызывали оживленную полемику, в которую, случалось, вступали и Министерство просвещения, и АПН, и даже ЦК КПСС. Затем бурные события вытеснили эту проблематику не только с наших страниц, но и из поля зрения общества. Тем большее значение придаем мы публикации материалов конференции по русской национальной школе. Стремясь представить весь спектр высказанных идей, мы публикуем наиболее, на наш взгляд, интересные фрагменты ряда выступлений. В ближайших номерах запланированы новые материалы, посвященные становлению русской национальной школы.

Редакция

В. Н. ГАНИЧЕВ

сопредседатель Всемирного Русского Собора, председатель правления Союза писателей России, директор издательства "Роман-газета"

Перед русской школой, русским учителем стоит серия грандиозных исторических задач. Ныне во всем мире, от Римского клуба до экологических движений, растет понимание необходимости новых основ, принципиально иного стиля жизни людей, приоритета духовных ценностей. Русская национальная школа представляла в лучших своих образцах и должна представить подлинную иерархию духовных ценностей, социальных ценностей, глубоко почувствовать наше национальное достоинство, развить национальное самосознание, стать преградой на пути величайшей, поистине смертельной опасности эрзац-культуры, хлынувшей на нас щедрым потоком с экрана телевидения, из иных средств массовой информации. В примерной программе русской национальной школы, разработанной энтузиастами 141-й школы города Москвы, говорится: "Без воскрешения русского национального идеала, русской идеи невозможно возвращение к проверенным веками основам русского душевного склада и русской государственности". Задача русской национальной школы состоит в том, чтобы отторгнуть усиленно навязываемый нам комплекс "неполноценности" русских, их якобы ущербности, неспособности творить, созидать, добиваться высоких целей. Жизнь русских в веках, в собственном отечестве и за рубежом, отвергает это начисто. Однако целое направление общественной мысли, в прошлом веке связанное с "передовым" западничеством, а в середине XX века — с консервативным агитпропом, к концу века — с радикальными демократами, упорно прививало и прививает это состояние нашему обществу. Известный историк Нечволодов, чья книга издавалась почти двадцать раз в начале этого века, писал о том, что в полной мере можно отнести и к нашим дням: "Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю, и о каких-либо характерах и идеалах помышлять не можем. Идеальность своей истории мы не допускаем. Какие у нас были идеалы, а тем паче герои? Вся наша история есть темное царство невежества, воровства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего — так думает великое большинство образованных русских людей. Ясно, что такая история воспитывать не может. Самое лучшее, как может поступить юноша с такой историей, — это совсем не знать, существует ли она. Но не за это ли самое это большинство русской образованности несет, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что оно не чувствует своего исторического национального сознания, а потому и умственно, и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону?"

В американском городе Бостоне мне пришлось встретиться с комиссаром по делам культуры, и он сказал, что сейчас главная задача их муниципалитета — поднять уровень культурного воспитания в школе, учебных заведениях самых бедных кварталов. Я заметил ему, что их департамент не занимается образованием. "О, да! Но если мы не подготовим для культуры вспаханное поле, оно не даст плодов. Поэтому основные средства, полученные от государства, штата, от спонсоров, мы направляем на молодое поколение и тех, кто откроет для себя культуру". Разумный и полный перспективы взгляд, до сих пор характерный и для нашего общества, но стремительно испаряющийся под напором дикого рынка.

Облегчение, которое испытывает наша школа оттого, что освободилась из-за нехватки средств от хоров, драматических кружков, изобразительных студий, напоминает облегчение путника, приближающегося к цели и выбрасывающего из своего рюкзака тяжелый ларец с драгоценностями. Думаю, что школа должна быть центром культуры, эстетического и духовного воспитания, где должны объединить свои усилия и средства органы культуры, образования, родители, предприниматели и вся общественность. Да, действительно, детей можно подготовить к технике жизни, они сумеют пользоваться законами рынка, овладеть грудой знаний, уловить современные ритмы, но они могут оказаться в руках зла, и тогда грош цена нашему образованию, нашей педагогике, нашей школе. Зло стало таким отрытым, дерзким и безнаказанным, что оно легко отстраняет добро в душе. "Нельзя уклоняться от этой проблемы,— писал профессор Зеньковский,— под тем предлогом, что каждый человек стал ответственным за себя, что наша задача — только поставить на ноги дитя, а куда оно пойдет само — это уже не наша забота.

Такая позиция не только недопустима, но она педагогически преступна. Жизнь слишком полна трагедий, сил саморазрушения, чтоб об этом не думать. Идиллия в этом вопросе недопустима, перед детьми слишком рано обнажаются тайны жизни, слишком рано открывается темная сторона ее". В этом свете важные пути современной педагогики разрабатывает и подсказывает православие, христианская антропология — основные вопросы воспитания получают иной, истинный смысл, чем обычно мы видим в них.

Безусловно, обращаясь к проблеме русской школы, мы не можем не обратиться к педагогам, нашим самоотверженным учителям, проблеме русской исторической науки, ее истории. "Ведь без традиций в исторической судьбе народа,— писал Николай Бердяев,— нет ни преемственности, ни смысла, и каковы бы ни были превратности исторической судьбы, вечные ценности прошлого неискоренимы, к ним неизбежно возвращаются". И это одна из важных задач: извлечь исторический опыт из народной педагогики, из духовно-нравственной литературы, из сочинений и работ Пирогова, Рачинского, из педагогической мысли Бецкого, Екатерины II, Жуковского и Шишкова, Уварова и Победоносцева, Нечволодова, Острогорского, Беллярминова, Аксакова, Толстого.

Мы должны отмечать в феврале годовщину со дня рождения великого русского педагога Дмитрия Константиновича Ушинского. В ряду отечественных гениев он высится так же, как Ломоносов, Пушкин, Суворов, Чайковский, Менделеев, он открыл новые пути в педагогике, его интуиция, его идеи для возрождения и становления русской школы неоценимы.

В примерной программе 141-й русской национальной школы написано: "Русская школа открыта всем, в ней может учиться ребенок любой национальности, в ней может преподавать педагог любой национальности". Приветливо, более того, дружелюбно, русская школа распахивает двери всем, кто хочет стать питомцем русской культуры, русского духа, русской державы. И это делает русскую школу всеобъемлющей и общей не только для 85% населения России, но и для всех, кто пожелает в ней учиться.

Ныне идея русской школы отнюдь не приветствуется всеми в России и за ее рубежами. Одни к ней равнодушны, другие устремляют взор только на колледжи и элитарные учебные заведения Америки и Европы, третьи тоскуют по предыдущей вненациональной школе. Недавно обозначил я эту идею на собрании вновь создаваемого земского движения, и мне заявили там некоторые: "Зачем русская, пусть будет российская". Но у нас уже было советское, мы уже на 75 лет в немалой степени лишили русских людей своей школы. Надо исправить эту катастрофическую историческую ошибку, научить своих соотечественников знанию России. "Мы убеждены,— писал Ушинский,— что все эти болезни и многие другие сильно поуменьшились бы, если бы в России вообще поднялся уровень знаний о России, если б мы добились хоть того, что наш юноша, оканчивая курс учения, знал о полусветной России столько же положительных фактов, сколько знает о своей маленькой Швейцарии десятилетний швейцарец, окончивший курс первоначальной школы". Итак, насущная, необходимая и обязательная задача взрослых и маленьких граждан России —"поднять уровень знаний о России".

Е. П. БЕЛОЗЕРЦЕВ

доктор педагогических наук, профессор

В истории государства российского обращают на себя внимание три тенденции, которые уместно вспомнить на нашей конференции, с тем чтобы мы, сегодня живущие, смогли осмыслить уроки собственной истории.

Тенденция оптимистическая. Российские мыслители рано или поздно, но всегда обращали свое внимание на образование как фактор возвеличивания России. Иван Александрович Ильин говорил следующее: "Тот, кто говорит о Родине, — разумеет духовное единство своего народа. Национальное обезличивание есть большая беда и опасность в жизни человека и народа, с ним необходимо бороться настойчиво и вдохновенно и вести эту борьбу необходимо с детства". "Дух национального воспитания необходим каждому русскому и каждому здоровому человеку",— уточняет он. Называет и средства воспитания, такие как: язык, песня, молитва, сказка, жития святых и героев, поэзия, история, армия, террито-

рия и хозяйство. Федор Михайлович Достоевский писал: "Стать русскими во-первых и прежде всего". И если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой. "Стать русским,— пояснял он,— значит, перестать презирать свой народ". Достоевский всегда возмущался и недоумевал в своих публичных выступлениях, и в своих письмах, и в своих произведениях, что в России его времени почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса. Прогрессивные деятели образования, известные педагоги России, особенно XIX века, возвышались до государственно мыслящих граждан России. Граф Разумовский, будучи министром народного просвещения, пишет царю письмо, в котором предсказывает большую беду обществу российскому, ибо семейным воспитанием и обучением занимались иноземные учителя. Михаил Васильевич Ломоносов пишет трактат "О сохранении и размножении русского народа". В этом труде, очень интересном, он провел впервые, может быть, как бы сказали современные ученые, факторный анализ развития и формирования личности молодого человека-россиянина. И в этом трактате есть специальный раздел "Исправление нравов и о большом народа просвещении", вы там увидите, как прекрасно он пишет о семье.

Другая тенденция, я ее назвал для себя тенденция пессимистическая. Славу отечеству приносили образованнейшие граждане России. Но дело-то в том, что они оставались не до конца понятыми, невостребованными, а иногда становились изгоями в своем родном отечестве. Много примеров тому, приведу только один. Константин Дмитриевич Ушинский. Довольно короткой и тревожной была его жизнь, но, обладая государственным сознанием, он сумел занять патриотическую позицию и, имея все основания находиться в оппозиции правительству, не перешел ту черту, за которой начиналась оппозиция России. Он жил и работал для нее, своими деяниями возвращал россиянам уверенность, душевную гармонию и здоровье. А что же образование? А само образование развивалось вопреки государственным мужам. И вот вам тенденция в истории нашего государства, тенденция уже трагическая, когда государственные мужи, за исключением только нескольких, не извлекали должных, полезных уроков для России. Неумело реформировали систему образования, не учитывали ее сущностных характеристик и особенностей, публично ее насиловали постоянными попытками привнести на нашу землю опыт Запада.

"Если русское общество еще действительно живо и жизнеспособно, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и более всего в готовности и способности учиться у истории, ибо история не есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, а она есть жизненный опыт добра и зла, составляющее условие духовного роста". В результате этих трех, равно как и других тенденций, образование у нас стало безнациональным, а школа — русскоязычной, в особенности когда мы однажды заснули в Советском Союзе, а проснулись в Российской Федерации. Вопрос один — есть ли у нас идеи и принципы русского образования, могут ли быть они сформулированы сегодня или в ближайшее время. Ответ один, и он положительный. Я выделяю три идеи, которые должны, наверное, стать основой. Идея русского космизма, идея соборности, идея национального дома. Эти идеи исключительно русского происхождения, имеющие особый смысл для образования. Они имеют громадный образовательный и воспитательный потенциал.

Истинно русские идеи предполагают иное отношение к образованию, чем исторически это сложилось, когда образование рассматривалось или с точки зрения социологии, или узко с точки зрения педагогики. Образование — это прежде всего историко-культурный феномен, образование — социально-педагогическая система, которая функционирует по собственным законам. Этимологически образование по своему происхождению связано со словом "образ". Образ многозначен, многосмыслен. Одни связывают образование с образом человека, его ликом, личностью. Другие — с иконой, образом Божиим, человеком, как его подобием. Третьи — с образом человечества и образом его жизнедеятельности на земле.

Образование — уникальная система, ибо нет другой такой, в которой бы жили одновременно, общались, взаимодействовали люди столь разного возраста, социального положения: дети, подростки, юноши, взрослые, старики, дошкольники,

школьники, студенты, учителя, преподаватели, управленцы разного уровня — от министра, ректора университета, директора школы до секретаря, скажем, приемной или лаборанта кафедры. Все они творят свою индивидуальность, все они реализуют собственную осознанную индивидуальность, взаимодействуя между собой, обособляясь в общении. Так в чем же все-таки, если мы так будем смотреть на образование, в чем смысл школы русской? Нам кажется, что смысл русской школы — Человек, его гармония отношений с миром, с собою, с другими людьми, его духовное становление. Содержание образования определяется народностью, православием и наукой.

Народность — отечественная культура, прежде всего, русский язык и родная литература, отечественная история, география, родная природа и так далее.

Православие — это не только и не столько отдельные уроки или, скажем, лекции о религии, сколько построение всего процесса воспитания и обучения на идеях православия. Православие, по Ушинскому, как и язык, то последнее, после чего начинается гибель народа, если оно будет разрушено. И может быть поэтому была трагической жизнь Константина Дмитриевича, что он первый об этом написал.

Наука. Учебные дисциплины, которые, так или иначе, представляют основные отрасли научного знания. История развития отечественной и мировой науки, жизнь и деятельность выдающихся ученых, разумное соответствие гуманитарных и естественных дисциплин. Вы посмотрите, сегодня создан Поморский университет, но о Михаиле Васильевиче Ломоносове в Архангельске знают ровно столько, сколько в Пензе, скажем, о Лермонтове, и наоборот.

Способ функционирования системы. Мы видим способ функционирования образования и конкретной школы во взаимодействии, в соборности, в общении, в сотрудничестве.

В чем может состоять конечный результат, как его увидеть, как его почувствовать? Конечный результат любой образовательной системы — это внутреннее состояние человека, испытывающего потребность познавать новое, добывать новые знания, потребность помогать ближнему, нуждающемуся в помощи, то есть делать добро. Духовное становление народа — вот конечный обобщенный показатель функционирования системы. История учит — у русских были и есть собственные ценности своего образования, и нам не пристало, подобно есенинскому герою, задрав штаны, бежать сегодня за фондом Сороса, это просто недостойно русского человека.

И. Ф. ГОНЧАРОВ

доктор педагогических наук, профессор

Строя новую русскую школу, мы должны, безусловно, учитывать традиции, но также важно учитывать движение жизни. Мы должны понять свою новую историческую роль в жизни России, а она исключительно велика и ничем не заменима. На русском национальном духовном характере действительно всегда стояла Русь. Но что в прежней исторической эпохе формировало наш национальный характер? Это семья, церковь, монастырь, армия и образ жизни народа. Как видите, школа не упомянута, и не только мною, а и теми, кто изучал историю русской души. Дело заключается в том, что школа и до революции была как бы вдали от этой крупной государственной русской задачи. Невероятно, но факт — в истории России никогда не было русской национальной школы. Я говорю о школе регулярной, массовой и высокого класса. Вначале наша школа, российская школа, родилась по зарубежной модели. Но дальше произошла трагическая ошибка — мы к этому корню, или к этому основанию, не привили в достаточной мере русские начала и русские основы. Почему же 140 лет тому назад Ушинский пишет статью "О необходимости сделать русские школы русскими"? Потому что уже в то время школы такой не было и в помине. Мы стоим перед новой задачей, перед задачей рождения новой русской школы. Не возрождения, а именно рождения. Мы из дореволюционного опыта можем взять только фрагменты.

У России есть только одна надежда — это русская национальная школа.

Наше время — не время ответов, наше время прежде всего время вопросов. Задача заключается в том, чтобы правильно поставить эти вопросы. Препятствия и стеснения, которые стоят на пути к русской школе. Первое препятствие: Россия

всегда имела идею, сегодня у России нет идеи, и это затрудняет решение наших педагогических вопросов. Самое первоочередное сегодня — это поиск идеи, внутренне принятой абсолютным большинством народа. Второе: руководство страны не отличается ни национальной преданностью, ни патриотической настроенностью и сегодня низкопоклонствует перед Западом и Америкой. Третье: нас сегодня бросают в состояние культурной шизофрении. Что я имею в виду? Русская душа, воспитанная русской православной и мирской культурой, не буржуазная душа. Устремленная к внутренней духовной жизни, она умеренно поглощена жаждой земной прибыли, довольствуется достатком и чужда богатству. Для русского человека не богатство главное, а достаток. Тем не менее, сегодня русской душе навязывается новая вера, стержнем которой являются корысть и индивидуализм. Четвертое: основная проблема национального воспитания — создание русского национального учителя. Что делать? Первый путь — это переобучение учителей по определенной программе. У нас есть трехлетняя программа семинаров для педколлективов. Но мы должны понять с вами, нужно поколение новых учителей. Петербург провел уже три всероссийские научные конференции "Русская школа: возрождение и рождение". Создан областной педагогический институт. В этом же институте создана впервые в истории России кафедра-мастерская русской школы, мы сейчас уже набираем туда людей, в первый год будем обучать 25 человек и каждый год будем брать по 20—25.

Давайте все-таки организуем в русской школе познание России и русского человека. Мы проводим квалификационные курсы по трем новым русским предметам. Первый — "Русская душа". Впервые вводится такой предмет, мы не знаем, кто мы, давайте сейчас проведем опрос: три, четыре, пять качеств — и тупик, дальше не знаем, а это целая наука. Питомец русской школы должен знать святые качества русского человека и его пороки. Второе: в Америке, в стране без корней, без прошлого, американские школьники изучают жизнь и деяния двадцати образцовых американцев, а наши дети знают только имена. И мы вводим новый предмет "Светочи России", программа разработана, и курс этот уже ведется. Следующие, очень важные, по крайней мере для познания, два предмета. Это "Святыни России" (природные, исторические, культурные и религиозные). И пусть клеветники русского человека, русского народа прочитают нашу программу и наш предмет "Духовный вклад России в мировую цивилизацию".

Возникает вопрос о религии, школа и религия. Невероятно трудный вопрос. Исходная позиция — без православия воспитывать невозможно. Мы всячески поддерживаем церковь, и дай Бог, чтобы наши ученики шли в нее, мы будем это только приветствовать. Но мы должны опять же исходить из состояния семьи и детей. Поэтому сегодня проблема — продумать пути внецерковного православного влияния на учащихся. Эта проблема стоит перед церковью, перед нами, и мы обращаемся к церкви за помощью. Некоторые пути нами уже просматриваются. Мы вводим курс православной и светской культуры "Русское православие: история и современность".

Н. А. НАРОЧНИЦКАЯ

сопредседатель Всемирного Русского Собора, политолог

Сфера образования — это основа мировоззрения, национального самосознания и гражданского воспитания, источник духовного, интеллектуального, культурного и профессионального развития и народа в целом, и сообщества как духовной опоры государства.

Мне хотелось бы немножко обобщить причины, которые привели к плачевному, гибельному положению системы образования и воспитания как основы русского национального самосознания. Полный отрыв от своих национальных истоков из-за многодесятилетнего атеистического образования, набивший оскомину классовый подход к истории, литературе в значительной мере не позволили русской интеллигенции разобраться в происходящем и разглядеть за привлекательными одеждами западноевропейского либерализма, который вновь обрушился на наше отечество, тех самых лжепророков, которые должны увлечь нас в сторону от поисков собственных истоков. Что мы видим в качестве результата? Родина наша разрушена, русский народ расчленен, культура поругана, право-

славная идея в государственности осмеяна как антиисторическая. В нашем государстве внедрена уже некоторая идея, которая губительна. Это тезис о так называемом "вхождении в мировое цивилизованное сообщество" через приобщение к неким, якобы "общечеловеческим" ценностям.

Россия никогда не была частью западноевропейской цивилизации в той ее ипостаси, которая взращена на рационализме декартовой философии, идейном багаже Французской революции и протестантской этике мотиваций к труду и богатству, где нравственно то, что разрешено законом, а законом разрешено то, что не мешает другим. Но именно все это стало основой тех конституционных проектов, которые без конца предлагаются и которые, даже если бы были идеальны по соотношению представительных и законодательных полномочий, все же являют собой полный отрыв от всей тысячелетней исторической традиции русского народа и с этой точки зрения русскому народу ничего абсолютно не дают. Это абстракции, взращенные на теории, восходящей к "Общественному договору" Руссо, то есть к тем самым философским направлениям, о которых я только что сказала. Рациональное никогда не уживалось в России, и попытки в русской литературе освоить и преподнести русскому народу рациональное миросозерцание выливались лишь в ужасающие по своему убожеству сны Веры Павловны. И можно только дивиться вкусу того гения народов, которого, по его собственному признанию, этот убогий роман так глубоко всего перепахал. Тем не менее школьные учебники литературы по-прежнему преподносят все тех же богоборческих и западнических кумиров революции — Герцена, Белинского, Чернышевского.

Необходимо понимать свое отличие, понимать систему ценностей, на основе которой вырос русский человек и стал именно русским, на которой выросла наша держава, сумевшая вобрать в себя так много разных народов и предложившая миру образец, где каждый мог молиться своим богам, но принадлежность к целому была для каждого источником ценностей. Когда мы говорим о православии, нельзя называть его только религией. Оно было и есть единственный способ сознания для русского человека, который однажды пришел к нему, единая нравственно-философская и научная парадигма. Именно наша Вера была состоянием нашей души. Без этого не может быть ни русской национальной школы, без этого не может быть русской национальной элиты, не будет русского национального правительства. Сейчас же все свидетельствует о том, что нация утеряла инстинкт самосохранения, а на авансцену вышли люди, не обладающие никаким национальным сознанием.

Русский человек всегда жил по правде. Он почему-то не отдает свою мать в дом призрения и считает (пока еще!) такой поступок не меньшим, а может быть, даже большим нравственным отступлением, чем экономическое преступление. Но уголовное наказание понесет лишь тот, кто украл. И верно, за первое нельзя судить земным рациональным судом, ведь для этого пришлось бы ввести понятие меры вины и, соответственно, меры наказания. А как измерить такую вину? Ведь то, как нужно поступать, не поддается рациональному определению. Ответ один — как долг велит...

Отношение к писаному и неписаному закону показывает всю суть отличия метафизических основ русского мироощущения и взаимоотношения в обществе. На Западе общепринятое правило поведения, нравственная категория, закрепляясь в виде правовой нормы, ВОЗВОДИТСЯ на высший уровень — уровень закона. В русском же ощущении — грош цена той нравственной норме, если она исполняется только под угрозой уголовного наказания, и такая нравственная категория, ставшая правовой нормой, НИЗВОДИТСЯ до уровня... всего лишь закона.

То понимание свободы, прав человека, которое нам навязывается,— калька с западно-либеральной политологической интерпретации. Оно вносит ужасную смуту в наше сознание, и я думаю, что отличники истмата, а ныне теоретики нового мышления сами обескуражены, почему все то, что "так хорошо" там, приводит здесь только к разрушению: "рынка" нет, а, наоборот, есть хаос. Здесь дело не только в ошибках макро- и микрорегулирования. Нарушено равновесие метафизических и рациональных ценностей нашей нации.

Правильное образование ничего не сможет преодолеть, если мы не создадим подлинно национальное телевидение. По своим возможностям воздействовать на

умы людей, воспитывать мировоззрение СМИ превосходят сейчас школу. Совершенно очевидно, что философская основа и нравственно-этическая система ценностей, положенная в фундамент национального телевидения, не только должна соответствовать, но и способствовать полнокровному развитию того, что Иван Ильин назвал "творческим актом" своего народа. То есть воплощению присущих именно своему народу мироощущения и этики человеческих, гражданских, экономических и политических отношений. Анализ программ российского телевидения со всей очевидностью демонстрирует полный отрыв философской основы передач от религиозно-этического сознания России, то есть от ее духовного наследия. Это тем более печально, так как с экрана постоянно с циничным лицемерием говорится о возрождении России в то время, как с успехом развеивается ее пепел.

Сколько бы мы ни обсуждали задачу восстановления русской национальной системы образования, с экранов телевизоров обрушивается весьма антирусская концепция мирового развития. В сознании идеологов ТВ явно доминирует полностью возрожденный, совершенно большевистский подход к истории России. СССР, разрушению которого эти идеологи рукоплескали, объявлен соединением неизвестно откуда взявшихся "независимых" наций, которые были собраны вместе добровольно лишь для того, чтобы их однажды осиял свет пролетарской революции. Отрицается тысячелетняя держава, никогда и никем до большевиков не оспаривавшаяся. Отсюда и презрительное отношение к историческому наследию страны и ее внешней политике. Вся Российская территория объявлена вновь "тюрьмой народов", результатом сплошных несправедливостей и захватов, защищать которую есть проявление "имперского мышления".

Выбор развлекательных программ поражает не только своим безвкусием, но и пренебрежением к традициям православной, да и не только православной культуры, исключающей грубое и прямое смакование некоторых сторон жизни людей, что вовсе не означает казенного ханжества, но предполагает определенную сдержанность и уважение к таким традиционным ценностям, как любовь, верность, долг, целомудрие. Чудовищные дискуссии о сексе подростков прямо ломают многотысячелетнюю традицию человечества, которое при всех отступлениях от общепринятой морали тем не менее не отказывалось от общественного идеала — угодного Богу соединения всех ипостасей взаимного влечения мужчины и женщины во всеобъемлющем чувстве любви. Любой знакомый с состоянием дискуссий на эти темы на Западе знает, как растет сопротивление осознающей опасность такой вакханалии довольно значительной части западного общества такому духовному опустошению.

Подбор иностранных фильмов — особая тема. Они, увы, заменили разом чтение, беседу, размышление. Особенно чужды русской системе ценностей именно американские фильмы. Простое сравнение двух телесериалов — "Спрут" и "Санта-Барбара"— показывает, что именно американская киноподелка разрушает традиционное сознание. "Спрут" при всем обилии стрельбы и трупов выдержан в классическом конфликте, в котором испытывается одна из главных проблем христианского мировоззрения — граница человеческого Долга перед Богом и людьми в отношении Добра и Зла. И ответ дается вполне традиционный — Долг измеряется не предписаниями Закона, созданного людьми и являющегося компромиссом, а высшими критериями.

В "Санта-Барбаре" полностью размыты критерии между Добром и Злом, так как исповедуется право индивидуально толковать праведность и неправедность и соответственно Долг, который определяется всеми различно в зависимости от обстоятельств. Это и есть индивидуализм — полный разрыв с православным мироощущением. Именно поэтому доминирование подобных историй на российском телевидении разрушительно, а не потому, что показывается "чуждый" образ жизни. Важен не столько "образ жизни", сколько коварное внедрение чуждой нравственной системы, совершенно не соответствующей духовным ориентирам России и русского народа.

Обилие рекламы побуждает анализировать и эту область воздействия на массовое сознание людей при обсуждении проблем рационального образования и воспитания. Здесь также проявляется определенная система ценностей, присущая той или иной цивилизации. Можно иллюстрировать эту мысль на примере с самой тривиальной и пошловатой рекламой "шампуня". Эта реклама многих

коробит, но не все могут сформулировать причину. То, что заставляет многих русских людей раздраженно морщиться, заключается не в смаковании неприятного недостатка волос, а во фразе: "Я и не представляла, что этот шампунь может так изменить всю мою жизнь!" Ни один воспитанный в православной системе ценностей человек, даже не осознающий себя верующим, никогда так не скажет, ибо что же это за столь ничтожная жизнь, если ее всю может изменить наличие или отсутствие идеальных волос. Но реклама еще не самое большое зло на телевидении.

Что может сделать даже очень патриотичный и глубоко чувствующий духовное наследие преподаватель словесности или истории, если отечественное телевидение подвергает невиданным после двадцатых годов насмешкам русское национальное самосознание. Любым проявлениям национальных чувств русских придается сразу опасное значение. Но именно лишенная подлинного национального наследия нация люмпенизируется и способна только на социально опасные проявления национальных чувств. Не нужно бояться возрождения православного мышления и воцерковления России, а следует понимать, что именно православное мышление освобождает человека от греха национального высокомерия, ибо сущность православного нравственного поиска — в преодолении соблазна собственной гордыни, в результате чего не оказывается места чувству превосходства одной личности над другой и одной нации над другой.

Тем не менее понимать свое отличие совершенно необходимо для национально мыслящего человека. В этой связи нужно сказать здесь о русских сказках как источнике. Положите рядом сказки братьев Гримм и русские сказки — и не понадобятся философские трактаты. У Пушкина, обобщавшего концовки народных сказок, читаем: "Царь для радости такой отпустил всех трех домой". Но во всех сказках братьев Гримм "злую мачеху привязали к хвосту лошади и пустили с горы". Мальчик-с-пальчик уведен его родителями на съедение диким зверям только потому, что "не хватало пищи". В русских сказках злыдни-мачехи нередко отправляли своих падчериц в лес, но не потому, что не хватало пищи, а из-за иррациональной ненависти, то есть из-за состояния сердца, а не материального расчета... Метафизичность русской души и рационализм Европы имеют глубочайшие корни, которые надо знать и чувствовать.

Именно потому система образования в России не должна быть основана на очередных планетарных утопиях и пренебрежении к религиозно-этической основе собственной национальной культуры. Нашей целью является создание системы образования, основанной на глубоком освоении духовного наследия России через воссоздание русской национальной школы и одновременно на приобщении граждан к лучшим достижениям мировой цивилизации.

И. Г. ЧИСТЯКОВА

кандидат педагогических наук,
зав. лабораторией "Русская школа в зарубежье"

Самым горьким результатом ликвидации Советского Союза и превращения его республик в независимые государства стало геополитическое расчленение русской нации. Семнадцать процентов русских, то есть больше, чем все население Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, вместе взятых, внезапно и не по своей воле оказались жителями иностранных государств. Это число в 10—12 раз больше общего числа эмигрантов революционных лет, периода после Отечественной войны и движения диссидентов. Причем более половины наших соотечественников родились именно в этих регионах, то есть в ныне суверенных республиках, а следовательно, по международным законам, для них это родина и они являлись и являются ныне неотъемлемой составной частью народов новых независимых государств.

Зоной особой социально-этнической напряженности в странах ближнего зарубежья стало образование. В настоящее время 8,5 миллиона русских школьников учатся в школах ближнего зарубежья. Так, например, в Казахстане русские учащиеся составляют 52% от общего числа обучающихся, в Латвии — 46%, в Молдавии — 38%, в Эстонии — 37%. В общем числе школьников, живущих в

странах ближнего зарубежья, 35% являются русскими. Однако количество школ с русским языком обучения постоянно сокращается. И эта тенденция усиливается. Опять же пример — Азербайджан. В 1989 году было 165 школ с русским языком обучения, в 1993 году их осталось 90. Казахстан — более 4000 было в 1989 году, осталось 3000. Узбекистан — 400 школ, сейчас уже 270. В Армении было 85, осталось всего 4 русских школы. Анализ состояния русской школы за рубежом, проведенный нашей лабораторией, показывает, что во всех суверенных государствах проводится целенаправленная политика свертывания образования и воспитания на русском языке. Например, за один год только в Кишиневе из 112 детских садов 42 преобразованы в молдавские, во всех смешанных детских садах прекращен набор детей в младшие русские группы. В городе закрыты все группы с русским языком обучения в профессионально-технических училищах и прекращен набор в такие группы в техникумах. Следовательно, подростки лишены возможности получить на родном языке даже рабочую профессию. На сегодняшний день среди 5480 студентов первых курсов вузов Молдавии всего 445 русских студентов. Есть примеры просто дикости и варварства. Так, в ночь с 7 на 8 сентября 1993 года в городе Львове были разгромлены 5 русских школ: выбиты окна, поломаны двери, стены изуродованы надписями типа: "Москали, убирайтесь с Украины". Львовские коллеги предоставили нам фотодокументы этого погрома. В ряде государств власти переводят русские школы на самофинансирование или предоставляют возможность заботиться о них русским общинам, которые, как правило, не имеют сами средств для содержания учебных заведений. Все это ставит русские школы в дискриминационное положение по сравнению со школами для детей титульной национальности. А ведь родители русских школьников являются такими же налогоплательщиками, как и родители детей титульной нации, и в законодательном порядке имеют право на бесплатное образование для своих детей

Проблема образования русских в странах ближнего зарубежья, как мы теперь понимаем, принимает долговременный характер. Ее решение, по нашему глубокому убеждению, должно относиться к основным национальным интересам российского государства. Решение проблемы русского образования вне территории России мы видим в создании, в возрождении именно русской национальной школы. Для 8,5 миллиона русских детей такая школа должна стать основой формирования национального сознания, центром русской культуры, хранительницей основ русского духа. Обращенность образования к истокам русской культуры, духовному наследию, истории своего народа станет стержнем формирования духовно-нравственных убеждений. Несомненно важной, если не определяющей стороной в обучении и воспитании русских детей является приобщение их к православию. Попрание евангельского наказа "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне" имело целью разрушить христианское мироощущение и насадить культ земного благополучия. В то же время мы понимаем, что русская школа вне России должна быть открытой культуре этноса страны проживания, постижению иной национальной ментальности. Однако реализуемая в странах содружества и Балтии концепция школьного образования строится на том, что язык обучения — достаточное средство для придания образованию национального характера. Возникающее в результате этого смешение понятий русская и русскоязычная школа создает видимость того, что права русских на получение образования как бы и не ущемляются. На практике же иное. Школа с русским языком обучения обязана работать по единым местным национальным программам, а это создает реальную угрозу отчуждения русских детей от материнской культуры, ведет к утрате национального самосознания и, неизбежно, к ассимиляции. Более того, принимая во внимание националистические, антирусские настроения, официально культивируемые в ряде стран ближнего зарубежья, нетрудно представить, в каком духе в такой русскоязычной школе, работающей по программам и учебникам страны проживания, будут излагаться, например, русская литература, русская история. А вот и конкретные уже факты. В учебном пособии по истории, написанном премьер-министром Эстонии господином Лааром и присланном в 1993 году в русские школы Эстонии, содержится немало "открытий". На имеющихся в пособии картах нынешняя граница Эстонии обозначена пунктиром, Иван-город вообще исчез с лица земли, а Суворов, оказывается, капитулировал

перед моральным натиском эстов. Результаты Великой Отечественной войны даются, мягко говоря, в своеобразном толковании. Это не единичный случай новой трактовки истории. Познакомьтесь с учебными пособиями, подготовленными в Казахстане, Молдавии. Факты слишком серьезные. Поэтому наши ученые и писатели должны не только сказать свое слово о роли и месте истории и литературы в формировании национального самосознания, но и решиться на подвиг честного человека — создать новые учебники, достойные великой и многострадальной России и наших детей. Сейчас же наши дети учатся по учебникам, написанным авторами, для которых наше Отечество — "эта страна". И неудивительно поэтому, что, по результатам исследования института Гэллапа, русские занимают одно из последних мест на шкале патриотизма (из сорока с лишним стран, обследованных по шкале ценностей). Такой низкий уровень национальной самооценки русских, вероятно, и привел к тому, что по числу лиц с высшим образованием на одну тысячу населения русские оказались на шестнадцатом месте среди народов России в городе и на девятнадцатом — в селе.

Н. С. НЕСТЕРОВА

директор школы, Московская область

Я понимаю, что сегодня русские дети никому не нужны, и если, не в обиду сказано, дети других национальностей не будут обделенными пусть не в России, так за границей, то нашим, русским детям, деваться некуда. И рассчитывать, что к нам сейчас притекут миллионы для того, чтобы создавать русскую школу, не приходится. Надо рассчитывать только на себя и в рамках государственного обеспечения. Мы работаем второй год по созданию русской национальной школы. Что у нас уже получилось?

Первое. Мы ввели в учебный план новые дисциплины, это позволяет базисный учебный план. Такими новыми дисциплинами у нас стал целый блок, мы его называем "Народная культура", от первого пока по восьмой класс.

Школа в прошлом году стала коллективным членом Международного фонда славянской письменности и культуры. У нас как предмет введено краеведение. Без этого русская национальная школа мне, по крайней мере, не видится, не видится потому, что воспитывать любовь к Родине надо краеведением. Мы пытались это сделать сначала в среднем звене, но здесь трудность — кадры. Есть люди, которые замечательно знают краеведение, но не могут работать учителем, а учителя в недостаточной степени владеют краеведением. Над этим вопросом мы работаем второй год. В этом году мы открыли десятый класс, в котором ребята изучают краеведение, туризм и болгарский язык как второй славянский язык.

Второе. Наполняем новым содержанием традиционные предметы. Мы обратили внимание на то, что русская девочка всегда была рукодельной. Все — от царицы до крестьянки — занимались рукоделием, другое дело, что одни шили жемчугом, золотом по бархату, другие шили на суровой ткани и простыми нитками. Мы переделали программу по труду, и начали у нас девочки заниматься рукоделием. И девочку мы получаем не тусовочную, а совсем другую, домашнюю, изумительную девочку, воспитанную через этот предмет для семьи. С мальчишками дело плохо от нашей нищеты. Стали думать, что делать. Начали с корзиноплетения. Здесь не только, может быть, возрождение ремесла, сколько воспитание человека.

Физкультура. Мы обратили внимание на то, что дети наши не играют, они лезут на чердаки и в подвалы, в канализационные люки, но они не играют. Это трагедия. Сколько смысла заложено в наших русских народных играх! И мы поехали в Ленинскую библиотеку. Есть там удивительная книга 1884 года издания (Санкт-Петербург) "Игры для всех возрастов" — игры для взрослых и детей. Сейчас у нас дети учатся играть. И лапта вернулась, и городки, и клепень, и прочие игры. И когда наши дети стали играть в парке в лапту,— а у нас такие условия, что нет спортивной площадки, мы сжаты со всех сторон в городе, в страшных условиях мы работаем,— вы бы видели, как оживает генетическая память русского человека, как каждый, кто даже торопится, останавливается, не может пройти мимо. Нужно, чтобы дети заиграли, здесь большой психологический смысл.

Я не буду касаться других предметов. Если учитель заинтересован, он в каждом предмете сможет найти такое, что воспитывало бы русского ребенка.

Третье направление нашей деятельности — культурологическое направление во внеклассной работе. Ансамбль русской песни, фольклорный ансамбль.

Т. С. БУТЕНКО

инспектор районного отдела народного образования, Липецкая область

Здесь прозвучала фраза: "Мы присутствуем при рождении русской школы". Я внутренне не согласилась, не при рождении мы присутствуем, ребенок-то уже родился. Есть школы в Свердловске, в Кемеровской, Ленинградской, Липецкой областях, в Москве. О чем мы говорим, о чем мы спорим сейчас — нужно его рожать или нет? Есть он. Осталось теперь только выбрать оптимальный режим его жизни, определить, как и чем его будем кормить.

Говорили, что не надо торопиться, но мы уверены, что в данном случае промедление смерти подобно. Ведь государственные программы еще будут разрабатываться в лучшем случае не один год, а тот, кто недавно был в деревне, хорошо себе представляет, что такое сельская глубинка. Мы говорим уже не только о потере генофонда, мы говорим о том, что деревня уже сама по себе распадается. Да, сейчас идет искусственный приток, люди приезжают из других республик, из ближнего зарубежья. Но это все пока искусственно. Эти люди с трудом вживаются, трудно прирастают корнями.

Рассказывали о том, как один смелый товарищ замуровал розетку в комнате, чтобы не смотреть телевизор. Но мы-то ведь "ящику" рады, товарищи. Сельские клубы не работают, в библиотеках сельских нет книг элементарных, по школьной программе, даже не по программе русской школы. На весь район два книжных магазина. Отправить детей в этот книжный магазин за книгой я тоже не могу, потому что их родители по пять, по шесть месяцев не получают зарплату, и купить книгу немыслимо. Вывезти детей куда-то,— а у нас села расположены приблизительно в 60 километрах от областного центра,— например в театр, мы тоже не можем себе позволить — нет бензина. На территории района, а это более 30 сел, только два храма, один священник. Дети толком не знают, кто есть кто, утрачивается историческая память. Но если мы позволим себе еще два-три года ждать эти программы, наработанные, великолепные, замечательные, мы же упустим еще одно поколение!

Поэтому мы решили — когда же начинать, как не сегодня. Легкость, решительность, упорство — все вместе пришло еще вот с чем. Ведь этот эксперимент пришел к нам не летом этого года, когда мне показали министерские документы и там последним пунктом среди всех направлений, по которым стоит развивать школу, было записано: "Углублять знания детей об истории, культуре своего народа, способствовать возрождению русских традиций". Нам было легче, потому что дети поют, танцуют, потому что это их естественное состояние, нормальное состояние, это не спущенный по министерской указке эксперимент. У нас и до этого, в прошлом году, все школы района работали над такой проблемой, как, например, возрождение русской национальной традиции. У нас проводились великолепные фольклорные праздники и без этого эксперимента. Только оказалось, что нужно все свести воедино, придать этому целостность и законченность.

Попытались мы это сделать на базе двух наших школ. Подготовлены экспериментальные программы, утвержденные с большими трудностями областным отделом образования.

Определены возможности каждого учителя и, самое главное, его место в эксперименте. Да, конечно, таких талантливых учителей, как Александр Николаевич Бабий из Рязани, у нас в школе пока мы не видим, я надеюсь, пока. Но ведь пока мы будем ждать таланты, уйдет время, поэтому решили действовать своими силами. И введение в эксперимент позволило учителям посмотреть друг на друга и каждому на себя иначе, открыть что-то свое.

Установили творческие связи, договорные обязательства с вузами. Нам это было легче еще и потому, что при Елецком государственном педагогическом институте создана первая в России кафедра историко-культурного наследия России. Они наши активные помощники, очень поддерживают нас. Создан постоянно

действующий семинар для педагогов, потому что педагоги знают очень мало по вопросам психологии, методики и культуры.

С этого учебного года введены в расписание новые учебные предметы: "История региона", "Литературное краеведение", "Музыкальный фольклор", "Прикладное искусство", "Светочи России", "Вклад России в мировую цивилизацию". Через уроки физкультуры, через кружки прошел такой предмет, как "Русские подвижные игры". С января вводим еще два новых предмета: "Русская педагогика" и "Человеческое общение". Правда, обещают нам пока читать (мы очень рады этому) преподаватели вузов, тут мы чувствуем свою слабость. Открыли факультативы "Самовоспитание", "Русский речевой этикет и этикет поведения", "Русская литературная классика", "Язык речевого общения" и другие. "Местные диалекты", "Русские подвижные игры", "Русская кухня", "Вышивка" и т. д.— это кружки, которые работают.

Школы взяли по 15—20 гектаров земли. Ребенок работает на земле. Наверное, эффект будет большой, во всяком случае, мы его ожидаем.

Есть удивительные находки в системе воспитательной работы. В конце февраля все село празднует масленицу, и школе остаться в стороне от этого просто невозможно в силу совершенно объективных причин. И вот была встреча масленицы, были Святки, были посиделки.

Недавно наши дети провели занятие в одном из кружков. Преподаватель дал задание нарисовать древо жизни своей семьи, своего рода. Кто-то занимался с большей увлеченностью, кто-то с меньшей, но когда стали подводить итог, оказалось, что почти все ученики школы — родственники. В пятом, в седьмом колене, где-то там дальше. Мало того, что они вспомнили, поспрашивали отцов, матерей, бабушек и дедушек, они поняли, что ругаться друг с другом нельзя, надо жить в мире, надо жить в добре и согласии. Но ведь самое-то главное, что сделано силами этого преподавателя,— об этом заговорили родители, об этом заговорило все село: "Товарищи, да что же мы ругаемся? Нам помогать друг другу нужно".

Н. Н. ПОДЪЯКОВ

академик Российской Академии образования

Дети 6—7 лет приходят в школу из семьи. Семья закладывает основу личности ребенка, основу его способностей, и поэтому проблема русской школы не может быть решена без решения проблемы русской семьи. Я бы даже более жестко сформулировал: проблема русской школы является в известной мере производной, поскольку если не будет русской семьи, в полном значении этого слова, то не будет и русской школы. Если же нам удастся сохранить русскую семью, то русскую школу мы обязательно сделаем, она обязательно будет.

А русская семья сейчас находится в очень большой опасности, я бы сказал, она находится в еще большей опасности, чем русская школа. Жесточайшей деформации подвергается как семья в целом, так и ее отдельные функции. Первая основная функция семьи — репродуктивная, воспроизводящая функция — разрушается самым жесточайшим образом, сокращается количество детей, рождаемость падает, растет детская смертность. На ребенка идут атаки еще в чреве матери, то есть он еще не родился, а уже испытывает все отрицательные воздействия нашей жизни и родится, как правило, большей частью уже недостаточно здоровым. Я не говорю о других неблагоприятных факторах: мутации, генные изменения и так далее.

Вторая основная функция семьи — воспитательная. Она сейчас уже значительно разрушена. Почему? Каковы сейчас цели воспитания? Никто не знает, не знают толком ни ученые, ни родители. Потому что это зависит оттого, в каком обществе будут жить их дети — при капитализме или при каком-то другом строе? Но и капитализм разнообразен. Может быть, они будут жить при мафиозно-волчьем южноамериканском капитализме, а может быть, при облагороженном скандинавском капитализме. А может быть, еще какой-нибудь строй будет? Когда мы говорим о русской школе, о русской семье, с самого начала нужно четко ставить вопросы, для каких условий, для какой страны, для какого общества мы будем

воспитывать людей. Это в значительной мере определит и наш подход. В этом плане родители начинают искать сами. Иногда у них двойственная позиция, кстати, двойственная позиция характерна и для наших государственных чиновников. Мне не раз предлагали принять участие в специальных программах для подготовки бизнесменов с дошкольного возраста. И я должен был отработать период с 4 до 7 лет и точно рассчитать, какие способности у детей необходимо формировать в этот период, чтобы они стали успешными бизнесменами. И такая работа, которую мне предложили, оплачивается в десятки и сотни раз больше, чем программы нравственного воспитания для дошкольников и младших школьников. Я отказался, но нашлось много людей, которые взялись и делают такие программы, по которым маленькие бизнесменчики четырехлетнего возраста уже готовятся.

Далее — экономическая функция семьи. Экономика страны разрушена, экономическая функция семьи также разрушается.

Основным фундаментом русской семьи, позволяющей ей еще держаться, является семейная традиция. Семейная традиция — это отобранный в течение поколений и, как правило, лучший опыт русского народа в сфере функционирования семьи. Этот опыт позволяет осуществлять преемственность в развитии поколений, а преемственность — основное условие развития вообще. Традиции создают условия преемственности между поколениями и тем самым позволяют нормально функционировать обществу. Сейчас главная опасность в том, что эти традиции разрушаются и это самым отрицательным образом сказывается на семье.

Видные русские общественные деятели XVIII—XIX веков, характеризуя русскую семью, как главную ее черту выделяли задушевность, сердечность отношений, которые существовали между мужем и женой, родителями и детьми на протяжении всей жизни, от младенчества до глубокой старости. Фундаментом таких отношений являлась неисчерпаемая родственная любовь, характерная для людей большой душевной щедрости и доброты. Эта любовь являлась в конечном итоге той великой силой, которая определяла самые главные черты русской семьи, ее сущность. Отсюда традиционно высокая устойчивость русской семьи к внешним разрушительным воздействиям, суровым испытаниям. Чем разрушительнее были внешние воздействия, тем прочнее становилась семья, очищаясь от мелких раздоров и обид, сплачиваясь для преодоления внешних трудностей. Этот своеобразный механизм саморегуляции помог многим семьям пережить наиболее трудные периоды российского государства.

Русская семья таила и таит в себе колоссальную скрытую энергию, пробуждающуюся в наиболее тяжелые времена. В этом состоит загадка и отгадка силы, выносливости русского народа, который в невыносимо тяжелых, непрерывно ухудшающихся условиях, гибельных для других народов, лишь наращивал и наращивал свое сопротивление, крепчал и мощнел, вызывая панику даже у самых сильных врагов. В основе многих побед и успехов России лежит секрет прочности и устойчивости русской семьи. В настоящее время эта традиционная особенность русской семьи, которая всегда мобилизовывала наш народ, когда он чувствовал и видел врага явного, подвергается особенно жесткому испытанию, потому что брат идет на брата, то есть внутри самих семей начинаются раздоры, все наше общество расколото на два лагеря. Сейчас разрушение семьи идет по более хитрому пути: явного врага, кому следует сопротивляться, нет; кто враг, народ еще не разобрался. В этих условиях особенно опасно, если семья потеряет свою самобытность.

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

ОПЕРАЦИЯ НА ОТКРЫТОМ СОЗНАНИИ

ТЕ ЛИ ВЕСТИ ПРИНОСИТ ГОНЕЦ?

Приведенная в Россию гражданская война — то холодная, то горячая — вновь поставила в центр внимания телевидение и его роль в нашей жизни (и смерти). Мы прикованы к экрану, лихорадочно пробегаем все доступные программы — мы зависим от ТВ. Как же оно использует свою власть над нами? Средний человек, пожалуй, и не стал бы над этим задумываться, да само ТВ во время войны в Чечне привлекло внимание своей нервозностью. Ни с того ни с сего Киселев воззвал: "Не казните гонца, он приносит вам те вести, какие есть". Сам поднял вопрос, о котором мы и не думали — а теперь думаем. Да те ли вести нам приносит этот гонец? И почему нужно нас убеждать, что ТВ — не более чем гонец? Гонец ли?

Был важный симптом — отношение военных в Чечне к репортерам. Почему это они отпускали им затрещины, ломали их камеры, а то и пугали их автоматом? Деятели ТВ видели в этом "руку Москвы" — мол, демократы-начальники желают зажать гласность и велят солдатам травмировать репортеров. Чушь, солдаты умеют и от более важных приказов увильнуть. А тут, видно, если и был такой приказ, он почему-то пришелся по душе и выполнялся с радостью. Что же случилось? Ведь это уже не ненавистная Советская Армия, не кованый сапог тоталитарного режима, на борьбу с которым репортеры ТВ вышли как довольно сплоченная группа! Это уже армия, подчиненная демократам, выполняющая их приказы. Армия, у которой, в сущности, изъято ядерное оружие и складировано под охраной элитных контрактных частей в таком состоянии, что его уже не привинтить к ракетам и не подвесить к самолетам.

А ведь ни в Красной Армии, ни в Советской, какими бы "нецивилизованными" они ни были, репортеров не били, к ним относились бережно и любовно. Что это за парадокс? Дело в том, что армия, какие бы приказы ей ни приходилось выполнять и в какую бы форму ее ни обряжали, остается самым консервативным порождением России и не может вытравить из себя сокровенные представления о добре и зле. А ТВ, напротив,— самая мобильная структура, оно быстро сбросило с себя советскую шкуру и предстало как космополитическая, а пожалуй что и все более антинациональная сила. Как соглядатай и организатор нашего российского горя.

Попробуйте снять сегодня кордоны ОМОНа около Останкина — толпы людей приедут, чтобы оплевать кое-кого из репортеров. Так ведь солдаты и офицеры в Чечне — это те же мы, только еще в состоянии страшного эмоционального напряжения, да втравленные в самую грязную часть той программы, в которую и все мы втравлены. И когда в пределах досягаемости появляется ТВ без охраны ОМОНа — разве не естественно ему получать подзатыльники? Потому что это — не наше ТВ, это не то ТВ, которое приезжало в армию даже в такое трудное время, как афганская война. Это — ТВ мировой закулисы, которая устроила, вместе со всеми нашими бурбулисами, все это безумие на просторах СССР. В чем же суть этого нового телевидения?

На поверхности лежит тот факт, что это система, которая в наиболее агрессивном и явном виде противопоставила себя подавляющему большинству народа по главному сегодня вопросу — о том, что происходит в России. Конечно, где-то есть финансовые воротилы, которые захватывают наши заводы, вывозят нашу нефть и алюминий, разрушают наше сельское хозяйство и планируют прокладку нефтепровода через Чечню — но их мы не видим. Мы видим, причем ежедневно, их приказчика и агитатора — ТВ. Такое ТВ, которое, подчиняясь невидимой дирижерской палочке, навязывает нам нужную этим воротилам точку зрения, которое отрезает народ от слова и мысли практически всех общественных деяте-

КАРА-МУРЗА Сергей Георгиевич родился в 1939 году. Окончил химический факультет МГУ в 1961 году. Доктор химических наук, профессор. Автор книг "Проблемы организации научных исследований", "Проблемы интенсификации науки: технология научных исследований", а также многих журнальных и газетных статей. Живет в Москве.

лей (включая космополитов), представляя их отдельными, вырванными из контекста фразами или даже обрывками фраз, в лучшем случае, смонтированными интервью с вопросами, явно уводящими от сути дела. ТВ, которое ставит над нами эксперименты, позволяя затем наемным социологам изучать нашу реакцию.

Зачем, например, два раза в год запускают передачу о предателе Власове как "честном борце со сталинизмом"? Прекрасно известно А. Н. Яковлеву, что образ Власова "не прижился". Так не в нем и дело. Он используется для измерения уровня раздражения, как кислота, на которую реагирует лапка лягушки. Идеологи регулярно делают замеры — как реагируют на эту кислоту разные категории населения: молодежь, офицерство, рабочие. Вычисляется динамика, прогнозируется момент слома национального самосознания, когда средний студент МГУ скажет наконец: "Ну что ж. Предатель — это ведь как посмотреть".

Те деятели ТВ, которые его олицетворяют и безраздельно господствуют на экране, нисколько и не скрывают главного: они целиком поддерживают курс на радикальную либеральную реформу в России и на "возвращение в мировую цивилизацию". Этот новояз означает курс на слом основных устоев российской цивилизации — хозяйственных, культурных и духовных, на полное раскрытие страны переваривающему воздействию Запада. Ведь даже главное орудие этой программы — режим Ельцина — критикуется ТВ именно за колебания, за "откаты", за компромиссы.

Между тем многими независимыми и перекрестными исследованиями показано, что как минимум 85 процентов населения сознательно отрицают этот курс, считают его губительным. Да, эта масса людей, сохранившая присущие России культурные стереотипы и архетипы, смущена и расколота идеологически. Поэтому она не может выделить из себя организованное и стойкое оппозиционное движение, во многом благодаря работе ТВ. Но ведь эта масса не может не быть враждебной главным установкам ТВ как системы. И не надо притворяться "гонцом", честно приносящим переданное ему послание. Не такие уж люди глупые.

Вот типичный случай. 22 июня 1992 года около Останкина собрались тысячи две человек, отделенные от телецентра 10-тысячным кордоном ОМОНа, собак, грузовиков. Наблюдая это интересное зрелище, я обратил внимание на телеоператора с умным интеллигентным лицом. Он внимательно рассматривал толпу и, найдя особенно колоритную и непривлекательную фигуру (возбужденную растрепанную женщину, убогого или явно ненормального человека), продвигался к ней и долго снимал своей камерой в разных ракурсах. Понаблюдав за ним минут пятнадцать, я подошел и спросил, не чувствует ли он моральной ответственности за явное искажение реальности, дезинформацию общества, да еще ведущую не к умиротворению, а к расколу. Он явно не ожидал "такой постановки" и даже смутился, начав что-то лепетать о жанре телеискусства. Но в следующий момент появились человек пять обычных с виду молодцов в штатском и оттерли меня от "деятеля телеискусства".

Но сегодня это показалось бы детской шалостью. Сделан огромный шаг вперед. За один день я по разным программам восемь раз увидел отрезанные головы четырех наших пограничников и услышал, что это таджикские мусульмане мстят за действия русских в мусульманской Чечне. Кто в этом эпизоде ТВ — "гонец" или соучастник крупного и давно ведущегося проекта — раскалывания России по линии русско-мусульманского конфликта? Я утверждаю, что соучастник, причем совершенно циничный. Одна бригада специалистов нанимает группу "мусульман" (как правило, из маргинализованных мелкобуржуазных элементов, никакого отношения к исламу не имеющих — это изучено арабскими социологами) для того, чтобы они перешли границу и устроили гнусный спектакль с телами наших солдат. По всем канонам "перформенса", этого растленного западного искусства. А уже российское ТВ берется донести это зрелище до каждой русской семьи, да по нескольку раз. Вероятно, при этом редакторы программ получают деньги из другой кассы, чем "мусульмане" *.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ: ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ

Революционеры, разрушавшие СССР и советский строй, действовали в соответствии с установками Антонио Грамши, создавшего новую теорию революции. Он учил, что надо действовать не в лоб, как русские рабочие и крестьяне, не штурмуя базис общества, а через надстройку — силами интеллигентов, совершая

* СССР пережил длительную и тяжелую войну с басмачами в Средней Азии. Там всякое бывало — но не было задачи стравливать русских с мусульманами, и никто не сыпал соль на раны, рассказывая об отрубленных головах. Потому-то ту войну наши народы преодолели. Сегодня мы видим совсем другую установку — и за это благодарить наше ТВ?

"молекулярную агрессию" в сознание и разрушая "культурное ядро" общества. Собьешь людей с толку, подорвешь культурные устои — бери всех тепленькими, перераспределяй собственность и власть как хочешь. В такой революции ТВ стало главным оружием, посильнее тачанки Чапаева. Больше того, теория Грамши положена в основу современной рекламы. Ведь, в принципе, задачи схожи — убедить человека купить абсолютно ненужную вещь или отказаться от советской власти и выбрать мэром Попова. А сегодня оказалось, что соединение этих двух типов рекламы умножает силу "молекулярной агрессии".

Так небольшая профессиональная группа — творческие работники телевидения — превращается в организацию, в особую спецслужбу, ведущую разрушительную войну против сознания и мышления всей массы своих соотечественников. Не все из них это понимают (скорее, не хотят понять). Они упоены своим могуществом и безнаказанностью, горды тем, что на охрану им приданы вооруженные до зубов "витязи". В какую духовную яму они погружаются! Но мы уже видим "тоску предателя" в глазах этих привлекательных молодых людей. Каждый из них сегодня — на распутье.

Но их судьба на фоне происходящего — мелочь. Давайте задумаемся, почему режим Ельцина, не имея под собой значимой социальной базы, загоняя народ в страшную, уже всем ясно видимую яму, так легко управляется с организованной частью народа — так называемой оппозицией? Она и мычит, и брыкается, а то и перепрыгнет канаву и спрячется от пастуха в кусты — не хочет идти,— а все равно, свистнет подпасок, укусит за ногу Шарик, и бежит она рысцой, куда надо. Радуется тактическим высоткам, которые ей сдал для утешения противник.

Наша слабость, даже самой здравомыслящей части, в том, что мы уповаем на *привычные* способы борьбы, пусть даже для нас самые тяжелые. Способы той поры, когда не было телевидения. Так и думает сейчас, хотя бы втайне, большинство: в крайнем случае, повоевать всегда успеем. А то, глядишь, и какую-нибудь недорезанную ракету раскочегарим и саму НАТО напугаем. А пока — "заманивай их, ребята!" Но в том-то и дело, что этот стереотип поведения уже прекрасно изучен, а значит, против него найдены эффективные приемы. В последний момент даже подорвать себя гранатой вместе с врагом никто не сумеет — врагом окажется резиновая кукла, а из гранаты с шипением пойдет какая-нибудь вонь.

Все предыдущие попытки "вестернизации", слома российской цивилизации: шведы и тевтоны, поляки с иезуитами, Наполеон и Гитлер, Керенский с Троцким — были неудачными. Ответ России, соединяющий воинскую традицию и хитрость множества ее народов, во всех случаях был неожиданным, нетривиальным. Традиционное общество России оказывалось более творческим, и "русские прусских всегда бивали". Так мы с этой присказкой Суворова, как бы навсегда подтвержденной Жуковым, и успокоились. Но противник изменился, а мы — нет, вот в чем суть. Буденный был лихой рубака на японской и германской, стал новатором на гражданской, но оказался беспомощным в сорок первом.

Между тем Запад сделал большой скачок в интеллектуальной технологии борьбы. Неважно, что в целом мышление "среднего человека" там осталось механистическим, негибким — кому надо, эти новые технологии освоил. Специалисты и эксперты, советующие политикам, освоили новые научные представления, на которых основана "философия нестабильности". Они научились быстро анализировать состояние неопределенности, перехода стабильно действующих структур в хаос и возникновения нового порядка. Историки отмечают как важный фактор "гибридизацию" интеллектуальной элиты США, и прежде всего вторжение в нее большого числа еврейских интеллигентов с несвойственной англосаксам гибкостью и парадоксальностью мышления.

Все это вместе означало переход в новую эру — постмодерн, с совершенно новыми, непривычными нам этическими и даже эстетическими нормами. Что это означает в политической тактике? Прежде всего, постоянные *разрывы непрерывности.* Действия с огромным "перебором", которых никак не ожидаешь. Так, отброшен принцип соизмеримости "преступления и наказания". Пример — чудовищные бомбардировки Ирака, вовсе не нужные для освобождения Кувейта (не говоря уж о ракетном ударе по Багдаду в 1993 году). Аналогичным актом был танковый расстрел Дома Советов. Ведь никто тогда и подумать не мог, что устроят такую бойню в Москве.

Буквально на наших глазах в этом направлении сделан следующий важный шаг — устранение моральных норм даже в отношении "своих". В мягкой форме это проявилось на Гаити, где вдруг дали под зад генералам, отличникам боевой и политической подготовки академий США, которые всю жизнь точно выполняли то, что им приказывал дядя Сэм. И вдруг и к ним пришла перестройка — морская пехота США приезжает устанавливать демократию и посылает ту же рвань, что

раньше забивала палками демократов Аристида, теми же палками забивать родню генералов.

Но буквально с трагической нотой это проявилось в ЮАР. Когда мировой мозговой центр решил, что ЮАР нужно передать, хотя бы номинально, чернокожей элите, так как с нею будет можно договориться, а белые все равно не удержатся, то и "своих" сдали даже с какой-то радостью, которой никогда раньше не приходилось наблюдать. Вот маленький инцидент. Перед выборами белые расисты съехались на митинг в один бантустан. Митинг вялый и бессмысленный, ничего противозаконного. Полиция приказала разъехаться, и все подчинились. Неожиданно и без всякого повода полицейские обстреляли одну из машин. Когда из нее выползли потрясенные раненые пассажиры — респектабельные буржуа, белый офицер подошел и хладнокровно расстрелял их в упор, хотя они умоляли не убивать их. И почему-то тут же была масса репортеров. Снимки публиковались в газетах, и все было показано по ТВ.

И вот первый вывод: ни "Буря в пустыне", ни расстрел Дома Советов, ни Чечня, ни убийство африканеров в ЮАР не были бы нужны, если бы эти сцены не могли быть показаны по телевидению. Все эти ломающие этику и мировоззрение акции были тщательно подготовленными сценами, смысл которых — именно их телетрансляция в каждый дом, в каждую семью. В этих акциях даже невозможно сказать, кто главный актер: стреляющий из танка капитан Русаков, гибнущие от выстрела люди или телерепортер.

Западные философы говорят о возникновении "общества спектакля". Мы, простые люди, стали как бы зрителями, затаив дыхание наблюдающими за сложными поворотами захватывающего спектакля. А сцена — весь мир, невидимый режиссер и нас втягивает в массовки, а артисты спускаются со сцены в зал. И мы уже теряем ощущение реальности, перестаем понимать, где игра актеров, а где реальная жизнь. Что это льется — кровь или краска? Эти женщины и дети, что упали, как подкошенные, в Бендерах, Сараево или Ходжалы, — прекрасно "играют смерть" или вправду убиты? Послушайте, как говорили, особенно поначалу, дикторши ТВ о гибели людей в Грозном — сами их улыбки и игривый тон показались бы еще пять лет назад чем-то чудовищным.

Речь идет о важном сдвиге в культуре, о сознательном стирании грани между жизнью и спектаклем, о придании самой жизни черт карнавала, условности и зыбкости. Это происходило, как показал Бахтин, при ломке традиционного общества в средневековой Европе. Сегодня эти культурологические открытия делают социальной инженерией. Помните, как уже лет двадцать назад Ю. Любимов начал идти к этому "от театра"? Он устранил рампу, стер грань *. У него уже по площади перед театром на Таганке шли матросы Октября, а при входе часовой накалывал билет на штык. Актеры оказались в зале, а зрители — на сцене, все перемешалось. Сегодня эта режиссура перенесена в политику, на площади, и на штык накалывают женщин и детей.

Это стирание грани, "устранение рампы", думаю, есть нарушение важнейшего культурного табу, запрещающего впускать в мир "потустороннее". Рампа (или рама картины) — это та меловая черта, которая отделяет нашу земную жизнь от созданного фантазией художника ее образа, ее призрака. Эта черта не разрешает призраку спускаться к нам, а нам — подниматься в этот призрачный мир. Всякое такое смешение миров, выходы в мир персонажей картин и портретов, наше вхождение туда всегда представлялось в кошмаре художника встречей с сатанинским началом. Но "Портрет" Гоголя или театр Мейерхольда были лишь прелюдией. Беззащитным оказался человек перед экраном телевизора. Уже сегодня, на памяти последних лет, с его помощью множество людей и целые народы заставили совершить чудовищные по своим последствиям действия.

Вот "бархатная революция" в Праге. Какой восторг она вызывает у нашего либерала! А мне кажется одним из самых страшных событий. От разных людей, и у нас, и на Западе, и от самих чехов я слышал эту историю: осенью 1989 года ни демонстранты, ни полиция в Праге не желали проявить агрессивность — не тот темперамент. Единственный улов мирового ТВ: полицейский замахивается дубинкой на парня, но так и не бьет! И вдруг, о ужас, убивают студента. Разумеется, кровавый диктаторский режим Чехословакии сразу сдается. Демократия заплатила молодой жизнью за победу. Но, как рассказывают, "безжизненное тело"

---

* Разделение и соединение сцены со зрительным залом театра — вечная проблема сценографии. Во времена Возрождения, когда размывались структуры старого общества, театр и жизнь смешивались, но условность карнавала как короткого момента "жизни вне рамок", была явной. Потом долго была сцена-коробка, которую в конце прошлого века даже отделили от зала светом (в зале стало темно). Станиславский сделал огромный шаг — отделил сцену невидимой "четвертой стеной". Мейерхольд, напротив, вывел театр в зал, и этот принцип был развит и у нас, и в Европе. За всем этим стоит нечто гораздо большее, чем технология и сценический эффект.

забитого диктатурой студента, которое под стрекот десятков телекамер запихивали в "скорую помощь", сыграл лейтенант чешского КГБ. Все в университете переполошились — там оказались два студента с именем и фамилией жертвы. Кого из них убили? Понять было невозможно. Много позже выяснилось, что ни одного не было тогда на месте, — один в США, другой где-то в провинции. Спектакль был подготовлен квалифицированно. Но это уже никого не волновало. Вот это и страшно, ибо, значит, все уже стали частью спектакля и не могут стряхнуть с себя его очарование. Не могут выпрыгнуть за рампу, в зал. Нет рампы. Даже не столь важно, было ли это так, как рассказывают. Важно, что чехи считают, что это так и было, что это был спектакль, но его вторжение в жизнь считают законным.

Особое внимание философов совершенно невероятным сценарием привлекла Тимишоара — спектакль, поставленный для свержения и убийства Чаушеску *. Изучающий "общество спектакля" итальянский культуролог Дж. Агамбен пишет о глобализации спектакля, то есть объединении политических элит Запада и бывшего соцлагеря: "Тимишоара представляет кульминацию этого процесса до такой степени, что ее имя следовало бы присвоить всему новому курсу мировой политики. Потому что там секретная полиция, организовавшая заговор против себя самой, чтобы свергнуть старый режим, и телевидение, показавшее без ложного стыда и фиговых листков реальную политическую функцию СМИ, смогли осуществить то, что нацизм даже не осмеливался вообразить: совместить в одной акции чудовищный Аушвиц и поджог рейхстага. Впервые в истории человечества недавно похороненные или находящиеся в моргах трупы были наспех собраны и выкопаны, а затем изуродованы, чтобы имитировать перед телекамерами геноцид, который должен был бы легитимировать новый режим. То, что весь мир видел в прямом эфире на телеэкранах как истинную правду, было абсолютной неправдой. И несмотря на то, что временами фальсификация была очевидной, это было узаконено мировой системой СМИ как истина — чтобы всем стало ясно, что истинное отныне есть не более чем один из моментов в необходимом движении ложного. Таким образом, правда и ложь становятся неразличимыми, и спектакль легитимируется исключительно через спектакль. В этом смысле Тимишоара есть Аушвиц эпохи спектакля, и так же, как после Аушвица стало невозможно писать и думать, как раньше, после Тимишоары стало невозможно смотреть на телеэкран так же, как раньше".

После Тимишоары мы увидели подобные инсценировки в Вильнюсе, а затем, по нарастающей, все более реалистичные спектакли, где уже приходилось жертвовать большим числом статистов. Но, несмотря на предупреждения, массы людей смотрят на телеэкран так же, как раньше.

НЕМНОГО О ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ

Человек может сознательно контролировать, "фильтровать" сообщения, которые он получает по одному каналу, например, через слово или через зрительные образы. Когда оба эти канала соединяются, эффективность внедрения в сознание оказывается потрясающей — "фильтры" рвутся. Так получилось с комиксами: любой, самый примитивный текст легко заглатывался, если сопровождался столь же примитивными рисунками. Комиксы стали первым мощным жанром, формирующим сознание "массового потребителя" **. Телевидение умножило мощность этого принципа. Текст, читаемый диктором, воспринимается как очевидная истина, если он дается на фоне видеоряда — ряда образов, снятых "на месте событий". Критическое осмысление резко затрудняется, даже если видеоряд не имеет никакой связи с текстом. Обратите внимание — чуть не в половине случаев это какие-то обрезки видеозаписей из архива. А иногда, то ли для проверки нашей тупости, то ли из озорства, на экране показывают вообще посторонний сюжет — какие-то автомобили, верблюды, городские толпы. Неважно! Эффект вашего присутствия "в тексте" достигается.

Советское телевидение было, быть может, скучно — но оно было целомуд-

---

* Убить его было совершенно необходимо, так как он создал недопустимый для всего "нового мирового порядка" прецедент — выплатил весь внешний долг, освободил целую страну от удавки МВФ. Показал, что в принципе можно, хотя и с трудом, выскользнуть из этой петли.

** Мы видим и обратное: там, где надо снизить эффективность коммуникаций, делается все возможное, чтобы расчленить принятую систему сочетания слова со зрительными образами. Например, в здании Думы, оборудованном самой дорогой мебелью, полностью отсутствуют совершенно необходимые для нормальных деловых обсуждений настенные доски и экраны (для представления графиков, таблиц, диаграмм и т. д.). Трудно поверить, что дизайнеры, которые планировали оснащение Думы, не знали, что доски и экраны — обязательная принадлежность помещений парламентов, правительств, фирм в "цивилизованном" мире.

ренно. Оно не использовало оружия манипулирования сознанием и эмоциями (потому и было скучным). Самое эффективное оружие — соединение рекламы (фикции, красочного вымысла) с "объективным", информативным телерепортажем. Против обеих этих вещей может по отдельности устоять человеческое сознание, но оно беззащитно против их комбинации: бесстрастный репортаж создает инерцию "доверия", которое распространяется на идущую вслед за ним рекламу, а реклама, возбуждающая эмоции, готовит почву для восприятия идей, заложенных в "бесстрастном" репортаже. Потому так резок водораздел между советским телевидением, отвергавшим это дьявольское открытие культурологов, и демократическим ТВ, которое взяло это открытие на вооружение. Экономическая заинтересованность в рекламе — чушь, копейки. Главное — именно воздействие на сознание.

А что мы видим из телерепортажей о Чечне? Вот тропинка вдоль разрушенного дома, вдалеке от боя. По этой тропинке бегут какие-то люди, за ними следует камера. Камера дергается, люди выпадают из кадра, сбивается фокусировка. Все так, будто оператор, в страшном волнении, под огнем снимает реальность. Мощный эффект присутствия, мы как будто вброшены в страшную действительность Чечни. Но это трюк, который должен имитировать реальность! Он описан в учебниках телерекламы и телерепортажа. Камера дергалась и сбивалась с фокуса только для того, чтобы создать иллюзию боевой обстановки. Это дешевый прием телерепортера, манипулирующего сознанием зрителя, — reality show (имитация реальности). На Западе его постоянно применяют в полицейских роликах, чтобы имитировать сфабрикованную задним числом съемку поимки бандитов или дорожной катастрофы. При этом зрителя вроде бы и не обманывают, будто это натуральная съемка, а сильнейшее эмоциональное воздействие от иллюзии достоверности достигается. Разве допустимо применять этот прием сегодня, в России, среди реальных смертей и разрушений!

Дьявольское оружие против души человека, которое сегодня постоянно и с дешевыми целями использует ТВ "этой страны",— показ того, что люди видеть не должны, что им запрещено видеть глубинными, неосознанными запретами. Когда ему это показывают (а запретный плод сладок), человек приходит в сильное возбуждение, с мобилизацией всего низменного, что есть в душе. Набор таких объектов велик, упомянем лишь таинство смерти. Смерть — важнейшее событие в жизни человека, и она должна быть скрыта от глаз посторонних. Культура, тесно связанная с инстинктами, вырабатывает сложный ритуал показа покойного людям. Одно из главных обвинений в адрес искусства, и особенно ТВ, в конце этого века — десакрализация, срывание покровов со смерти. Знаменитый фотограф Запада, который выставил высокохудожественные снимки смертной агонии своего отца, негласно изгнан из общества. Недавно застрелился французский фотограф, автор лучшего снимка десятилетия: маленькая девочка в Сомали бредет к пункту питания, а в двух шагах за ней вприпрыжку гриф — дожидается, когда она упадет. Во Франции фотографа спросили, отнес ли он девочку. Нет, сказал фотограф, я только гонец, приносящий вам вести. Его французы казнили —презрением *.

А в Москве ТВ крупным планом, смакуя ракурсы, показало погибшего в Чечне полковника МВД. Да еще с фарисейскими приговорками. Кто позволил выставить усопшего, не убранного со всеми священными ритуалами, на обозрение десяткам миллионов? Каким надо быть подонком, чтобы пустить этот клип в эфир!

Возмущение репортеров враждебностью военных в Чечне было наигранным, ибо эта их нормальная реакция также предусмотрена учебником. Что должен думать солдат, в мыслях готовый к смерти, когда видит человека с видеокамерой и жвачкой во рту? Как искусно этот тип заснимет его изуродованное тело? Надо поражаться сдержанности солдата, а не ныть о поломанных камерах. В Сомали "гонцы" с ТВ многих стран тоже любили снять реальность — как янки время от времени со скуки подгоняют свои БТРы и сметают с лица земли кварталы, в которых "укрылись партизаны", неважно какие. Вначале толпы сомалийцев просто наблюдали за этим с каменными лицами, а в один прекрасный день вдруг взяли и забили палками насмерть пятерых телерепортеров. "Возродители надежды" даже не успели развернуть пулеметы. Не понимают еще сомалийцы общечеловеческих ценностей, права на "свободу информации".

Вообще, Сомали стала важнейшим полигоном для ТВ эпохи постмодерна. Оно неявно, но эффективно внедряло в сознание западного обывателя мысль, что

---

* Кстати, мы могли бы спросить репортеров НТВ, которые в течение семи дней снимали и показывали нам неубранные тела двух погибших солдат нашей страны: почему вы не отложили на час свои камеры и не похоронили этих солдат хотя бы здесь же, в сквере? Нормальные люди в такой момент копают могилу хоть руками.

африканские племена хоть и напоминают людей, но, вы же сами видите, это низший, беспомощный подвид. ТВ периодически (видимо, с оптимально вычисленной частотой) показывало сомалийских детей в нечеловеческих условиях, умирающих и иногда умерших от голода. Рядом как стандарт человека показывался розовощекий морской пехотинец или очаровательная девушка из ООН, с лицом активистки "Общества защиты животных". И ни один гуманист не ворвался на ТВ с криком, что это преступление — показывать такие образы, а потом рекламу шампуня (а иногда эти образы даже составляли часть рекламы). По литературе можно судить, какова квалификация психологов и экспертов ТВ, и приходится отбросить предположение, что они не понимали, что творят: приучая своих зрителей к образу умирающих африканцев, они вовсе не делают белого человека более солидарным. Напротив, в подсознании (что важнее дешевых слов) происходит легитимация социал-дарвинистского представления об африканцах как низшем подвиде. Надо заботиться о них (как о птицах, попавших в нефтяное пятно), посылать им немного сухого молока. Но думать об этике? По отношению к этим бедным креатурам, которые глупо улыбаются перед тем как умереть? Что за странная идея *.

После уничтожения СССР мы увидели использование этой технологии в приложении уже к русским — помните кадры растерзанных тел, привезенных из Бендер, после которых демократическое ТВ сразу дало рекламу шампуня "Видал Сасун" с кондиционером в одном флаконе? Но это — лишь следование за учителями. В самих США, вполне подтверждая теорию Э. Фромма о некрофилии этого общества, ТВ буквально гоняется за любой возможностью показать своим зрителям "смерть в прямом эфире". Вот недавнее сообщение: судья Мервин Гарбис из Балтимора дал разрешение на видеозапись казни в газовой камере осужденного Джона Таноса. Крупная система платного телевидения считает, что трансляция казни в прямом эфире стала бы передачей века и принесла бы прибыль в 600 миллионов долларов.

СВОБОДА СООБЩЕНИЙ — ИДЕЯ-ВИРУС ПЕРЕСТРОЙКИ

Свобода слова ("гласность"), а шире — свобода распространения информации есть ключевой принцип атомизированного гражданского общества и либерального порядка жизни. Принятие этой идеи было культурной и духовной мутацией колоссального значения. Это и означает переход к современному западному обществу, к Новому времени — устранение всех свойственных традиционному обществу запретов (табу) и единой (тоталитарной) этики. "Бог умер!", и все стало дозволено — прежде всего в познании (науке) и сообщениях (искусстве). Была декларирована свобода от ценностных, иррациональных оков этики **. В науке критерием стала истинность, в искусстве — эстетика. От брака науки и искусства родились средства массовой информации, и самое энергичное дитя — телевидение.

Вместе с наукой как продукт буржуазного общества возникла идеология. Она быстро стала паразитировать на науке, пользуясь создаваемыми в ней методологическими средствами. Так, мощным средством науки был *редукционизм* — сведение объекта к максимально простой схеме. Способность упрощать сложное явление, выявлять в нем или изобретать простые причинно-следственные связи в огромной степени определяет успех идеологической акции. Исследования процесса формирования общественного мнения показали поразительное сходство со структурой научного процесса. Идеолог явно или неявно формулирует задачу-"тему", затем следует этап ее "проблематизации" (что соответствует выдвижению гипотез), а затем этап редукционизма — превращения проблем в простые модели и поиск для их выражения максимально доступных лозунгов, афоризмов

---

* Понимаю, что аналогия жестока. Но надо взглянуть в это зеркало. Представим, что у культурного европейца умирает ребенок. И врываются, отталкивая отца, деловые юноши с телевидения, со своими камерами и лампами, жуя резинку. Записывают последние моменты жизни. А назавтра где-нибудь на другом конце земли, в баре, какой-то толстяк будет комментировать перед телевизором, прихлебывая пиво: "Гляди, гляди, как умирает, пostреленок. Как у него трясутся ручки. Что ни говори, а это теле — все-таки большой прогресс". Как-то на Западе, участвуя в "круглом столе", посвященном ТВ, я предложил этот "мысленный эксперимент". Всех передернуло. Но ведь ваше ТВ, сказал я, это делает регулярно по отношению к африканцам — и вы не видите в этом ничего плохого.

** Сторонники свободы науки от моральных ценностей, ссылаясь на необходимость прогресса, предупреждают, что попытка связать науку с моралью будет означать сокращение эффективности познания. Пусть они правы, но ведь большинство людей на земле отнюдь не считают прогресс науки наивысшей ценностью и не желают быть заложниками этой ценности. Как пишет Н. А. Бердяев, "у Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на одной стороне была истина, а на другой Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом, т. е. пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта во имя живой истины целостного духа".

или изображений. Как пишет специалист по ТВ М. де Морагас, "эта тенденция к редукционизму должна рассматриваться как угроза миру и самой демократии. Она упрощает манипуляцию сознанием. Политические альтернативы формулируются на языке, заданном пропагандой".

Неразрывная связь свободы познания, свободы информации и свободы предпринимательства как основы западного общества — особая большая тема. Здесь мы отметим только то, что все это — вопрос веры. И вера эта подрывается самой жизнью. На многие эксперименты приходится уже накладывать запрет как на вмешательство в мир, несовместимое с его выживанием как биосферы. Но не только эксперименты, представляющие собой вторжение в объект, его существенное изменение, но даже и наблюдения не всегда являются ценностно нейтральными, ибо связаны с сообщением результатов — информацией. И это никак не связано с "качеством" информации, с тем, истинна она или ложна. Когда то и дело слышишь, что научное знание всегда есть добро, вспоминается саркастическая реплика Ницше: "Где древо познания — там всегда рай", — так вещают и старейшие, и новейшие змеи".

Исследователь, подобрав упавший с пиджака волос, определяет генетический профиль человека. Появляется некоторое новое (истинное!) знание, но оно может резко изменить жизнь человека (например, страховая компания не желает иметь с ним дела из-за повышенного риска преждевременной смерти; даже если результат сообщается лишь самому человеку, он небезобиден — обнародованный прогноз имеет тенденцию сбываться). Чем больше человечество втягивается в "информационное общество", тем большее значение для жизни каждого приобретает информация — просто знание, до всякого его приложения*. Как отмечал К. Ясперс, "если исчерпывающие сведения вначале давали людям освобождение, то теперь это обратилось в господство над людьми".

Мы знаем это и на обыденном уровне: полная гласность (например, возможность читать мысли друг друга) сделала бы совместную жизнь людей невозможной. Человеческие связи разрываются зачастую просто оттого, что "доброхоты" сообщают тебе то, что ты и так знаешь, но знаешь про себя. Примечательно, что разрушение наших культурных устоев под лозунгом построения "цивилизованного порядка" как раз и началось с требования "полной гласности" ("прозрачности"), что в пределе и есть абсолютный тоталитаризм.

Можно утверждать как общий тезис: с точки зрения сохранения сложных и тонких общественных структур ("неатомизированного" общества) свобода сообщений неприемлема. Наличие этических табу, реализуемых через какую-то разновидность цензуры, является необходимым условием для того, чтобы поддерживать разрушительное действие информации ниже некоторого приемлемого, критического уровня. Как показал весь опыт России последних восьми лет, у очень большой части творческих работников ТВ "внутренний редактор" в виде собственных этических норм отсутствует.

Понимаю, что это мое утверждение выглядит как слишком реакционное и покоробит даже патриотического либерала. Но пусть он укажет на разрыв в логике моих рассуждений.

СВОБОДА СООБЩЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЫНКА

Берусь утверждать, что в самой социальной философии либерализма скрыт запрет на свободу сообщений, прежде всего для ТВ. Мне скажут, что в идеологии неолиберализма заложено как постулат, что информация — товар, а движение товаров должно быть свободным. Аргументация проста: принципом рынка является свобода потребителя (покупателя товара) заключать или не заключать сделку о купле-продаже; свобода каждого потребителя ТВ гарантируется тем, что он в любой момент может нажать кнопку и перестать "потреблять" данное сообщение. Известный испанский специалист по философии права, автор книги "Свобода самовыражения в правовом государстве" М. Сааведра заявил на специальных слушаниях в Сенате, что для телевидения нет другого закона, кроме закона спроса и предложения: "Рынок — царь, и рынок подчиняет своему господству информацию, культуру, развлечения и даже достоинство личностей". Естественно, он

---

* Вот красноречивая иллюстрация. "Любопытный пример политического табу в области демографической статистики,— пишет израильский социолог Яарон Эзраи,— представляет Ливан, политическая система которого основана на деликатном равновесии между христианским и мусульманским населением. Здесь в течение десятилетий откладывалось проведение переписи населения, поскольку обнародование с научной достоверностью образа социальной реальности, несовместимого с фикцией равновесия между религиозными сектами, могло бы иметь разрушительные последствия для политической системы". Разве опыт Ливана не показывает, что это *нежелание знать* отнюдь не было абсурдным?

подтвердил это ссылками на свободу и демократию: "Пультом переключения телепрограмм осуществляется право голоса". Эта аргументация ложна, вернее, лжива.

Принципом рынка, гарантирующим свободу воли каждого участника сделки, является возможность принятия рационального решения. Это значит, что потребитель должен иметь возможность надежно знать, к каким последствиям для него приведет потребление данного продукта. Поэтому, например, так строго контролируется обозначение на упаковке товаров всех ингредиентов, особенно тех, которые могут оказать побочное, нежелательное воздействие или являются источником опасности при неправильном употреблении. Отсутствие таких сведений рассматривается именно как нарушение свободы потребителя — и за достоверным их сообщением следит целая система государственной цензуры.

Очень жестко контролируется рынок тех продуктов, которые меняют поведение потребителя, делая его "зависимым" от продукта — это лишает потребителя свободы, лишает его возможности принимать рациональные решения. К таким продуктам относится, например, алкоголь, рынок которого нигде (кроме, наверное, РФ) не является свободным. Крайним выражением этого свойства некоторых продуктов являются наркотики — они до сих пор почти повсеместно запрещены к продаже. Почему же? А как же свобода, не хочешь — не нюхай? Дело в том, что человек, начав нюхать, быстро становится "зависимым" от наркотика и утрачивает свободу. Значит, продажу этого продукта государство запрещает с помощью насилия, часто весьма грубого.

К какой же категории продуктов относится "товар" телевидения? Сегодня, после двадцати лет интенсивных и всесторонних исследований, не вызывает никаких сомнений, что телепродукция — "товар", сродни духовному наркотику. Человек, потребляя современную, освобожденную от контроля этики телепрограмму, не может рационально оценить характер ее воздействия на его психику и поведение. Более того, он становится "зависимым" от телевидения и продолжает потреблять его продукцию даже в том случае, если отдает себе отчет в ее пагубном воздействии.

Отсюда в рамках постулатов рыночной экономики и либерального общества следует, что телепродукция не может поставляться на рынок (в эфир) бесконтрольно. Государство обязано, защищая свободу потребителя, накладывать на этот рынок ограничения, попросту говоря, цензуру. Если оно этого не делает, то оно по какой-то причине становится соучастником одной стороны, что, по определению, является коррупцией. Обычно суть этой коррупции в том, что ТВ "платит" государству своей поддержкой с помощью доступной ему манипуляции общественным сознанием.

Не будем говорить о статистике и крупных социально-психологических исследованиях воздействия телевидения на психику. Давайте глянем всего на несколько недавних сообщений.

Барселона. Трое подростков, посмотрев ТВ, воспроизвели восхитивший их трюк. Поздно вечером они натянули через улицу пластиковую ленту и наблюдали, как она перерезала горло мотоциклисту. Он умер на месте.

Лондон. Два шестилетних мальчугана полностью разрушили дом своих соседей, чтобы повторить телепередачу и получить премию. В детской передаче показан построенный в телестудии дом, который требуется разрушить самым оригинальным способом. Дети-победители получают ценные призы.

Осло. Группа 5—6-летних детей на лужайке недалеко от дома забила насмерть одну из подружек. Она в игре представляла ту черепашку-ниндзя, которую в последней передаче все били.

Нью-Йорк. Малолетние приятели, посмотрев вместе средний боевик, наказали такого же малолетнего сына хозяев квартиры за то, что он отказался стащить для них конфеты из шкафа. Они подержали его за руки за окном 12-го этажа, требуя уступить. Поскольку он не отвечал (наверное, был уже в шоке), они разжали руки. Его маленький брат прыгал и плакал рядом, но помочь ничем не мог.

Таких сообщений поступает все больше и больше. И во всех случаях идет речь о совершенно нормальных детях из среднего класса. Они просто уже живут в "обществе спектакля" и не могут отличить жизни от того, что видят на телеэкране. Они — жертвы свободы сообщений. И, пожалуй, самое страшное — это то, что, когда в прошлом году в Лондоне судили очередную группу таких малолетних убийц-жертв, толпа взрослых респектабельных либералов пыталась напасть на тюремный фургон и линчевать детей. Второй раз сделать их своими жертвами.

Мы пока не линчуем малолетних детей России, мы их пока что всего лишь не защищаем.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ОЛЕГ ПЛАТОНОВ

МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР В РОССИИ (1731—1995 гг.)

ГЛАВА 2
(окончание)

В 1782 году Великая Национальная Ложа получила приглашение прислать своих делегатов на конвент лож системы "Строгого Чина", состоявшийся в Вильгельмсбаде. Посланы были И. Г. Шварц и П. А. Татищев. Руководил конвентом гроссмейстер всего ордена герцог Фердинанд Брауншвейгский.

На конвенте Великая Национальная Ложа России была признана независимой от Швеции и вошла в систему "Строгого Чина". Здесь ей было уготовано место восьмой провинции, разделенной на четыре области: 1 — Север (Санкт-Петербург); 2 — Центр (Москва); 3 — Юг (Киев); 4 — Сибирь (Иркутск). Король прусский и герцог Брауншвейгский получили мощный инструмент политического влияния на Россию, а русские "братья" стали их вассалами.

От герцога Брауншвейгского российские масоны получили себе в кураторы прусского чиновника, директора камеры принца прусского Вельнера.

Руководить Великой Национальной Ложей был поставлен немец И. Г. Шварц.

Вся система ставила русских "братьев" в зависимое от иностранцев, подчиненное положение. Организация была установлена следующая: учрежден Капитул, целью которого было высшее руководство и обсуждение догматических вопросов. В Капитул могли входить лишь "братья" обоих теоретических градусов (их полагалось два). В принятой системе имелись и другие, более высокие масонские градусы, но никто из русских их не удостоился. Должность председателя Капитула не была замещена, так как предполагалось, что ее займет наследник русского престола. Фактически первым лицом Капитула был гроссмейстер Шварц (канцлер)

Определенные роли, хотя далеко не первые, играли граф Татищев (Приор), князь Трубецкой, князь Черкасский.

Для текущей работы и переписки с зарубежными "братьями" была создана Директория.

Имелись высшие Ложи Матери, председателями которых должны были быть самые высокопоставленные масоны: "Коронованное Знамя" (Татищев), "Латона" (Трубецкой), "Озирис", "Сфинкс".

Подчинение русского масонства германскому влиянию и превращение его в орудие немецкой внешней политики активизировали проникновение в Россию одного из самых тайных представителей мировой закулисы — ордена розенкрейцеров. Центр этого ордена сначала находился в Германии, а затем в Австрии (Вена). Активное участие в нем принимал небезызвестный авантюрист Месмер. Покровительствовал ордену австрийский император Леопольд II. Как отмечают внутренние масонские источники, "розенкрейцеры писали о себе очень мало, старались пользоваться для лучшего сокрытия другими организациями..."[1]. Розенкрейцеры были организованы в десятистепенное масонство, причем градусы, следовавшие за тремя символическими, в России практически никому не давались. Таким образом, все руководство русскими розенкрейцерами было иностран-

---

Продолжение. Начало в № 2 за 1995 год.

---

1 ОА, ф. 730, оп. 1, д. 172, л. 9.

ным. Первая розенкрейцерская организация появилась в Москве в конце семидесятых годов и получила развитие с помощью Шварца. Сам он вошел в нее во время путешествия в Вильгельмсбад на масонский конвент. Шварц "развил имевшиеся в Москве их ложи, которые хотя и не слились с ложами Великой Национальной Ложи, но стали работать параллельно, что облегчалось тем, что масоны теоретического градуса были все одновременно и розенкрейцерами. Всех объединенных лож в Москве было около двадцати и около того же количества в провинции исключительно Центральной России"[1].

Как и в других масонских орденах, розенкрейцеры низших градусов посвящения ничего не знали о намерениях и планах вышестоящих. На низших градусах масонство было особым видом развлечения — "собирались, принимали, ужинали и веселились; принимали всякого без разбору, говорили много, а знали мало". "Я, — признается Новиков, — по сему масонству знал только четыре градуса; так я и говорю по своему знанию, а вышних по тому масонству 5, 6 и 7 или еще какие были я не знал, так я и ведаю, что они знали". Конечно, вся реальная работа против России и за ее спиною велась в высших градусах посвящения и была неизвестна многим рядовым масонам, которые использовались как прикрытие для преступной антирусской деятельности.

С 1787 года связным российских розенкрейцеров с их германскими начальниками стал А. М. Кутузов, который в это время уехал за границу для "изучения алхимии", жил там почти безвыездно и умер в Берлине.

В 1775 году Кутузов — один из основателей ложи "Астрея", а в 1780-м — член ложи "Гармония". Достиг он высших градусов, состоял членом Директории теоретической степени, находился в постоянной связи с одним из главных мировых масонов того времени Дю-Боском[2].

Именно среди розенкрейцеров можно увидеть самое большое количество шарлатанов и обманщиков, предлагавших в качестве платы за реальные политические услуги, измену и предательство некие высшие знания, якобы позволявшие управлять людьми и получать золото в неограниченных количествах. И среди русских вельмож и дворян находилось немало жаждущих заключить такую сделку. В Особом Архиве хранятся чертеж и описание некоего аппарата по производству магических материалов, предлагаемого розенкрейцерами простакам из числа русских вельмож.

Кроме ордена розенкрейцеров, следует отметить и еще одну организацию мировой закулисы — орден мартинистов. Он появился в России в середине шестидесятых годов XVIII века. Первым российским мартинистом считался князь А. Б. Голицын. Проводниками мартинизма в России были граф Т. Грабянка и адмирал Плещеев. Центром мартинизма стала Москва. Здесь в работе масонов принимали участие многие видные масонские конспираторы, и в частности А. Н. Радищев[3].

Мартинисты всегда имели высокопоставленных покровителей. В 1780-е годы открыто поддерживал мартинистов главнокомандующий Москвы старый масон З. Чернышев[4].

Елагинско-рейхелевские ложи в конце семидесятых годов приобрели вульгарно-авантюрный характер, "братья" собирались по вечерам, чтобы развлечься, посплетничать и обсудить текущие политические дела. Аферы обсуждались чуть ли не в открытую, все исконно русское презиралось и осмеивалось. Окончательная дискредитация елагинско-рейхелевского масонства произошла в связи со скандальными похождениями небезызвестного графа Калиостро, ставшего членом нескольких русских масонских лож и облапошившего множество "братьев" проектами получения философского камня и изготовления некоего "волшебного аппарата".

Характерным эпизодом этой аферы стало дело о золоте, которое Калиостро обещал производить при помощи своего волшебства пудами. "Братья", охваченные страстью к наживе, затрачивали огромные средства на создание волшебного аппарата по "производству золота" и разных магических материалов и аппаратов.

Самой пикантной страницей похождений Калиостро была организация им в Петербурге ложи египетского масонства. В эту ложу допускались женщины, и собрания ее при участии самого Калиостро приобретали характер оргий. Как

---

1 ОА, ф. 730, оп. 1, д. 172, л.9.
2 ОА, ф. 730, оп.1 д. 228, л. 119.
3 ОА, ф. 730, оп. 1 д. 172, л. 17.
4 Там же, д. 226, л. 15.

признают внутренние масонские источники, собрания этой ложи "имели иногда сходство с радениями некоторых сект"[1]. Эту сторону деятельности масонских лож высмеяла сама Екатерина II в своих комедиях "Обманщик" и "Шаман Сибирский".

Все злоупотребления, случавшиеся в масонских ложах, всячески скрывались, чему способствовала секретность этих организаций. По архивным источникам известны случаи похищения и утайки денег, непристойного поведения, пьянства и т. п.[2]

Человеческий облик большинства масонов не вызывал симпатий. Во всех их поступках проявлялось противоречие между словом и делом. Декларируя разные возвышенные чувства и деяния, масоны на практике являли собой самый отрицательный пример.

Масон граф Ф. Дмитриев-Мамонов, упоминаемый в масонских списках еще в 1756 году, отличался неслыханной жестокостью по отношению к своим крепостным, которых он мучил и пытал так, что они постоянно бежали от него. Дело дошло до императрицы, и над ним была учреждена опека.

Выдающийся "масонский человеколюбец" князь Н. В. Репнин в царствование Павла I прославился неслыханной жестокостью при подавлении волнения безоружных крестьян в селе Брасове Орловской губернии. По приказу Репнина, лично руководившего расправой, село обстреливалось из пушек в течение двух часов, было выпущено 33 артиллерийских снаряда, а затем открыт плотный оружейный огонь. В результате село было сожжено, убито 20, а ранено 70 крестьян, в том числе женщин и детей[3]. Так масоны проявляли свое настоящее отношение к русскому народу.

Мучителем своих крестьян был и знаменитый масон Куракин, не считавший их за людей и называвший их подлым сословием. Как свидетельствуют даже масонские источники, для Куракина карьера и внешний блеск составляли основу жизни. В отношениях с людьми, по общему отзыву, "он был холоден, проявление дружеских чувств было для него лишь вежливостью. Его не тяготили толпы слуг, и положение крестьян, ему принадлежащих, не было блестящим"[4]. Устроенные им благотворительные учреждения были для него проявлением чванливого барства, а не сердечным порывом.

Распространены были в масонской среде лихоимство и взяточничество.

Один из старых масонов, глава масонской ложи "Молчаливость" Роман Илларионович Воронцов, отец княгини Е. Р. Дашковой, воспитавший двух сыновей-масонов, за взяточничество получил прозвище "Роман — большой карман". Назначенный наместником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний, Р. И. Воронцов до того разорил поборами эти земли, что слух о его "неукротимом лихоимстве" дошел до императрицы. В своей безнравственности и невежестве Воронцов служил своего рода эталоном[5].

Для масонов подкуп и взятки служили испытанным орудием получения влияния. Следствие 1792 года установило, что масонские конспираторы подкупали многих государственных чиновников, цензоров, переводчиков и даже служащих при Тайной экспедиции. Особые суммы выделялись на подкуп газет, с тем чтобы они в положительном виде давали информацию о масонах, их изданиях и учреждениях[6].

Отечество масона — весь мир, он убежденный космополит. По-настоящему близкими для него являются только "братья" по масонскому ордену. Вступая в ложу, масон приносил секретную присягу с целованием креста и Евангелия, клянясь соблюдать тайну и выполнять все указания своих начальников, а они, как мы видели, были иностранцами, руководителями политики других государств.

Для примера приведем образец такой клятвы, данной князем Н.Репниным при вступлении в орден розенкрейцеров: "Я, Николай Репнин, клянусь всевышним существом, что никогда не назову имени Ордена, которое мне будет сказано почтеннейшим братом Шредером (прусский агент в России, бывший капитан прусской армии. — **О. П.**), и никому не выдам, что он принял от меня прошение к предстоятелям сего Ордена о вступлении моем в оный, прежде чем я вступлю и получу особое позволение открыться братьям Ордена. Князь Николай Репнин,

---

1 ОА, ф. 730, оп. 1, д. 172, л. 5.
2 Там же, д. 200, л. 49.
3 Русский Биографический Словарь. "Рейтерн — Рольцберг". СПб., 1913, с. 115.
4 Бакунина Т. А. Указ. соч., с. 46.
5 Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1978, с. 5.
6 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М., 1951, с. 604.

генерал-аншеф Российской службы".

На следствии по делу масонов в 1792 году масонская присяга совершенно справедливо вменялась в особую вину, так как по законам России ее подданные присягать могли только перед лицом высшей русской власти.

"По законам государственным присяга установлена для служения Государю и государству, а инаково оная никому не принадлежит, но вы (масоны. — **О. П.**) в противность сего, однако же, делали присягу при приеме, как из бумаг ваших видно, да еще секретную, а к тому же и чужестранцам..."

Масонские акты обязательно требуют сохранения полной тайны о деятельности лож от российских властей. Так, по данным следствия, было установлено, что в масонских документах" сказано, чтоб правительству о тайне орденской никакой грозимою казнию не открывать". Поэтому следствие справедливо вопрошало: а можно ли масона "почесть надежным государству членом?"

В начале восьмидесятых годов в России действовало 145 масонских лож. Императрица Екатерина II все сильнее ощущает, как стягивается вокруг нее кольцо масонского влияния, в котором проявлялась воля владетельных особ Запада, и прежде всего Германии. После конвента в Вильгельмсбаде, еще раз подтвердившего роль русских масонов как политических агентов прусского короля, Екатерина вполне осязаемо почувствовала угрозу своей власти. Принадлежавшие к правящим родам российские масоны вольно или невольно являлись орудием влияния западных владык. Часть масонов входила в ее ближайшее окружение — Н. И. Панин (возглавлявший внешнюю политику России и являвшийся воспитателем сына Екатерины Павла), И. П. Елагин (кабинет-министр), В. И. Бибиков, А. В. Храповицкий (статс-секретарь), Артемьев (обер-секретарь).

Активными проводниками масонской политики служили екатерининские вельможи из родов Долгоруких, Гагариных, Трубецких, Куракиных, Щербатовых, Чернышевых, Брюсов, Репниных и многих других.

О том, насколько опасный характер приобретало масонское влияние в ее окружении, свидетельствует пример графа Н. И. Панина, представлявшего собой типичный образец высокопоставленного масонского конспиратора, скрывавшего под личиной медлительного, добродушного человека жесткую волю, беспощадную мстительность и скрытность интригана.

В 1747 году назначенный посланником в Данию Панин отправляется туда через Дрезден, в Берлине представляется Фридриху II, а в Гамбурге получает известие о пожаловании его в камергеры прусского двора. Судя по всему, именно в это время он вступает в немецкую масонскую ложу, в которой работает все время пребывания за границей (12 лет). Очевидно, что не без сложных масонских интриг Панин внезапно становится воспитателем наследника русского престола Великого Князя Павла Петровича. Используя свое влияние воспитателя, Панин сделал наследника престола страстным поклонником Фридриха II и всего немецкого. С семидесятых годов рядом с будущим Павлом I, как мы уже говорили, постоянно находится для контроля доверенное лицо Панина масон (гроссмейстер ложи) князь А. Б. Куракин. После смерти Павла I стало известно (из его завещания), что он князю Куракину, "своему верному другу", завещал звезду ордена Черного Орла, которую носил прежде Фридрих II, сам передавший ее русскому цесаревичу, и шпагу, принадлежавшую графу д'Артуа. О том, как осуществлялось религиозное воспитание Павла, можно видеть из поступков Н. И. Панина, который, по-видимому, был человеком неверующим. При приглашении в законоучители к наследнику престола митрополита Платона Панин больше всего интересовался, не суеверен ли он, подразумевая под этим искреннюю и горячую веру, а в письме к своему масонскому брату Воронцову, который заболел от постной пищи, утверждал, что закон требует не разорения здоровья, а разорения страстей (масонский термин): "еще одними грибами и репою едва ли учинить можно", т. е. выступал против поста.

Не без интриг Панина наблюдателем за занятиями сыновей наследника престола Павла — Великих Князей Александра и Константина Павловичей — был назначен масон А. Я. Будберг[1]. Воспитателем же Великого Князя Александра был поставлен масон Муравьев.

Как глава внешнеполитического ведомства Екатерины масон Н. И. Панин проводит линию на постоянное сближение с Пруссией, в угоду которой ущемлялись национальные интересы России. По отзыву иностранных послов, "он похо-

---

1 ОА, ф. 730, оп. 1, д. 2

дил скорее на немца". Территориальный раздел славянского государства Польши, который он готовил по указке врагов славянского мира, был настоящим преступлением. Закулисная дипломатия Фридриха II, осуществляемая через Панина, вызвала резкое обострение русско-турецких отношений, вылившееся в 1768 году в войну. В этой войне Россия осталась без союзников. Этим воспользовался Фридрих II, чтобы привести к осуществлению давно задуманный проект раздела Польши. "На приобретение части Польши нельзя было смотреть как на победу, так как Австрия и Пруссия получили лучшие части даром"[1]. Разрушение славянской страны вело к ослаблению России и вместе с тем значительно усиливало Пруссию, постоянного потенциального противника российской державы. Чьи интересы преследовал здесь масон Панин, подготовивший этот договор? Граф Григорий Орлов, никогда не состоявший в масонских ложах, справедливо заметил, что люди, составившие договор о разделе, заслуживают смертной казни. Н. И. Панин был настоящим государственным преступником, замышлявшим разрушение русского государственного строя и свержение императрицы Екатерины.

Еще в 1762 году он подготавливает проект создания так называемого императорского совета, через который, по его мнению, должны проходить все документы, требующие подписи царя. Без санкции этого совета ни одно из решений государя не могло иметь законной силы. Сам совет мыслился в составе самых просвещенных вельмож, под которыми Панин подразумевал лиц, принадлежащих к масонским ложам.

Позднее, примерно в 1773 году, Панин вместе со своим секретарем Д. Фонвизиным (тоже масоном), естественно, с ведома масонского руководства составляет проект "конституции" в космополитическом, антирусском духе, согласно которой политическую свободу получало космополитическое дворянство, а русский народ терял даже право апеллировать к государю. Эту "конституцию" должен был принять после свержения Екатерины новый монарх, ставленник масонов.

Заговор против Екатерины готовился в подполье масонских лож. Сохранился рассказ об этом, записанный родственником секретаря Панина Д. И. Фонвизиным: "В 1773 или 1775 году, когда цесаревич (Великий Князь Павел Петрович. — **О. П.**) достиг совершеннолетия и женился... граф Н. И. Панин, брат его фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев... и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор для свержения с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своей подписью и дал присягу в том, что не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие...

При графе Панине были доверенными секретарями Д. И. Фонвизин, редактор конституционного акта, и Бакунин — оба участники в заговоре. Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решился быть предателем: он открыл фавориту императрицы князю Г. Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников, стало быть, это сделалось известным и императрице. Она позвала к себе сына и гневно упрекала его за участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков..."

Очевидно, в заговоре были замешаны многие вельможи — члены масонских лож, и Екатерина II не решилась тогда выступать открыто против столь мощной и влиятельной организации.

Как повествуется дальше, "из заговорщиков никто, однако, не погиб. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом с пожалованием ему 5000 душ и остался канцлером; брат его фельдмаршал и княгиня Дашкова оставили двор и переселились в Москву. Князь Репнин уехал в свое наместничество в Смоленск, а над прочими был учрежден тайный надзор"[2].

Хотя Екатерина II и одарила Панина, но с радостью писала в октябре 1773 года одной своей знакомой, что "дом ее очищен"[3]. Однако интриги Панина не прекращались.

В 1773—1774 годы Панин был причастен к заговорщической деятельности мировой закулисы, связанной с именем самозванки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы и гетмана Разумовского. Эта несчастная женщина, получившая известность под именем княжны Таракановой, стала жалкой игрушкой

---

1 Брокгауз и Ефрон. Т. 44, с. 694.
2 Цит. по: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1978, с. 56—57.
3 Брокгауз и Ефрон. Т. 44, с. 694.

в руках жестоких и расчетливых интриганов, стремившихся подорвать стабильность русской власти. Первоначальные нити этого заговора опять же ведут к прусскому королю Фридриху II.

При расследовании самозванка показала, что в семнадцать лет ее тайно провезли из Персии (где она воспитывалась ребенком) через Россию и Петербург в Берлин. После встречи с Фридрихом II самозванка стала называть себя княжной и говорить о своих правах на русский престол. В подтверждение своих прав несчастная показывала якобы настоящие копии завещаний императрицы Елизаветы Петровны, Екатерины I и Петра I[1]. В следственном деле самозванки приводится отрывок из ее письма Н. Панину, из которого следует, что она знала о конституционных интригах этого масонского конспиратора и, более того, обещала ему свою поддержку.

"Вы в Санкт-Петербурге, — писала самозванка Панину, — не доверяете никому, друг друга подозреваете, боитесь, сомневаетесь, ищете помощи, не знаете, где ее найти: можно найти ее во мне и в моих правах. Знайте, что ни по характеру, ни по чувствам я не способна делать что-либо без ведома народа, не способна к лукавству и коварной политике, напротив, вся жизнь моя будет посвящена народу... Если я не скоро явлюсь в Петербурге, это ваша ошибка, граф..."[2] Откуда самозванка могла располагать информацией, известной очень узкому кругу лиц и державшейся в строгом секрете? Безусловно, только по масонским каналам через агентов Фридриха II или также связанного с ней польского масона К. Радзивилла. Известно, что эта попытка мировой закулисы подорвать российскую власть провалилась, женщина, служившая орудием этого, по приказу Екатерины была арестована и умерла в крепости.

Несмотря на неудачи, Панин продолжал свои интриги и во второй половине семидесятых годов, помогая прусскому королю-масону расстроить сближение России с Австрией, выступавшей также против экспансионистских планов Берлина. В 1781 году его происки открываются. В связи с этим разыгралось известное бибиковское дело. В перехваченных письмах масона Бибикова к масону А. Б. Куракину (близкому другу и родственнику Н. И. Панина), сопровождавшему Великого Князя Павла Петровича, его мать Екатерина прочла жалобы на страдания отечества и "грустное положение всех добромыслящих". Екатерина совершенно справедливо придавала этому делу большое значение и "искала за Бибиковым и Куракиным более важных лиц"[3].

Неудивительно, что именно в 1782 году Екатерина предпринимает против масонства ряд решительных мер. Во-первых, выходит указ о запрещении тайных обществ, который, по сути дела, ставит "вольных каменщиков" вне закона. Во-вторых, из ее ближайшего окружения постепенно изгоняются масонские функционеры. Впрочем, последняя мера была начата еще раньше. Екатерина отдаляет от себя Н. И. Панина, Елагина, Храповицкого и еще целый ряд других известных масонов.

Несмотря на указ о запрещении тайных обществ, масонские братья продолжают свою подрывную работу. Закрылась только ложа, руководимая генералом Мелисино, являвшаяся редким примером неучастия в политических интригах.

Центр масонской работы переносится из Петербурга в Москву, а деятельность масонских лож становится еще более тайной и враждебной России.

"Вольные каменщики" усиливают организационную работу. Перестраивают свою деятельность Директория Восьмой провинции и Капитул Восьмой провинции, их руководитель Шварц получает диктаторские полномочия. В 1784 году основывается Директория Теоретической степени (Гаупт-Директория), располагалась она также в Москве, объединяя верховную масонскую элиту.

Особые полномочия получает главный координатор деятельности масонских организаций на территории России (и прежде всего их руководящего звена — теоретического градуса) И. В. Лопухин. Через него проходила вся масонская переписка как между отдельными ложами, так и между российскими масонами и заграничными центрами "вольных каменщиков".

Представители российского масонства активно консультируются с зарубежными центрами. После указа Екатерины важную роль здесь играет лично знакомый с прусским королем Фридрихом В.Н.Зиновьев. Он поддерживал контакты с руководителями иностранных масонских лож и служил одним из посредников

1 Молева Н. Ее называли княжна Тараканова. М., 1993, с. 72.
2 Там же, с. 178.
3 Брокгауз и Ефрон. Т. 44, с. 694.

между российским и иностранным масонством. В 1783 году Зиновьев шесть месяцев провел в Брауншвейге, где вел переговоры с герцогом Брауншвейгским. Руководитель мирового масонства дал Зиновьеву подробные инструкции, как действовать во имя ордена, и при отъезде снабдил его многими рекомендательными письмами к известнейшим масонам, жившим во Франции и Италии. С этими письмами Зиновьев посещает масонские ложи Генуи, Рима, Неаполя, Турина и других городов. В Лионе он вступает в особый масонский орден, объединявший самых знаменитых масонов, в частности, Виллермоза, Ренана, Сен-Мартена. Эти масоны учат, как следует участвовать в масонском строительстве, чтобы создать всемирную религию и подчинить себе все человечество.

После смерти Шварца в 1784 году великим мастером Провинциальной ложи, председателем Капитула Восьмой провинции и великим мастером в управлении теоретическим градусом становится генерал, князь Рюрикович Юрий Владимирович Долгоруков.

Восходит масонская звезда и других Долгоруковых. Высокие масонские должности получает и В. В. Долгоруков, генерал и действительный тайный советник. С 1784 года он становится вторым надзирателем Провинциальной ложи, наместным мастером управления теоретическим градусом и членом Капитула Восьмой провинции[1].

Князь Алексей Николаевич Долгоруков, генерал, состоит в руководстве Дружеского Ученого Общества.

Князь Григорий Алексеевич Долгоруков — член тайной ложи "Нептуна", в третьей степени в 1780 — 1787 годах, розенкрейцер, член теоретического градуса в Петербурге.

Случаи, когда представители высших княжеских и дворянских родов покидали масонские ложи после запрещения тайных обществ, крайне редки. Напротив, усиливая работу в подполье, масоны изыскивают новые легальные формы деятельности. Такой "крышей" становится так называемая "Типографическая компания".

Одновременно "вольными каменщиками" активизируется Дружеское Ученое Общество, бывшее рассадником масонского обскурантизма и обработки сознания русской молодежи в духе космополитических "идеалов". Многие воспитанники этого общества стали видными масонами. Основал Дружеское Ученое Общество специалист теоретического градуса Соломоновых Наук, наместник мировой закулисы в России И. Г. Шварц (с его смертью закрылось и общество).

В связи с деятельностью этих легальных масонских организаций важно понять настоящий смысл событий, связанных с именем выдающегося русского просветителя Н. И. Новикова.

Одной из основных отличительных черт масонства всегда было стремление использовать любое общественное движение в своих целях, закулисно возглавив его, регулируя в интересах своей подрывной идеологии.

Главное внимание, конечно, уделялось тем движениям, которые носили общенациональный характер и вытекали из особенностей развития русского народа. Масонские начальники были мастерами в политике и политической интриге. Как никто другой, они понимали, что с общественным движением, которое выходит из глубин национальной жизни, очень трудно или невозможно бороться в открытую, но его можно легко погубить, внедрив в него своих людей и придав ему за внешне привлекательной оболочкой противоположный характер.

Именно такая попытка и предпринимается масонскими начальниками со второй половины XVIII века. Характер общественного движения, происходившего в русском обществе в это время, был вызван потребностью реформирования русской жизни применительно к новым общественным условиям.

Петровские преобразования, носившие двойственный характер, давшие России немало положительного, вместе с тем привели к расколу, ощутимо противопоставив интересы разных слоев общества. Интересы русской жизни требовали преодоления этого раскола, проведения общенациональной реформы по пути смягчения противоречий между основной массой русского народа, мыслящей тысячелетними традиционными категориями, и сравнительно малочисленными слоями, рожденными преобразованиями Петра.

России требовались реформа на основе традиций, обычаев и идеалов национальной жизни и подчинение деятельности нового народившегося слоя национальным интересам русского народа. Мировые масонские круги предлагали свой

---

1 ОА, ф. 730, оп. 1, д. 226, л. 33.

вариант реформы — создание на основе "нового слоя" малого народа, ориентированного на Запад и управляемого масонской закулисой.

В этом смысле характерна безуспешная попытка превратить в представителя "малого народа" выдающегося русского просветителя Николая Ивановича Новикова, деятельность которого чаще всего совершенно неверно рассматривается только через призму его участия в работе масонских организаций. Факты жизни Новикова свидетельствуют, что это был человек, по своему духу неизмеримо превосходивший содержание этой подпольной организации и по своей сути — глубоко чуждый ей.

Более того, как писатель-просветитель, публикатор произведений древней русской литературы, он сложился еще до своего вступления в масонство, которое он по наивности пытался использовать в своих целях.

Работа в Комиссии по составлению нового Уложения в качестве секретаря ("держателя дневной записки"), издание сатирических журналов "Трутень" и "Живописец" с полной очевидностью выявили его национально-русские симпатии и резко отрицательное отношение к космополитизированным знати и дворянству. В журналах Новикова показаны космополитизированные дворяне, рассматривающие Россию как "неприятельскую землю, жадно терзающие ее для того, чтобы жрать, спать и развратничать. Это какие-то изверги без роду и племени, утратившие достоинство, честь и совесть, превратившиеся в скотоподобных завоевателей"[1].

Из уст подобных дворян-космополитов — почвы, на которой, собственно, и выросло масонство, — нередко можно было услышать: "Я не знаю русского языка. Покойный батюшка его терпеть не мог; да и всю Россию ненавидел; и сожалел, что он в ней родился; полно, этому дивиться нечему; она и подлинно этого заслуживает" ("Трутень", лист 3). Новиков презирает и ненавидит подобных дворян. Его симпатии на стороне простого русского народа, и прежде всего крестьян, которых он показывает трудолюбивыми и добродетельными, страдающими от притеснения дворян-космополитов.

Очевидно, что Новиков стоит на позиции реформирования русской жизни на национальных основах. Именно для этого им издаются сборники произведений древней русской литературы "Древняя российская вивлиофика" (1773—1775), которые свидетельствуют о величии духа русских людей. В предисловии Новиков писал: "Не все у нас еще, слава Богу! заражены Франциею; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описания некоторых обрядов, в сожитии предков наших употреблявшихся; с неменьшим удовольствием увидят некое начертание нравов их обычаев и с восхищением познают великость духа их, украшенного простотою"[2].

Участие Новикова в работе масонской организации — трагедия его жизни. Масонские конспираторы использовали политическую наивность Новикова, убедив его, что в рамках масонских лож он сможет реализовать свои просветительские замыслы, обещав ему помощь и поддержку. Для руководителей "вольных каменщиков" личность Новикова была ширмой для их преступных планов и способом взять под контроль его широкую просветительскую деятельность. Он был приглашен вступить в ложу "Астрея" в 1775 году, в возрасте 31 года, хотя, безусловно, имел такие возможности и раньше (в то время абсолютное большинство представителей правящего класса вступало в ложи в возрасте 18—25 лет). Как справедливо отмечал исследователь творчества Новикова Г. П. Макогоненко, в масонском ордене Новиков сразу же "занял независимую позицию", ополчившись в своих статьях против самих идеологических основ антиобщественной "философии" масонства. "На этой почве между Новиковым и руководителями русских розенкрейцеров — мистиком Шварцем, а позже политическим авантюристом Шредером — завязалась борьба, а между ним и остальными "братьями" возникла "холодность". Попав вскоре даже в число руководителей московского ордена розенкрейцеров, Новиков сумел, тем не менее, не только отстоять свою независимость от орденских начальников, отстраниться от мистических исканий "братьев", от нелепой обрядности, но и на какое-то время использовать средства ордена для своих просветительских целей"[3]. За 1779—1792 годы Новиков создает в Москве просветительскую организацию со своими типографиями, которая издает сотни трудов по отечественной истории, сочинения русских авторов, перево-

---

1 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М. — Л., 1954, с. XIII.
2 Там же, с. 373.
3 Там же, с. XXI.

ды западноевропейской классики, сочинения по педагогике, экономике, грамматике и сотни различных учебных пособий, букварей и др. Конечно, все это не могло понравиться зарубежным руководителям масонского ордена.

Независимость от масонского начальства предопределила дальнейшую судьбу русского просветителя. По сути дела, он был выдан на заклание, специально подставлен с тем, чтобы погубить просветительское дело, ради которого он жил. Из многих десятков высокопоставленных масонских руководителей, в том числе занимающих видное положение при императорском дворе, судебному преследованию подвергся только Новиков, хотя известны были масонские персоны и значительно важнее. В 1792 году он был арестован.

Из следственного дела Новикова видно, что многих преступных политических интриг, которые вели масоны против русского государства, Новиков просто не знал, более того, он не знал содержания некоторых масонских книг, которые печатались в его типографии по указанию масонских начальников. Ему объясняли, что он не готов к пониманию их таинств. Новиков не ведал, кто возглавляет орден розенкрейцеров, в котором состоял, а знал лишь своего непосредственного начальника. На допросе он показал: "Кто суть действительно из начальников... мне открыто не было, и я не знаю не только сих, но ниже того, который за моим первым или ближайшим, которого одного только и знать по введенному порядку в ордене я мог".

Вступающим в орден обещали со временем открыть все тайны бытия и умение управлять событиями с помощью магии и каббалы, а до этого требовали послушно исполнять все приказания масонских начальников. Шли годы, а русских "братьев" не спешили знакомить с высшими таинствами. Причем возникало естественное сомнение, а существовали ли эти высшие таинства вообще и не было ли постоянное упоминание о них приманкой для легковерных с целью придать высший смысл существованию ордена, на самом деле носившего чисто политический характер?

На допросе Новиков сообщил: "В магии и каббале и не могли из нас никто упражняться, как то по бумагам видно, находясь в нижних только еще градусах, и мне о сих науках, кроме названия их, неизвестно".

Из показаний Новикова следовало, что каждому вступающему в орден показывали чертеж таинственного содержания со словами "Шесть великия дни дел" и на просьбу объяснить его говорили, "что сей чертеж расположен и писан каббалистически, и кто не упражнялся еще в нижних познаниях, тот не может понимать и разуметь вышних... а могут его разуметь только находящиеся в самых высших градусах". Рассуждения эти были чистой воды шарлатанством.

В общем, все материалы следствия говорили о том, что Новиков был сравнительно маловажной фигурой в масонской иерархии. И тот факт, что главный удар пришелся именно по нему, свидетельствует о сложной интриге, затеянной против него самими масонами из ближнего окружения императрицы. Понимая, что удара не избежать, масонские конспираторы решили отвести его на второстепенное звено своей цепи, уничтожив одновременно один из центров русского просвещения. Механизм этой интриги требует еще специального изучения. Очень характерно, что в деле о масонстве не пострадал ни один высокопоставленный масон, ни один из руководителей масонских орденов. А имена их хорошо известны следствию. Это тем более удивительно, что царице было доложено, что в берлинских ложах 1790—1791 годов поднимался вопрос о замене царствующей особы на русском престоле. В интриге этой были замешаны и русские масоны, пытавшиеся воспользоваться тяжелой военно-политической обстановкой в Европе для захвата власти в России. Дело против Новикова было затеяно при участии московского генерал-губернатора графа Я. А. Брюса, известного своей принадлежностью к масонским ложам.

Большую роль в осуждении Новикова сыграл донос крупного масонского функционера князя Г. П. Гагарина, руководителя многих лож, великого мастера Великой Провинциальной Ложи, Префекта Капитула "Феникса". Кстати, это не помешало ему занимать руководящую масонскую должность и в начале XIX века.

В общем, посадив в Шлиссельбургскую крепость Н. И. Новикова и отправив в ссылку некоторых его соратников, императрица как бы поставила точку на этом деле. Реально никто из масонов не пострадал, сохранялась сложная сеть масонских лож, которые продолжали свою подпольную деятельность, зато был уничтожен до основания один из центров русского просвещения. Поэтому можно

согласиться с выводом исследователя Макогоненко, что Новикова преследовали "не за масонство, а за огромную... просветительскую деятельность, которая стала крупным явлением общественной жизни восьмидесятых годов"[1].

Просидев четыре года в крепости, не получая никакой помощи и забытый своими "братьями", Новиков многое понял. И прежде всего то, что он стал заложником тайных политических интриг "вольных каменщиков".

Выйдя из крепости, Новиков резко дистанцировался от масонских структур, хотя нигде и не объявлял об официальном "разводе" с ними, понимая, чем это может ему грозить. В свою очередь, масонские руководители находили для себя выгодным эксплуатировать образ Новикова как "невинного мученика за масонскую идею", не признаваясь в том, что он от них практически отошел. Об этом, в частности, свидетельствует переписка Новикова с Д. П. Руничем. Из ответа Новикова на письмо Рунича от 1808 года видно, что Рунич высказывал намерение не сближаться в Москве ни с кем из масонов. Новиков одобрительно к этому отнесся, предлагая Руничу свое дружеское участие[2]. В 1792 году, по секретному сообщению Екатерине II князя Прозоровского, в России было около 800 масонов, однако эта официальная цифра сильно преуменьшала численность "братьев". По нашим примерным расчетам, их было 1500—2000 человек. Но главное — это была хорошо организованная сила, руководимая из единого центра, не имевшая никаких моральных ограничений.

В 1794 году Екатерина II специальным указом полностью запрещает деятельность масонских лож.

В простом народе, в городской среде, русские люди называли масонов фармазонами, вкладывая в это понятие совершенно определенный смысл: мошенники, обманщики, непорядочные люди. Отношение всех истинно русских людей к масонству было крайне отрицательным. Ни один из по-настоящему выдающихся русских людей не принадлежал к масонам, хотя последние задним числом хотели приписать к своему подпольному обществу таких великих личностей, как Суворов, Кутузов, Карамзин.

Наши исследования в архивах позволяют сделать вывод, что участие в масонских ложах этих личностей — не более чем случайные эпизоды юности, не имевшие для них никакого значения. Порвав еще в юности связь с масонами, они не поддавались на их уговоры снова вступить в ложу и получить самые высокие степени.

В общем, оглядываясь на царствование Екатерины, можно с удовлетворением сказать, что все по-настоящему значительные деятели ее эпохи, сохранившиеся в исторических анналах, сторонились масонских лож[3]. Насмешливо или с презрением относились к этим подпольщикам Г. Потемкин, братья Орловы, Державин.

Крайне враждебно высказывался о масонстве знаменитый русский полководец Румянцев-Задунайский.

Резко отрицательно относился к масонству М. В. Ломоносов, видя в нем опасную для русской культуры болезнь. Кстати, многие его противники и недоброжелатели по Академии Наук (в частности, Теплов) состояли в масонских ложах. Выступая против иноземного засилья, Ломоносов призвал готовить "национальных, достойных людей в науках".

Другой великий русский ученый и просветитель А. Т. Болотов, когда ему предложили вступить в масонскую ложу и прельщали разными выгодами тайного "братства", ответил: "Прошу покорно меня от того уволить. Все, что вы ни говорите в похвалу вашему обществу, мне уже давным-давно известно, и вы не первые, а меня уже многие и многие старались преклонить ко вступлению в масонский орден и в другие секты и общества... (не вступать в них. — **О. П.**) обязует нас... наш христианский закон, думаю, что нам и тех должностей и обязанностей довольно, и что нет никакой нужды обязывать себя какими-либо другими должностями, а нам дай Бог, чтоб и те только исполнить, которыми обязует нас христианская вера"[4].

(Продолжение следует)

---

1 Новиков Н.И. Избранные сочинения. М. — Л., 1954, с. 741.

2 Русский Биографический Словарь. "Романова — Рясовский". СПб., 1918, с. 594.

3 Грустное исключение составляют, наверное, только В. Баженов и некоторые художники, которые, впрочем, романтизировали это преступное сообщество, видя в нем не то, что оно представляло собою на самом деле.

4 Болотов. А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова... М., 1986, с. 696.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

За право иметь дом на земле

ИГОРЬ АРТЁМОВ

РУССКИЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ИСТОРИИ

Россия и Чечня

События в Чечне всколыхнули Россию. Главный вывод, который можно сделать, проанализировав реакцию различных политических сил страны на подавление режима Дудаева в Грозном, заключается в следующем: война в Чечне окончательно и бесповоротно развеяла миф о существовании в России "единой право-левой оппозиции" и расколола так называемую "партию власти и реформ". Случилось то, что должно было случиться естественно и закономерно. Многие вчерашние ярые ельцинисты (Гайдар, Явлинский, С. Ковалев, Юшенков, Боннэр и др.) агрессивно выступили против политики "первого всенародно избранного". С ними солидаризовались крайне левые (Анпилов), ряд депутатов Думы от КПРФ, "центрист-государственник" Ю. Скоков, руководитель РНС А. Стерлигов, многие руководители национальных образований в составе РФ (Р. Аушев — Ингушетия, Н. Федоров — Чувашия, М. Николаев — Якутия, М. Шаймиев — Татария) и другие.

Выводы из этих событий очевидны: как только режим Ельцина, до того занимавшийся преимущественно разрушением российской государственности, предпринял действия по ее укреплению, вчерашние непримиримые враги — радикальные демократы и коммунисты выступили против него чуть ли не единым фронтом. Напротив, русские национальные организации, ранее находившиеся в жесткой оппозиции кремлевским властям, принципиально политику в Чечне поддержали.

Таким образом, события, начало которым было положено введением в Чечню частей российской армии в декабре 1994 года, могут стать и, видимо, станут началом нового, уходящего в XXI век, этапа российской истории.

Итак, в чем исторические корни и смысл происходящего?

В течение всего периода существования СССР нам внушали, что национальность человека имеет несравненно меньшее значение, чем его социально-классовая принадлежность. А ведь наши предки, желая подчеркнуть полное ничтожество, непотребность того или иного человека, говорили: "он без роду, без племени" (т. е. — без нации)!

Существует строго выверенная научная теория, одним из разработчиков которой был Л. Н. Гумилев. Это теория комплиментарности. Я не поклонник всех научных идей и гипотез Гумилева, многие из них, например, теория пассионарных толчков, кажутся мне чересчур романтическими, далекими от действительности. Однако на идее комплиментарности стоит остановиться: в ее активе богатый опыт проверки в условиях "чистого эксперимента".

Основные компоненты теории: 1) национальное имеет столь же фундаментальное значение для развития человеческого общества, как социальное и биологическое; 2) есть нации и народы, которые, соприкасаясь друг с другом, быстро находят общее, при этом идет взаимопроникновение культур, слияние мелких общностей с более крупными (так, многие угро-финские группы были поглощены славянами в Центральной России без каких-либо следов конфронтации); 3) есть

АРТЕМОВ Игорь Владимирович родился в 1964 году в Ашхабаде. Кандидат исторических наук. С апреля 1992 года — директор Московского историко-политологического центра — независимой научно-исследовательской организации. Один из основателей (1990) Русского Общенационального Союза (РОНС). С августа 1992 года — председатель Правления РОНС.

народы несовместимые: они должны либо жить порознь, либо обречены вести между собой постоянную борьбу.

Вспомним историю. Чеченцы составляли костяк, наиболее упорную и боеспособную часть войска Шамиля в годы Кавказской войны 1817 — 1864 годов. Вот что писал о чеченцах генерал Ермолов, главнокомандующий на Кавказе в 1817—1827 годах: “Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим не знакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников”.

После поражения и пленения Шамиля в 1859 году в Чечне продолжались антирусские выступления. Наиболее известны восстания 1860 —1861 годов, 1864 года (одновременно с польским восстанием), 1877 — 1878 годов (одновременно с русско-турецкой войной). Горцы продолжали поддерживать тесные связи с правительством султанской Турции и эмиссарами западноевропейских государств, прежде всего Англии. Не случайно все крупные восстания в Чечне и Горном Дагестане вспыхивали, когда Россия вела войны или оказывалась в состоянии холодной конфронтации с Западной Европой (как это было в период подавления мятежа польских повстанцев). Чеченские полки сражались в составе турецкой армии в годы Балканской войны 1877 — 1878 годов при Плевне, Адрианополе и др. Одним из турецких военачальников в этой войне был старший сын имама Шамиля, принявший турецкое подданство и дослужившийся до высших военных чинов турецкой армии.

После окончания крупномасштабной войны в Чечне и Ингушетии существовало абречество. Абреки нападали на представителей местной русской администрации, офицеров, купцов, убивали и грабили крестьян. Волнения в Чечне не утихали вплоть до 1917 года. Еще в начале XX века в России издавались целые книги и брошюры, где приводились списки убитых и ограбленных (по месяцам, годам и проч.) людей. Тактика внезапных ночных нападений и быстрых отступлений в горы, круговая порука среди чеченцев не позволяли в большинстве случаев обнаружить и наказать непосредственно виновных в преступлениях. Это порождало уверенность в безнаказанности, создавало почву для разгула бандитизма.

В годы гражданской войны большинство чеченцев и ингушей поддержали большевиков. Чечня была центром сопротивления белому правительству юга России и армиям Деникина на Кавказе. В 1918 году в горных районах Чечни был создан так называемый “Северо-Кавказский эмират” шейха Узун-хаджи, объявившего “газават” — священную войну мусульман против христиан-русских. Его поддержали практически все авторитетные муллы и шейхи Чечни и Ингушетии.

В 1920 — 1923 годах чеченцы вместе с большевиками проводили репрессии против терских казаков. До революции терские станицы на Северном Кавказе подвергались нападениям горцев сравнительно редко. В отличие от крестьян казаки были вооружены. Их отряды преследовали и уничтожали уходящие в горы шайки разбойников, несли караульную службу. В ходе гражданской войны практически все способные носить оружие терские казаки воевали на стороне белых. После победы красных чеченцы расквитались с терцами “на всю катушку”. Станицы вырезались поголовно. В результате исконно казачьи земли по среднему течению Терека (где чеченцы никогда не жили) и вдоль Сунжи (где земли казаков, чеченцев и ингушей шли вперемежку) оказались почти полностью заселены спустившимися с гор союзниками советской власти. Так чеченцы и ингуши “зарабатывали” у большевиков право на свою “государственность”. В ноябре 1922 года была создана Чеченская, а в июле 1924 года — Ингушская автономные области. Тогда же, в 1924 году, был создан отдельный Сунженский казачий округ — на тех территориях, где терцев не успели вырезать окончательно. Однако и эти куцые остатки казачьего самоуправления большевики ликвидировали в 1929 году, передав Терский округ в состав Чеченской автономной области, которая в 1934 году была объединена с Ингушской, а в 1936 году получила статус автономной республики. Особо отмечу, что город Грозный (основанный в 1818 году при Ермолове как крепость Грозная) до 1929 года в состав Чеченской АО не входил и стал активно заселяться чеченцами только в 1960 — 1980-е годы.

В 1920 — 1930 годах наблюдалось полное единодушие между большевиками

и чеченскими "авторитетами". Столкновения между ними возникали в основном на почве взаимных грабежей. Однако к началу 1930-х годов, жестоко расправившись с Русской Православной Церковью, Кремль начал наступление и на ислам. В Чечне начались восстания (1930 — 1931, 1932, 1933 — 1934, 1937 годов), которые отчасти были вызваны также докатившейся до Кавказа коллективизацией. Особо крупным было восстание Хасана Исраилова. В феврале 1940 года на съезде в Галанчоже было объявлено о создании "временного революционного правительства". Движение было подавлено, однако вновь возобновилось с началом Великой Отечественной войны. В феврале 1942 года поднял восстание бывший прокурор ЧИАССР Майрбек Шерипов, брат одного из руководителей чеченских большевиков, соединившийся с группировкой Исраилова. В своих воззваниях руководители восстания подчеркивали, что они ждут прихода немцев, которые даруют Кавказу независимость и освободят от русских. Этот "этап Кавказской войны" отмечен массовыми зверствами против гражданского русского населения, ударами в спину Красной Армии и т. д., что в любом нормальном обществе квалифицируется как государственная измена. В период битвы за Кавказ, особенно осенью 1942 года, войска советского Северо-Кавказского фронта фактически были вынуждены сражаться на два фронта: против наступающих немцев (группа армий "А") и против повстанцев в своем тылу. Результатом стало массовое выселение значительной части чеченцев и ингушей в Казахстан и Узбекистан и ликвидация ЧИАССР весной 1944 года.

С горечью отмечу, что тактика большевиков в 1920 — 1940-е годы была очень похожа на поведение ельцинского режима в 1991 — 1994 годах. Чеченцев вначале вооружали, предоставляли им "суверенитет" и позволяли распоясываться. Затем, когда дело заходило слишком далеко, применяли к ним силовые методы. В 1944-м — под предлогом наказания предателей, в 1994 — 1995 годах — под лозунгом "восстановления конституционного строя".

В 1920 — 1930-е годы с помощью чеченцев большевики уничтожали "белоказаков и эксплуататоров". В 1991 — 1993 годы с помощью режима Дудаева кремлевские "демократы" (и. о. премьера Е. Гайдар, Г. Бурбулис и др.) обеспечивали "подлинный суверенитет" для национальных меньшинств России, а заодно их доверенные лица отмывали нефтяные деньги и осуществляли махинации с банковскими авизо.

Волнения в горных районах Чечни продолжались до конца 1950-х годов. С новой силой вспыхнуло абречество. Боевые действия стали утихать после начала массового возвращения депортированных чеченцев — в конце 1950-х — начале 1960-х годов. После восстановления ЧИАССР в 1957 году в ее состав были переданы населенные преимущественно русскими казаками Шелковский и Наурский районы Ставропольского края. В 1960-х — 1970-х годах местными властями осуществлялось целенаправленное переселение чеченцев и ингушей из горных районов в казачьи, при этом казаков угрозами и насилием вытесняли из их домов и станиц.

В 1950-е — 1960-е годы на территории СССР шло активное формирование чеченских и ингушских мафиозных криминальных структур. При их создании использовалась кланово-патриархальная структура чеченского общества, опирающегося на многочисленные суфийские ордена, действовавшие в чеченской среде с полуофициальным статусом все годы советской власти. Вот что сообщает по этому поводу генерал-майор Виктор Белозеров, возглавлявший в 1974 — 1985 годах КГБ ЧИАССР ("Независимая газета" 3.12.92): в семидесятые — восьмидесятые годы "здесь было 32 — 34 религиозных формирования мюридского толка. Так, секта Дини Арсанова, Али Метаева, зикристы и другие. И паритетно эти секты были представлены во властных структурах ЧИАССР, как и родоплеменные объединения — тейпы". Бывший руководитель республиканского КГБ признает, что он неоднократно обращался к местным авторитетам за содействием в разрешении тех или иных проблем. На вопрос, могли ли чеченцы — офицеры КГБ пренебречь во время службы дома интересами своих тейпов, Белозеров отвечает однозначно — нет, не могли!

К концу 1980-х годов чеченские преступные группировки стали одними из самых сильных в СССР. Они контролировали значительную часть контрабандного вывоза из страны золота, других драгоценных металлов и камней. "Внутренние" мафиозные группировки были тесно связаны с чеченской диаспорой в Турции, арабских странах и Западной Европе. Украденные в России ценности всплывали в Лондоне, Амстердаме и других столицах мира. Огромные капиталы были "заработаны" чеченским криминалитетом на торговле наркотиками, угоне и подпольной продаже автомашин, рэкете.

Только наивные люди могут всерьез полагать, что в таком жестко регламентированном обществе, как чеченское, фигура генерала Дудаева могла возникнуть случайно. Кадровая политика в СССР вполне позволяла ставленникам национальных мафий занимать важные государственные должности. Дудаев многие годы служил в Иркутской области, а затем стал командиром дивизии дальней авиации со штабом в Тарту. Именно по каналу "военный аэродром Тарту — Таллинский порт" осуществлялся вывоз из страны драгметаллов в 1980-е годы. В системе чеченских клановых группировок, действовавших на территории России, Дудаев занимал отнюдь не последнее место. Именно это позволило ему без видимых затруднений разогнать осенью 1991 года Верховный Совет в Грозном и самому занять место хозяина Чечни.

Имеет смысл сказать несколько слов об афганском прошлом Дудаева. В период войны базы и аэродромы дивизии, в которой он служил, находились в Союзе, а летчики выполняли боевые задания в Афганистане. Самолеты дальней авиации Ту-16 для средств ПВО моджахедов были недоступны. Данных об особых воинских отличиях Дудаева я никогда не встречал, награды же получали практически все офицеры, участвовавшие в боевых вылетах. Для бомбардировки Афганистана самолетами Ту-16 применялись только 9-тонные (!) бомбы. Разрушительная сила этих бомб была такова, что на военном жаргоне их применение называлось "изменение рельефа местности". Нечего сказать, хорош "исламский рыцарь", запросто стиравший с лица земли целые поселения мусульман-афганцев!

Три года правления Дудаева в Грозном стали периодом расцвета преступности и беспредела. В Чечне не действовали российские законы, не собирались налоги. Через прозрачную границу со Ставропольем текли потоки контрабандных грузов. На совести дудаевского режима — гибель не менее 10 тысяч русских и людей других национальностей, как в самой Чечне, так и за ее пределами. В 1993 — 1994 годах в одном только Грозном ежедневно убивали до 15 человек. Криминальные кланы наводнили Москву, Санкт-Петербург, проникли во все областные, многие районные города и поселки России. Страх, коррумпированность "демократических" властей, кризис национального самосознания русского общества стали их верными союзниками.

Совершенно очевидно, что корни конфликта, вырвавшегося наружу с началом военной операции против дудаевского режима, лежат не в "чеченской независимости", не в "сохранении территориальной целостности РФ" и уж тем более не в "конституционных правах граждан". Никакая "чеченская независимость" не была бы возможной без постоянного притока в ничего не производящую Чечню денег из России. Здесь вспомним об эпопее с фальшивыми банковскими авизо, о доходах чеченской мафии, распространившей свою преступную деятельность уже и на Западную Европу. Даже преступно оставленное в 1991 — 1992 годах в Чечне оружие не представляло бы угрозы для безопасности России само по себе — без горючего, без ремонтной базы, без боеприпасов.

Будущее, без сомнения, даст ответ на вопросы, кто в течение нескольких лет материально и политически поддерживал режим Дудаева в Грозном (напомню, и. о. премьера правительства РФ в период передачи вооружения Советской Армии "независимой Чечне" был Е. Гайдар) и чеченские группировки на территории России. Кто виноват в гибели русских парней в солдатской форме, которых бросили в бой под прикрытием фальшивых лозунгов "восстановления конституционного строя", без специальной подготовки, не обеспечив их информацией о противнике, не отработав связь и взаимодействие между подразделениями (министр обороны РФ с 1991 года — П. Грачев). Несмотря на это, русские солдаты и офицеры, воюющие в Чечне, проявили весьма высокий боевой и моральный дух. И это вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Мне не раз приходилось слышать, что эта война, ведущаяся вдали от коренных русских территорий, нам не нужна и никак на национальные интересы России не влияет. Это глубокое заблуждение. От рук чеченских бандитов в 1991 — 1994 годах погибло значительно больше русских, чем от пуль дудаевцев в Грозном. А "холодная" война страшна даже более, чем война "горячая". В последнее десятилетие существования СССР, особенно с начала горбачевской перестройки, русские как нация начали тихо вымирать. Мужчины превращались в безвольных алкоголиков. Женщины переставали рожать детей. Вместе с утратой Веры и Духовности нация постепенно утрачивала волю к Жизни, притуплялся инстинкт самосохранения, исчезало национальное Самосознание. В 1993 — 1994 годах за счет естественной (точнее — неестественной) убыли русское население Российской Федерации уменьшилось на 2,2 млн. человек! Никакие эксперименты реформаторов, в том числе разделение единого народа между 15 "суве-

ренными" республиками бывшего СССР, не могли пробудить в русских волю к Сопротивлению, а значит — к Борьбе, к Жизни, к Победе! Неужели сегодня только война способна пробудить русских от сна и показать, у края какой бездны они находятся?

Быть может, сегодня, у последней черты, русские поймут, что если мы, составляя 82% населения России (еще 5% — родственные белорусы и украинцы), будем трусливо отступать перед наглыми требованиями националистов из "субъектов федерации" и превращать этих экономических и этнических карликов ("коренные" народы республик РФ составляют только 6,6% ее населения) в политических хозяев огромной России — то нам грозит неизбежная историческая смерть. А вместе с русскими погибнет и Россия. Ведь только нации могут создавать государства — а не наоборот!

Переломная ситуация в общественно-политической жизни России предъявляет повышенные требования к лидерам русского движения. Какое право говорить от имени русского народа имеет отставной генерал КГБ А. Стерлигов, демонстрировавший дружбу с Дудаевым во время поездки в Грозный осенью 1994 года? Или он, по наивности, не ведал о том, как издевались дудаевцы над русскими стариками и детьми? Какие "весомые аргументы" предъявил один генерал другому, чтобы купить его совесть? Логично ли для "газеты духовной оппозиции", что вот уже многие годы выступает с продудаевских и промусульманских позиций ведущий идеолог этой газеты Шамиль Султанов? Какие выводы может сделать комиссия Гос. Думы по Чечне, председатель которой Говорухин неоднократно в моем присутствии, называя чеченцев "нашими братьями", уже в ходе войны утверждал: "оппозицию объединяет только ненависть к существующему режиму, никакой русской идеологии в многонациональной стране быть не должно"? Ярко проявили себя и многие депутаты-коммунисты. Они лишний раз подтвердили, что носители антирусской идеологии Маркса — Ленина не могут быть друзьями исторической России. Ведь лозунг "поражения своего правительства" был использован большевиками в 1904—1905, затем в 1914—1917 годах. Все мы знаем, какой трагедией для России обернулась их деятельность.

События в Чечне ясно показали, какую угрозу целостности и безопасности России несут в себе "суверенные" национальные республики в составе РФ. Некоторые их лидеры, как, например, Н. Федоров в Чебоксарах, заняли откровенно антигосударственную позицию. "В случае коллизии между принципом территориальной целостности и возможной массовой гибелью людей надо жертвовать территориальной целостностью", — заявил президент Чувашии. Но что предпринял Н. Федоров в бытность свою министром юстиции России против произвола чеченских уголовных группировок, когда столько людей в России погибло от их рук?

То, что именно республиканские "суверен-президенты" вкупе с "демократами" типа Гайдара — Юшенкова — Старовойтовой выступили единым фронтом — факт показательный и весьма поучительный. Для меня не подлежит сомнению, что в будущей России не должно быть никаких национальных образований. Должны быть губернии и исторически оправдавшие себя формы национально-культурной автономии и самоуправления всех народов России. Виновные в халатности и непрофессионализме, как в политической, так и в военной областях, должны нести строгое наказание. Но любая деятельность, направленная на подрыв государственного единства, тем более в период войны, должна квалифицироваться как акт национально-государственного предательства со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Возвращаясь к реалиям чеченской войны, кратко отмечу следующее. Нам необходимо определиться с территориальным и государственным статусом Чечни и, соответственно, с целями военной акции: что важнее — сохранение Чечни в составе России или обеспечение безопасности России в регионе?

Нельзя лечить болезнь, не устранив ее причину. Поэтому все действия против чеченского криминального "государства" надо начинать не в Грозном, а в Москве.

Не приступая здесь к подробному разбору вопроса, отмечу, что земли к северу от Терека должны быть возвращены в состав России, а южные горные районы, служащие сегодня базой для дудаевских формирований, следует, на наш взгляд, надежно блокировать и вывести за пределы РФ. Деятельность чеченских преступных формирований на территории России следует пресечь полностью и окончательно, а южные границы взять под надежный "замок".

Принимая любые решения по Чечне, мы должны отдавать себе отчет, что

конфликт на Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от взаимоотношений России с мусульманским миром в целом. Будет не лишним отметить, что после начала военных действий в Чечне несколько иностранных мусульманских организаций вслед за Дудаевым объявили России "священную войну" — газават. Среди них "Ямат-и-ислами" (Пакистан), Движение исламского возрождения Таджикистана, "Боз гурд" ("Серые волки") в Турции и Азербайджане.

Россия и мусульманский мир

Мусульманский мир, занимающий в конце XX столетия огромные геостратегические пространства на юге евразийского и севере африканского континентов, имеет для России исключительно важное этно- и геополитическое значение. На фоне нынешнего резкого ослабления России как мирового государства и возрастания значения ислама как религиозного и идеологического феномена, мы просто обязаны просчитать все возможные варианты межцивилизационного взаимодействия и их последствия.

На начало 1995 года численность населения, исповедующего (непосредственно либо через традиционную этнокультурную общность) ислам различных толков, на территории бывшего СССР составила 72 млн. (в России — не менее 22 млн.) человек. Численность же мусульманского населения земного шара, стремительно возрастая, составляет в 1995 году, по экспертным оценкам, около полутора миллиардов человек, то есть около одной пятой всего населения мира.

Сегодня можно уверенно констатировать, что происходит ярко выраженная демографическая (взрывной рост численности населения) и идеологическая (появление концепций "исламского пути", "исламского сопротивления", деятельность ярко выраженных мусульманских террористических режимов) экспансия исламского мира в сферы традиционного влияния "старых" цивилизаций, прежде всего христианской.

Распад СССР, предопределенный, помимо прочих обстоятельств, его крайней этнической и культурной неоднородностью, привел к появлению на месте бывших союзных республик новых государственных образований. Обострился национальный вопрос и в самой России. Здесь флагманами этнической конфликтности выступают прежде всего Чечня и Татария. Однако немало и регионов скрытого напряжения.

При неблагоприятном стечении обстоятельств многочисленные очаги конфликтности, возникшие вдоль южных границ современной России, могут объединиться в единое конфронтационное поле с внутрироссийскими дестабилизирующими факторами. Чем это грозит России — объяснять не надо.

Я категорически не согласен с широко распространенным мнением, что угрозу национальной безопасности России представляет исключительно "агрессивный исламский фундаментализм". Разработки наших ученых-этнологов (проведенные, в частности, аналитическим центром Русского Общенационального Союза) в области межцивилизационных отношений однозначно свидетельствуют, что стержень конфликтности заключается прежде всего в глубинных цивилизационных антагонизмах, возникающих в местах соприкосновения традиционных, но различно ориентированных цивилизаций.

Без четкого определения сферы их возникновения, возможных последствий и адекватных сдерживающих мер процессы эти могут приобрести неуправляемый, разрушительный характер и привести, в конечном итоге, к деградации и гибели той цивилизации, которая окажется более слабой.

История сообщает нам множество примеров стремительной гибели государств и народов, находившихся, казалось, в стадии своего наивысшего расцвета. Так погибла древнеперсидская цивилизация, рухнувшая под ударом немногочисленных войск Александра Македонского; Египетское царство — в результате нашествия полудиких гиксосов; а процветающий Карфаген — в борьбе с Римом. Впоследствии на их месте нередко восстанавливалась, под тем же названием, государственность, но суть была уже другая, иногда совершенно противоположная.

Для более четкого понимания проблемы взаимоотношений России с мусульманским миром я считаю необходимым ввести несколько предварительных определений. Сегодня мы имеем дело с тремя большими группами исламских комплексов:

I. Внешний ислам — объединяет исламские территории, никогда не входив-

шие в сферу влияния России — СССР, и сложившиеся ранее 1990 года международные исламские организации.

II. Ближний ислам — включает исламские государства, относимые к так называемому "ближнему зарубежью", сохранившие с Россией тесные, в том числе нетрадиционные связи и являющиеся на сегодняшний день весьма специфической частью мусульманского мира, а также различные объединения их между собой (например ЦАРС — Центрально-Азиатский региональный союз, созданный по инициативе Н. Назарбаева, и др.).

III. Внутренний ислам — представлен исламскими народами и национально-государственными образованиями, входящими с различным статусом в состав Российской Федерации.

В данном материале я рассматриваю все проблемы отнюдь не сквозь призму псевдонационального "объективизма". Мне важно, в краткой тезисной форме, обозначить перспективные и долговременные интересы Российского государства, а значит, и русско-православной цивилизации в целом.

"Внешний ислам", в силу ограниченности объемов данной работы и обширности темы, не рассматривается.

Немного истории

Присоединение мусульманских народов к России происходило постепенно. Во второй половине XVI века покоряются Казанское (1552), Астраханское (1556) и Сибирское (1589) ханства — осколки некогда могущественной Золотой Орды. Вхождение в состав более развитого государства позволило разноплеменному населению Поволжья и Сибири развиваться в условиях прочного мира и твердой государственной политики. Ни один из вошедших в состав России народов не потерял к началу XX века своей культуры, языка и самобытности.

Межэтнические конфликты, главным образом в результате земельных и прочих хозяйственных споров, неизбежно случались. Но они редко перерастали во взаимную ненависть и никогда не приводили к массовому уничтожению сильным более слабого, как это было в случае с истреблением индейцев Северной Америки предками современных янки, прусских славян германцами и т. д. Русская колонизация осуществлялась методами несравненно более гуманными, чем колонизация Британией Индии или Францией Алжира. На юге и востоке границы России расширялись, как правило, до тех пор, пока не приходили в соприкосновение с землями какого-нибудь цивилизованного государства (Китай, Персия, Афганистан и др.), то есть колонизации подвергались в основном родо-племенные общества.

Русские, в силу как своей значительно более высокой общей культуры, так и в силу традиционно великодушного православного мировосприятия, не стремились к искоренению "инородцев". Даже проповедь христианства среди язычников и мусульман носила очень мягкий, ненапористый характер. В результате неантагонистичные с русской культурой угро-финские языческие народы постепенно сами принимали православие и как бы растворялись в славянском море. Другое дело — тюрко-мусульманские (татары и др.) и монгольские (калмыки) этнические группы. Они сохранялись в России в качестве инородных анклавов — источников потенциальной конфликтности.

Это вообще закономерность межцивилизационных отношений. Когда экспансию осуществляет более развитая общность, менее развитые этносы либо растворяются в ней, либо сохраняются в виде анклавов (у сильного всегда есть иллюзия безопасности). Другое дело — когда наступает более примитивная группировка. В этом случае кровь и разрушения могут принять тотальный характер, как при нашествии Батыя на Русь.

Основные исламские центры — Средняя Азия и Кавказ — вошли в состав России сравнительно поздно, в 20 — 80-х годах XIX столетия.

Национальная политика до и после 1917 года

После водворения в регионах распространения ислама русской государственности прекратились межплеменные и межродовые распри, были запрещены рабовладение и работорговля, отменена (в соответствии с российским законодательством) смертная казнь, введено местное и городское самоуправление, выборность судей и т. д. Повседневный образ жизни мусульман не претерпел рез-

ких изменений. Была сохранена (в тех немногих местах, где она существовала до прихода русских) традиционная система образования (мектебы и медресе). Начался бурный рост численности туземного населения, заложивший основы "демографического взрыва" второй половины XX века. Русская медицина способствовала этому не в последней степени.

Можно выделить четыре основных принципа азиатской политики России: а) сильная центральная политическая власть; б) сохранение традиционного образа жизни на местах; в) широкая культурно-национальная автономия; г) наличие привилегий для мусульманских национальных меньшинств (были освобождены от обязательной воинской повинности, от некоторых налогов). С формальной точки зрения, эффект русской политики в Туркестане был достаточно велик. Умиротворение стран, представлявшихся европейцам центрами безграничного фанатизма, совершилось в течение считанных лет.

В конце XIX — начале XX века Российской империи удавалось объединять в рамках единого государства различные этноцивилизационные компоненты без утраты духовной и культурной самобытности составляющих ее народов.

Однако достигалась подобная "гармония" исключительно за счет русских. Присоединив в 1860 — 1870-е годы Среднюю Азию, Россия перешла свой "рубикон национальной безопасности". Если сегодня мы зададим себе вопрос, была ли национальная политика императорской России того периода благотворной для русских, то ответ будет отрицательным. Одной из главных, трагических ошибок этого курса следует признать именно ничем не оправданное предоставление льгот российским "инородцам" за счет использования материальных и духовных ресурсов русского народа. После революции 1917 года большевики взяли курс на подъем национальных окраин за счет великорусского Центра. Результаты этой политики налицо: русские сегодня — один из немногих народов на планете, которые в прямом смысле вымирают.

Социализм для тюрок?

За годы советской власти во всех мусульманских регионах СССР произошло органичное слияние властно-административных и мировоззренческих принципов социализма с традиционными кланово-патриархальными институтами и мировоззрением местного населения. Семь десятилетий господства коммунистической идеологии Средняя Азия перенесла не столь болезненно, как Россия. Северокавказские народы начали "бросок в светлое будущее" с весьма примитивной родоплеменной стадии общественного развития. Переход оказался резким и ломка неизбежной. Среднеазиаты же, во всяком случае самый крупный из народов региона — узбеки, имели к началу XX века вполне сложившиеся патриархально-феодальные общественные институты, составившие основу коммунистической организации жизни в Туркестане. Исламские общности Поволжья, ранее других вошедшие в состав России, сумели достаточно глубоко интегрироваться в советское общество, создать разносторонне образованную и дееспособную национальную элиту.

Созданные в бывших союзных и автономных республиках общества имели во всех мусульманских регионах некоторые, более или менее ярко выраженные особенности. Опора на авторитаризм сочеталась в них с различными формами доморощенного ислама, удачно встроенного в структуру местных компартий, а органичность властных структур и идеологии легко накладывалась на неразвитость системы общественных отношений в европейском понимании этого слова.

В 1990 — 1991 годах устоявшиеся формы жизни подверглись проверке на прочность. Пронизанные кланово-патриархальной психологией, общества являются устойчивыми до тех пор, пока не нарушается межплеменной и межклановый баланс сил. Самой конфликтной территорией оказался Таджикистан. Один из кланов — ходжентский — оттеснил от власти представителей южных регионов (Куляб, Бадахшан, Гарм и др.). Ходжентцы правили в республике почти пятьдесят лет (с 1946 года), однако переоценили свои силы, забрав слишком много. Результатом стали кровавые кланово-территориальные разборки 1992 — 1994 годов, вынесшие наверх кулябцев, но не установившие прочного мира. Наиболее активные представители гармской группировки создали отряды "исламского сопротивления" в Афганистане. Практически не подчиняется Душанбе и Горный Бадахшан.

В других республиках Туркестана положение пока более устойчиво. Туркмению контролируют в основном текинцы во главе с "туркменбаши" С. Ниязо-

вым, однако в регионах сильны и другие кланы (йомуты, эрсари и др.). В Узбекистане поддерживается равновесие между ташкентско-самаркандским (нынешний президент И. Каримов) и ферганско-андижанско-наманганским суперкланами. В Киргизии власть разделена между северной (Чу, Иссык-Куль) и южной (Ош) группировками. При этом во всей Средней Азии наблюдается укрепление у власти представителей тех же знатных байских и манапских родов, которые правили в XIX — начале XX века.

Совершенно очевидно, что после 1991 года республики Средней Азии, Северного Кавказа и Азербайджан приобретают все более отчетливый мусульманский облик. Однако ислам здесь носит незавершенный (неразвитый) характер и неизбежно будет эволюционировать. При этом любое резкое нарушение баланса сил между "русским" и "мусульманским" миром может привести к стремительному развитию конфликтов внутреннего (регионального) характера. Наиболее взрывоопасны с этой точки зрения южные и восточные районы Узбекистана (со смешанным узбекско-таджикским и узбекско-киргизским населением) и южные, плотно заселенные узбеками районы Киргизии, территории Северного Казахстана, практически вся линия кавказского порубежья России, а также север и запад Азербайджана.

Итак, постсоветский мусульманский мир представляет собой весьма пеструю мозаику стран, народов, проблем и идей. Это — разнообразие становления.

Отмечу то, что считаю наиболее существенным. В обозримом будущем все исламские государства так называемого "ближнего зарубежья", очевидно, будут, в той или иной степени, апеллировать как к исламской, так и, иносказательно, к советской традиции. Наиболее ярко это выражается в образе Туркмении, где в рекордно короткие сроки создан вполне тиранический, по коммунистической схеме, режим. Пророк Мухаммед официально занял здесь место Карла Маркса, а туркменбаши Ниязов — одновременно Ленина и Сталина; население живет во всеобщем страхе, послушная пресса воспевает прелести жизни в "Новом Кувейте", в то время как уровень жизни населения, особенно русских, живущих в городах, значительно ниже российского (средняя зарплата в начале 1995 года составляла в Ашхабаде 5 — 6 долларов США).

В случае, если современный Таджикистан преодолеет раскол по кланово-территориальному признаку, "туркменская модель" развития будет безальтернативной и для этого государства. В том же ключе развиваются Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Распространенный в демпрессе тезис о "борьбе ислама с коммунизмом" не выдерживает в связи с этим никакой критики. Синтез этих идеологий в "красной Азии" — факт уже свершившийся.

Россия и мусульманские государства СНГ

Отношения России с государствами, тяготеющими к иранской (Таджикистан) и туранской (Узбекистан) цивилизациям, должны строиться на основе понимания глубинной несхожести наших культурно-исторических традиций и осознания искусственности любых попыток интеграции с этими цивилизациями. Процессы некоторого отдаления не должны означать враждебность, скорее наоборот — решительное расхождение сразу выявит пункты соприкосновения и возможного сотрудничества.

С Киргизией и Туркменией необходимо добиваться стабильных отношений, создавая сферу устойчивого политического и экономического влияния России и дезавуируя претензии на лидерство в регионе со стороны Ирана, Узбекистана и др. Стратегически важным представляется установление российского контроля над каспийскими магистралями и иными геостратегическими коммуникациями.

Особо остановлюсь на отношениях России с Азербайджаном и Казахстаном.

Не имея твердого государственного предания, с одной стороны, этнически принадлежащий туранской цивилизации, с другой — религиозно близкий к Ирану, Азербайджан объективно оказался на острие внешней политики Турции в ее стремлении создать "Туранское содружество" как первую ступень восстановления Османской империи. В силу этого Азербайджан все более втягивается в политические комбинации южных соседей, неуклонно превращаясь в главный антирусский фактор в Закавказье, источник постоянной нестабильности в регионе. Подписание азербайджанским правительством нефтяного контракта на разработку каспийского шельфа с американско-западноевропейским консорциумом, а также широкомасштабное военно-техническое сотрудничество с Тур-

цией — очередные шаги правительства Г. Алиева в этом направлении. Отсутствие государственных традиций, расколотость между туранской и иранской цивилизациями, отсутствие этнической однородности делают практически невозможным проведение Азербайджаном самостоятельной политики. Резко активизировалась в последние годы деятельность в России азербайджанских криминальных структур. (Сегодня только в московском регионе проживает, по данным ГУВД Москвы, до 600 тысяч азербайджанцев.) Для того чтобы отстаивать свои интересы в Закавказье, России необходимо использовать экономические рычаги давления на Азербайджан и поддерживать тесные военно-политические связи с другими государствами региона, например с Арменией.

О Казахстане сейчас много говорят и пишут. В значительной мере это заслуга Н. Назарбаева. Механизм осуществления и передачи власти в республике представляет собой переходный тип от родо-племенного (традиционное деление казахского этноса на три жуза — племенных объединения) к групповому — элитарному, что выражается в более активном, чем в других азиатских республиках, привлечении в коридоры власти представителей неправящих национальных группировок и лояльных инородцев. В правящей элите Казахстана главенствующее положение занимает клан старшего жуза (юг республики), представителем которого является президент Н. Назарбаев.

Цивилизационного единства в Казахстане нет. В последние годы наблюдается активное вытеснение русского населения не только из властных структур, но и из районов исторического проживания. В то же время широко известны инициативы Назарбаева по созданию так называемого "Евроазиатского Союза" (ЕАС). Внимательное изучение этого проекта показывает, что в основу его заложен лукавый принцип: взять от России побольше при полной неопределенности собственных обязательств и при полном же отсутствии ответственности за их исполнение.

Потребности и интересы России как государства, всех слоев и групп ее населения заключаются в тесном и долговременном объединении с народами и территориями, которые составляют с Россией единое этнокультурное и цивилизационное целое и имеют ясно выраженную политическую волю к подобному объединению. Только при выполнении двух этих условий объединение может быть устойчивым, а силы его участников направлены на созидательную деятельность.

В отношениях с Казахстаном мы должны придерживаться того взгляда, что северные и северо-восточные территории современной "республики Казахстан" являются исторически российскими, а вся остальная территория Казахстана — зоной российских национально-государственных интересов.

Интересы России

Для того чтобы политика России была эффективной и отвечала интересам ее национальной безопасности, необходимо прежде всего создание адекватной информационно-аналитической системы по мусульманским регионам России и ближнего зарубежья, ибо все существующие системы грешат прежде всего некорректностью обработки информации.

Мы не сможем обеспечить свою национальную безопасность без разработки и осуществления комплексной программы переселения русского и русскоязычного населения из Средней Азии и Закавказья в Россию. Пока русская диаспора там многочисленна, руки России всегда будут связаны возможным возникновением проблемы заложников. При этом межгосударственные и экономические взаимоотношения должны быть направлены на сохранение геостратегического положения России в регионе.

Мы не должны допустить распространения "внутриазиатских" и иных конфликтов на территорию России. В этой связи было бы целесообразно придать частям и соединениям Российской армии в Туркестане и Закавказье статус ограниченных контингентов за границей, местам дислокации российских войск и погранзаставам — статус военных баз России. На основе этих частей могут быть созданы специальные силы быстрого реагирования.

Памятуя о том, что горбачевское "бегство с Востока" резко изменило геополитический баланс сил в регионе, мы должны отстаивать те сферы экономического и военного влияния России, которые еще сохранились. В связи с этим необходимо всеми доступными средствами ограничивать экономические, политические, военные и любые другие формы проникновения в регион таких государств, как

США, Израиль и Турция, одновременно препятствуя чрезмерному усилению отдельных региональных государств.

Кратко суммируя вышесказанное, отмечу: ни при каких условиях, ни сейчас, ни в будущем, Россия не может позволить себе "уйти" из Туркестана. Однако пришло время серьезно пересмотреть формы нашего присутствия в регионе.

Внутренний ислам

Мусульманские анклавы внутри России являются главной "занозой" в наших отношениях с исламским миром. Сентиментальности здесь не место. К чему приводит наличие мусульманских автономий в христианской стране — видно на примере бывшей Югославии, а теперь и на примере Чечни.

На территории России есть только один центр относительно развитой исламской культуры - Казань. Татария имеет отчетливые воспоминания о средневековой государственности. Среди татарской элиты распространены, в определенной мере, панисламистские и пантюркистские взгляды. Татары занимают прочные позиции в российской экономике и в сфере финансов. Нельзя недооценивать значение этого далекого от русских культурных традиций этнического тела. Если панисламизм и пантюркизм слишком сильно овладеют татарской элитой, России в конце концов придется решительно ограничить влияние национал-шовинистов во властных структурах республики. Следует всячески удерживать Татарию от политического сближения с Турцией и среднеазиатским туранским комплексом.

Другой центр внутреннего ислама — Северный Кавказ. Выходцы из этого региона отличаются крайней агрессивностью и социальной мобильностью. "Подвиги" чеченской, ингушской, дагестанской и иных кавказских мафий в России широко известны. По отношению к этим регионам следует придерживаться политики жесткой и определенной.

Возвращаясь к событиям на Северном Кавказе, повторю еще раз: собственно Чечня (южные районы республики) не подлежит реинтеграции в состав нашего государства. И прежде всего нужно создать невыносимые условия для вайнахских преступных группировок в России.

Другим республикам Северного Кавказа следует дать ясно понять, что в русском национальном государстве сфера их интересов будет ограничена чисто внутренними проблемами.

В любом случае Россия должна действовать спокойно и уверенно, используя, в числе прочего, родо-племенные клановые отношения и пустившую глубокие корни среди северокавказской "элиты" коррупцию. Следует помнить, что слабая политика не имеет будущего вообще, тем более на Кавказе.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ

Статья III

НАДЗИРАЮЩАЯ

2. "Вязанка хвороста" или русское государство?

Русские писатели — первая жертва Т. Глушковой. Теперь обозначается новая мишень — д е л о, которому они служат. В новогоднем номере газеты "Завтра" публицистка обрушивается на то, что долгие годы составляло особую гордость писателей-патриотов: их упорную борьбу за национальную власть в РСФСР, за образование и укрепление собственно русских органов управления на территории Федерации.

Глушкова отмечает "хоровой" вклад русских писателей в пропаганду политически-ключевого "суверенитета России" ("Завтра", №1, 1995). Она рисует площадную карикатуру на патриотическое движение: "И прежде всего — тех, кто ринулся, было, предлагать себя в депутаты Верховного Совета РСФСР. Сколько слов — "не воробьев" ("вылетит — не поймаешь!") — выпущено было ими под мглистое российское небо о "собственном ЦК", "собственном КГБ", о "демократическом равноправии с другими республиками", — и каким эхом отозвались в простодушных умах читателей эти сентиментальные, эти, на поверку — жестокие, "русские патриотические слова!"

Обвинение в развале СССР — самое существенное из всех, что предъявляет своим коллегам Т. Глушкова. Если суммировать все нападки на авторов-патриотов, разбросанные в ее бесчисленных статьях, то их можно свести к двум пунктам: противоборство с коммунистическим режимом и соучастие в разрушении державы.

Каждый пункт следует рассмотреть особо. Начнем с последнего, тем более что он является ключевым для В. Распутина, В. Белова, С. Куняева, В. Кожинова и их единомышленников. Эти писатели — последовательные государственники. И если их выступления, по Глушковой, привели к развалу государства, их общественная позиция, творчество и в конечном счете сама жизнь лишаются высшего смысла.

Но действительно ли все обстоит именно так, как изображает Т. Глушкова? Напомню, к т о н а с а м о м д е л е причастен к конкретным шагам по развалу Союза. Закон о суверенитете России, значительно расширивший ее полномочия, был принят в 1990 году на I съезде народных депутатов РСФСР, где господствовали две фракции — коммунисты и "демократы" (позднее многие из них отошли от Ельцина). Н и о д н о г о русского писателя в высшем органе власти не было. Не было их и в окружении Ельцина — тогдашнего председателя ВС. Не правда ли, интересно: решение принимают "демократы" и коммунисты, а ответственность за него возлагается на патриотов.

Следующим — и решающим — шагом к распаду государства был Беловежский пакт. Имена подписантов, полагаю, известны всем, даже Глушковой.

Как видим, прямое участие писателей в роковых для судьбы Союза акциях было попросту невозможно. Теперь о "соучастии" — пропаганде суверенитета. Эту задачу взяли на себя "демократические" СМИ. Они имели подавляющее

Начало в № 10, 11—12 за 1994 год и № 2 за 1995 год.

превосходство в тиражах над патриотической прессой. Соотношение было не менее чем 100:1. К сожалению, голос писателей-патриотов не был услышан народом. В тот решающий для судьбы страны момент они не имели возможности оказать значительного влияния на формирование общественного мнения.

И наконец, о главном — была ли программа патриотов тождественна или хотя бы близка "демократическому" проекту вычленения РСФСР из состава Союза? Ни в коей мере! Русские писатели выдвигали трезвые предложения, суть которых сводилась к уравнению положения России со статусом других республик. "Демократический" проект был реализован, и каждый может сравнить его с тем, что предлагали патриоты. Это две совершенно разные программы: одна была направлена на укрепление государства, другая — на разрушение.

Зачем же Глушковой понадобилось отождествлять лекарство и яд, смешивать слово и дело, устраивать "вселенскую смазь"? Не затем ли, чтобы вновь освободить от ответственности тех, кто принимал конкретные решения? Или затем, чтобы лишний раз выплеснуть раздражение на коллег?

Личное и здесь пробивается с чудовищной (поистине чудовищной!) силой. Напомню о любопытном факте, не отраженном в статье Т. Глушковой. Обвиняя тех, кто будто бы "рванулся... предлагать себя в депутаты", публицистка забывает уточнить, что и она себя "предлагала". Ее кандидатура была выставлена на выборах 1990 года. Однако патриотические организации, выдвигавшие кандидатов, "почтили" ее меньше, чем других писателей: Глушкова баллотировалась не в Верховный, а "всего лишь" в Московский Совет...

Впрочем, какими бы соображениями ни руководствовалась Глушкова, вопрос, затронутый ею, заслуживает внимания. Не о "вине" русских писателей — с этим, думаю, все ясно. О положении России в составе Союза. Каким оно было? И — соответственно — насколько оправданы были какие-либо усилия по его изменению.

Публицистка стремится свести все к злополучному суверенитету. Так проще. Конкретная политическая акция, сыгравшая печальную роль в судьбе Союза, — удобная мишень. В стрельбе по ней упражняются сегодня многие. Откройте хотя бы издания, наиболее близкие читателям-патриотам. Например, газету "Советская Россия" (10.01.1995). Профессор А. Тилле патетически вопрошает: "РОССИЯ НЕЗАВИСИМАЯ? ОТ КОГО?... Была ли Россия зависима от Эстонии? Может быть, от Армении? От Таджикистана?" Как видим, не только пристрастие к крупным шрифтам сближает уважаемого профессора с яростной публицисткой. Эти одновременно появившиеся статьи зачастую совпадают почти дословно!

Ну что же, попробуем ответить и на вопрос, заданный А. Тилле. Он-то явно считает его чисто риторическим, не требующим ответа. Этаким полемическим доведением тезиса до абсурда, после чего обсуждение становится нелепым. В самом деле: предположить, что Россия зависела — и от кого же? — от Эстонии, от Таджикистана!

Однако, если рассматривать взаимоотношения республик в экономической сфере, вопрос не покажется таким уж смешным. Отошлю профессора к данным, опубликованным в той же "Советской России" (30.07.1992). В 1985 и в 1990 годах на каждый рубль собственных средств три республики, названные профессором, дополнительно получали из общесоюзных фондов соответственно: Эстония — 69 коп. и 1 руб. 27 коп., Армения — 1 руб. 52 коп. и 2 руб. 9 коп., Таджикистан — 65 коп. и 1 руб. 85 коп.

Откуда брались эти копейки и рубли, выраставшие в миллиарды? Из отчислений, которые другие республики передавали в союзный бюджет. Кто же эти доноры? В 1985 году, указывает газета, это были Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. В 1990 году только Россия и Белоруссия. За счет перекачки славянских средств обеспечивалась относительно благополучная жизнь бывших национальных окраин. Кстати, уровень жизни в прибалтийских и кавказских республиках, получавших значительные дотации из союзного бюджета, был намного выше, чем в подпитывавшей их России. РСФСР стояла на первом месте по производству продукции на душу населения — 17,5 тысячи долларов и на последнем среди всех 15 республик по потреблению — 11,8 тысячи.

Как видим, речь следует вести даже не о "зависимости" России от других республик Союза, а о прямой эксплуатации России, в том числе и со стороны Эстонии, Армении и Таджикистана.

"Случайно ли ни при Ленине, ни при Сталине не было Центрального Коми-

тета Компартии России? Во всех республиках были свои ЦК и первые секретари, а в России не было!" — восклицает далее Тилле, уверенный, что на его предыдущий риторический вопрос никто не догадался ответить с цифрами в руках. Профессору вторит Т. Глушкова: "Кажется, и до сих пор-то не постигли, что объективно мудрым было сталинское недопущение этих структур в мнимо униженной этим образом РСФСР" ("Завтра", № 1, 1995).

Пояснить, в чем состояла "мудрость" вождя, лишавшего Россию собственных органов власти, а значит, и возможности отстаивать национальные интересы, Глушкова не считает нужным. Тем любопытнее довод профессора: "Понятия "Советский Союз" и "Россия" для всего мира были однозначными".

За каких же дураков держит своих читателей профессор, если пытается польстить таким образом россиянам! Когда обкомовцы до хрипоты спорили, какую часть российского бюджета получат их, тогда уже начавшие приходить в запустение области, а какая будет уплачена в качестве "дани" Эстонии, Армении, Таджикистану, для них — практиков государственного строительства — мнение какого-нибудь араба на Занзибаре, отождествлявшего понятия "Советский Союз" и "Россия", ровно никакого значения не имело. Да и для жителей полуголодного Нечерноземья тоже. Как и все нормальные люди, они питались не "мнением", может быть, и лестным, а хлебом.

Разумеется, отсутствие собственных органов власти в России случайностью не было. Еще в 1923 году на XII съезде РКП/б/ была сформулирована доктрина: поставить русский народ как "бывшую великодержавную нацию" в "неравное положение... более низкое по сравнению с другими". Провозгласивший ее Н. Бухарин впоследствии был смещен и расстрелян, руководители сменяли и разоблачали друг друга — доктрина проводилась в жизнь все годы советской власти.

Кто-то должен был оплачивать социалистический эксперимент. Стремительный рывок окраин, чуть ли не из каменного века (Средняя Азия), в "светлое будущее" дорого стоил. Это бремя возложили на самую щедрую и богатую в то время республику — Россию. При наличии республиканского партийного руководства в РСФСР, заинтересованного в благополучии прежде всего своих территорий, взимание "дани" с России проходило бы наверняка не столь гладко. Поэтому ее "обезглавили", и всякая попытка нарастить органы управления преследовалась с показательной жестокостью, вплоть до расстрела руководителей ленинградской парторганизации в 1949 году, заговоривших — только заговоривших! — о необходимости создания российского ЦК.

В сущности, все это общеизвестно. Именно писатели-патриоты многое сделали, чтобы показать неравноправное положение России в Союзе. Достаточно вспомнить написанную в начале 80-х годов работу ныне покойной подвижницы русского дела Г. И. Литвиновой, где на большом фактическом материале раскрывалось экономическое и демографическое неблагополучие русской нации, а также впервые формулировались требования "русского ЦК", русской академии наук, русского телевидения и прессы. Однако и сегодня, как видно, есть люди, желающие стереть из народной памяти факты, свидетельствующие об униженном положении России в СССР, а заодно в неблагоприятном свете представить усилия писателей-патриотов, защищавших национальные интересы.

Писатели-патриоты добивались не обособления России, а элементарного равенства. Все, что они хотели, — это чтобы природные запасы страны перестали бесконтрольно расхищать центральные ведомства; чтобы русский рабочий получал заработанное, а не вкалывал на кавказского дядю в кепке-аэродроме, который ему же втридорога продавал мандарины для его ребятишек; чтобы русская семья получала бы такую же поддержку — на уровне государственных программ, как и семья прибалтийская.

К началу 90-х годов сумма прямой и косвенной "дани", взимавшейся с России в пользу окраин, достигла 70 миллиардов рублей. Необходимо было что-то предпринять. И выступления русских писателей в этих условиях были совершенно оправданны. Другое дело, что, освобождаясь от пут, не следовало вместе с ними рубить и руки. Но это "заслуга" Ельцина и его подельников, а не писателей. Хотя в этом случае, соблюдая историческую справедливость, следует признать: все-таки даже не Ельцин и уж тем более не Россия открыли "парад суверенитетов". Это сделала Прибалтика.

Своевременное уточнение. Слишком много появилось охотников возложить

всю ответственность за распад державы именно на Россию, только на нее. Даже если они помнят о том, кто в действительности "заварил кашу".

"О своих претензиях на суверенитет первыми заявили республики Прибалтики", — пишет А. Тилле. И тут же превращается в адвоката: "У них были для этого основания. Как могли они забыть свою раздавленную в 1940 году независимость и последующие страдания?" Вот какие у нас появились чувствительные профессора-марксисты!

А все-таки я не пойму — почему для Прибалтики делается исключение? Если встать на точку зрения буржуазных националистов из бывших республик СССР, придется признать, что всюду независимость была "раздавлена" железной пятой "русского оккупанта". На Украине, куда Красная Армия принесла новую власть в 1920 году, в Грузии, Армении, Азербайджане, воссоединенных с державой в 1920—1921 годах, в Средней Азии, где стычки с басмачами продолжались до начала 30-х. Если оставаться на точке зрения международного права и здравого смысла — Прибалтика, как и другие республики, являлась неотъемлемой частью Союзного государства. Латвия, Литва и Эстония вошли в состав СССР на основании решений, принятых правительствами и парламентами этих стран. Если же обратиться к еще более давней истории, придется признать, что как раз выход прибалтийских республик из Российского государства был незаконным. Ведь по Нейштадтскому мирному договору 1721 года Прибалтика была в ы к у п л е н а Россией у Швеции. За эти земли заплачено не только русской кровью, но и русским золотом.

А впрочем, снисходительность Тилле к Прибалтике вполне объяснима. Ее "лидерство" в вопросе суверенитета мешает обвинить в развале Союза Россию. "Объяснив" и "извинив" прибалтийскую нетерпеливость, профессор может без помех гвоздить "любезную" ему РСФСР. Остается неясным — чем же этот марксист отличается от "демократов": те в 1991 году поддержали Прибалтику в пику Москве (Горбачеву), Тилле поддерживает ее в 1995-м — и снова в пику Москве (на этот раз отождествляемой с Ельциным).

Другие деятели, не обладая профессорской изобретательностью, без всяких околичностей начинают с изобличения нашей страны: "Россия Союз разрушила — России и восстанавливать ее", — так озаглавлено интервью с председателем возрожденной КПСС О. Шениным в газете "Правда" (10.12.1994). В этом примечательном материале, подготовленном журналистом А. Головенко (о его выпадах в адрес руководителей патриотической оппозиции я уже писал), содержатся и более "крепкие" высказывания: "Россия безумной борьбой за "суверенитет" положила начало разрушению Союза".

Чем же провинилась Россия? Дело не в старых счетах и прегрешениях — подлинных или мнимых. Спор идет не в исторических архивах, а на страницах боевых листков, начиненных злободневностью, как динамитом.

Банкротство бывших союзных республик, вынужденных покупать русское сырье по ценам, приближенным к мировым, актуализирует задачу создания некоего экономического союза, а в перспективе — конгломерата государств. Левые силы, в частности, коммунисты, видят здесь шанс на возрождение Союза. Однако уже сейчас ясно, что "лечение" находящихся при последнем издыхании республиканских экономик (той же Армении и Таджикистана) потребует колоссальных затрат. Триллионы, о которых пишут в связи с восстановлением Чечни, в сравнении с ними покажутся жалкими грошами. Взять на себя такое бремя новоявленные суверенные государства не хотят, да и не могут. Выход один — повесить его на Россию. А прежде — возложить на нее вину за развал Союза, что предполагает моральные и, конечно же, экономические обязательства по его восстановлению.

Название беседы с О. Шениным является готовой формулой закабаления страны. Опять, как и в начале 20-х годов (и долгие десятилетия впоследствии) Россией собираются расплачиваться с республиками. Правда, тогда ее обвиняли в насильственном объединении народов в рамках Империи, теперь же в прямо противоположном — развале державы. Но похоже, для русских и впрямь: семь бед, а ответ один — плати за всех из своего кармана...

Такая позиция устраивает и национальных лидеров бывших республик. Их планы — в частности проект евроазиатского союза, выдвинутый Н. Назарбаевым, несколько отличаются от коммунистических, но их суть та же: возложить на Россию расходы по поддержанию республиканских экономик.

Я не против интеграции. Согласен, что этот процесс должна возглавить Рос-

сия. Возглавить, но не тащить на себе и оплачивать в одиночку. И так ей придется платить больше всех. Но нельзя допускать, чтобы ловкие манипуляторы в который уже раз воспользовались нашей дурацкой сверхсовестливостью, готовностью рвать на груди рубаху и приносить покаяние за всех и перед всеми.

Пора понять: разговоры о вине России за развал Союза — мошенничество. Во-первых, историческое (фальсификация истории), во-вторых, экономическое (попытка выжать из нас больше денег). И в-третьих — здесь видится проявление элементарной русофобии. Главный вопрос сегодня — готовы ли мы, русские, вновь принести Россию в жертву наднациональным целям. Определимся же, что она для нас: "вязанка хвороста" в каком-то очередном "мировом пожаре" или национальное государство, наша единственная родина.

...Но вернемся к Глушковой. Ее равнодушие к русским практическим интересам становится понятнее, когда знакомишься с "теоретическими" пассажами ее статей. Национальная проблематика с а м а п о с е б е не дорога для Глушковой. Другое дело — интересы государства, которое она упорно отождествляет с СССР. Ее отношение к русскому национализму отрицательно. Не удовлетворяясь сведением счетов с его ведущими современными представителями, она затевает полемику с классиками русской мысли. Показательны нападки на Ивана Солоневича и Ивана Ильина. "Ильин, — утверждает публицистка, — закладывает некий фундамент... "спасительного" для России "русского национализма", венчая последний с о с л а б е в ш и м н а д е л е православием" ("Русский собор", № 9, 1993). Мыслителям-националистам Глушкова противопоставляет К. Леонтьева, который "крупно ставит вопрос об опасности и коварстве национализма, называя его "орудием всемирной революции", всемирного разрушения".

Действительно, Леонтьев — очевидец бурного формирования буржуазного национализма, лишенного религиозного начала, подменяющего высокие идеалы утилитарно понятыми "интересами нации", — вступил в яростную борьбу с этим явлением. При этом он как бы не заметил оттесненный в историческую тень национализм религиозный, характерный именно для России, которая и воспринималась как Святая Русь.

Глушкова в данном случае осведомленнее Леонтьева, что совсем не трудно после появления блистательных работ Ивана Ильина. Тем характернее ее стремление скомпрометировать Ильина и русский религиозный национализм, о котором он писал с таким вдохновением и глубиной. По мнению Глушковой, следует говорить о неудачном эксперименте мыслителя, не сумевшего-де "повенчать" любовь к Родине и любовь к Богу. Как будто бы не было ни Александра Невского, ни Пересвета и Дмитрия Донского, ни Гермогена и Минина, чья любовь к России в истоке своем соединялась с высоким религиозным чувством.

К слову, Глушкова весьма своенравно интерпретирует взгляды Константина Леонтьева, выбранного ею в качестве едва ли не единственного единомышленника и союзника из всей отечественной культуры. Леонтьев оказывается рупором собственных идей Глушковой. Иной раз доходит до фарса, когда, например, Леонтьев по воле неугомонной полемистки вынужден из исторической дали обличать "антисоветские" взгляды Солоневича и Ильина. После такого не удивляешься самым диковинным метаморфозам. Например, перекрашиванию Леонтьева в ярко-красного социалиста. "Монархист из монархистов", К. Леонтьев, трезво просчитывая возможности немонархического русского будущего, вдруг, в конце жизни, с ослепительным бесстрашием мысли делает выбор между разрастающейся буржуазностью (капитализмом) и... социализмом — в пользу социализма!" ("Русский собор", № 9, 1993).

На самом деле отношение Леонтьева к социализму много сложнее. А вот Глушковой пресловутый "выбор", безусловно, дорог. Именно он — а не национальная идея, не интересы нации — и дорог ей! Она энергично защищает семидесятилетнюю историю реального социализма и в лучшем стиле минувших лет требует "ПЕРЕСТАТЬ КЛЕВЕТАТЬ" на славное прошлое.

Казалось бы, наконец найден ответ на заданный в первой части этой статьи вопрос — чьи убеждения разделяет, чьи позиции отстаивает яростная публицистка. "Госпожа Глушкова" оказывается коммунисткой. Причем не зюгановского толка (КП РФ стремится возвыситься над идеологическими догмами до мудрой государственной объективности). И даже не анпиловского — с его народной бесшабашностью (к сожалению, слишком часто это народное начало вырождается у него в маргинальную крикливость). Скорее, она близка к Шенину и прочей

вчерашней партноменклатуре, собравшейся в сравнительно немногочисленную организацию под странным названием СКП — КПСС.

Но Татьяна Михайловна не из тех, кто позволит затолкать себя в общую шеренгу. Интересно, что бы сказали ее коммунистические почитатели, если бы узнали, что пишет их мнимая единомышленница о коммунизме? А прочесть советую. На вопрос корреспондента "Русского собора": разве не катастрофическое разрушение осуществлялось в октябре 1917 года, сторонница "ослепительного" выбора с готовностью соглашается: "О, там, конечно, действовали также и жрецы катастроф, исповедники хаоса или "мирового НИЧТО"! ("Русский собор", № 9, 1993).

О самой коммунистической теории Глушкова отзывается и вовсе убийственно: "Горе чужекнижных наук"; "...теории социализма, исчерпавшего до абсурда свой марксистский, космополитический и безбожный исток"; "механически, словно марксизм, пересаженный на истощенную нашу почву" ("Наш современник", № 4, 1991).

Поистине: широк человек... Остается только руками развести: так кто же Вы, Татьяна Михайловна, — "неистовая ревнительница" социалистической идеи или антикоммунистка? Одно из возможных объяснений заключается в том, что Глушкова, не выдвигая оригинальных идей (ее статьи — это бесконечный критический комментарий к чужим текстам), работает на эффекте резонанса. Будит эхо стократ повторенных мыслей. Зачастую, как мы убедились, прямо противоположных. Логические неувязки здесь не так важны — не к логике, не к рассудку читателя обращается Глушкова. Она затрагивает могучие пласты общественного сознания и даже подсознания. Именно эффект резонанса придает значимость ее работам.

Людям нравится! Они любят тяжелозвонкие формулы вроде "государственная измена" и т. п. Тем более, вот они — реальные враги народа: ограбленные и обесчещенные люди могут видеть их на экране телевизора. Но фокус в том, что люди видят торговца госимуществом Чубайса, а Глушкова через запятую плюсует к нему Шафаревича.

Кстати, о ее требовании запрета на клевету. Несколько лет назад, попав под ожесточенную критику со стороны "демократических" журналистов, Глушкова язвительно высмеяла их попытки истребить инакомыслие: "В самом деле, дорогого стоит предлагаемый им (журналистом. — А. К.) запрет на "несвободную мысль". ("Не свободную, — как поясняет он далее, — от "охранительного духа", "означенного оттенка", "национал-радикализма")... Бескомпромиссные гонения на "несвободную мысль", в силу которых, чудесным образом, "мы освобождаемся", — такое не отражено, пожалуй, даже у великих русских сатириков. Это — своего рода шедевр "демократического" мышления... И во всяком случае, он достоин быть высеченным на фронтоне будущего Храма свободы, ВОЛЬНОЛЮБИВЫЙ этот ЗАПРЕТ НА НЕСВОБОДНУЮ МЫСЛЬ" ("Наш современник", № 7, 1989).

Как я смеялся тогда, отдавая в набор этот текст! Но каково же было мое удивление, когда недавно я вычитал у Глушковой: "Отчего ж бы не ограничить деструктивную мысль? Да вот именно, в частности, ради свободы мысли!.. Деструктивная мысль несвободна!" ("Русский собор", № 9, 1993).

После этого удивительного самоопровержения, вернее, очередного опровержения очередных оппонентов при помощи головоломного идейного кульбита, Глушкова разворачивает целую "теорию": "Ведь разве свободен, непредвзят, например, человек, если в той же эпохе социализма (что — в эпохе: во всей двухтысячелетней истории социалистической идеи!) "ничего... благословить он не хотел"? Это сказано (Пушкиным) о демоне. А разве демон свободен?".

Если уж вспоминать Пушкина, то у него сказано: "И ничего в подлунном мире благословить он не хотел". А социализм все-таки — не весь подлунный мир.

Но не будем придираться к упрощенному цитированию. Важнее другое: как же Глушкова объясняет странное соседство в ее статьях выпадов против "космополитического и безбожного" марксизма и демонизацию его критиков. Понятно, что, неизменная в своей ненависти — в убеждениях она не стойка. Но ведь этак-то, накладывая запрет на критику социализма, публицистка рискует запретить собственные высказывания!

Выбраться из затруднительного положения помогает "живая жизнь" — понятие, особенно любимое марксистскими теоретиками. В самом деле, чего только

на нее не спишешь! "...Жизнь неодолимо вносила с в о и коррективы, — живописует Глушкова эпоху социализма. — Постепенно, "незримо", неуловимо гармонизировала на практике наиболее экстремистские инициативы" ("Русский собор", № 9, 1993). Речь, как можно понять, идет о тридцатых — сороковых годах, с их раскулачиванием, голодом, расстрелами. Ну, да ведь жизнь "гармонизировала" "экстремистские инициативы" "неуловимо", — не сразу эту гармонию заметишь...

Как бы то ни было — согласно Глушковой — к середине восьмидесятых опять возникает потребность в "новой, национально-претворенной и духовно обогащенной теории социализма, зачерпнувшей народного опыта" ("Наш современник", № 4, 1991). О реальном социализме здесь же говорится, что он исчерпал "до абсурда" свой "марксистский исток". В чем же дело — народная жизнь, если верить Глушковой, давным-давно этот "исток" гармонизировала. Выходит, он гармонизации не поддавался. Народная жизнь отторгалась космополитическими схемами и, загнанная в прокрустово ложе "истока", вытекала, бесследно исчезала из него. А могло ли быть иначе? Соединимы ли начала, походя объединяемые публицисткой — в надежде на то, что народной жизни все под силу.

Тут самое время обратиться к двухтысячелетней истории социалистической идеи, о которой Глушкова упомянула вскользь, не придавая этому особого значения. Скорее всего, желая облагородить реальный социализм архаичной респектабельностью.

В левой печати бытует мнение, что социалистическая идея близка христианской, а следовательно, соприродна русской жизни. Наиболее задорные адепты "обрусевшего" социализма, как-то уж слишком быстро опуская "промежуточное" христианское звено, спешат поставить знак равенства между социализмом и русским духом. Как изрек профессор Б. Хорев: "Русская идея — это социализм" ("Правда", 29.09.1994).

Глушкова от подобной лихости убереглась, но и она, как явствует из ее статей, не усматривает непримиримых противоречий в триаде: социализм — христианство — "русская идея". Как правило, все эти разнородные явления объединяются одним общим знаменателем — к о л л е к т и в и з м о м, стремлением к справедливости, отказом от частной собственности. Толкуют об общем имуществе у первых христиан, а также у общинников в русской деревне.

Здесь путаница, поистине роковая! А возможно, и откровенная подтасовка. К о л л е к т и в н ы й т р у д, р а в н о к а к и о б щ а я с о б с т в е н н о с т ь — х а р а к т е р н а я ч е р т а н е х р и с т и а н с т в а, а р а д и к а л ь н ы х с е к т и у д а и з м а. В частности, ессеев (секта существовала со II века до нашей эры по I век нашей эры), называемых также кумранитами (по пещере на берегу Мертвого моря, где в конце 40-х годов нашего столетия были найдены рукописи, принадлежавшие этой секте). Вот что пишет исследователь ближневосточных культур И. Свенцицкая: "Кумраниты жили... замкнутой общиной, для которой характерны были общность имущества, обязательный труд всех членов общины, совместные трапезы" (С в е н ц и ц к а я И. С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988).

Как и всякое общество или группа, стремящаяся воплотить утопию в земной жизни, кумраниты столкнулись с таким "несовершенным" существом, как человек, который никак не мог вписаться в рационально размеченный "земной рай". Поэтому секте, как отмечает Свенцицкая, "нужно было подавить в ее членах приверженность старым традициям, изменить их социальную и индивидуальную психологию".

Не правда ли, похоже на концепции, разрабатывавшиеся после нашей революции "инженерами человеческих душ" и мастерами социальной психологии? Тем важнее узнать, какие же принципы регламентировали жизнь ессеев. "Кумраниты требовали от всех членов общины строжайшего соблюдения организационных и вероучительных установлений. За любое нарушение полагалось наказание: сокращение пищевого рациона, временное отлучение, изгнание из общины. Общаться с изгнанником тоже строжайше запрещалось: если такое общение произошло у кого-либо из членов общины случайно, он не мог участвовать в общих советах; если сознательно — изгонялся навсегда".

Марксистская утопия, попытка осуществления которой была предпринята на нашей земле, с о х р а н я л а р о д о в ы е п р и з н а к и у т о п и и к у м р а н и т о в. Как будто бы две тысячи лет, разделявшие их, не имели никакого значения.

Какая мощная духовно-генетическая традиция! И что самое интересное — современный иудаизм признает ее существование, рассматривает марксизм как боковой — но все-таки родной побег баснословного ааронова древа!

"Марксизм, — утверждают еврейские фундаменталисты, — является светским, нерелигиозным отпрыском иудаизма. Только в таком контексте мессианский характер и утопизм Карла Маркса становится объяснимым" (Д. Прейгер, Д. Телушкин. Восемь вопросов об иудаизме. Лос-Анжелес, 1981). Авторы книги напоминают, что Карл Маркс был внуком двух ортодоксальных раввинов, и его мышление определялось еврейской традицией.

Христианство уже в первые века своего существования решительно разорвало с догмами иудаизма. Жестокому Закону Ветхого завета оно противопоставило любовь (что так глубоко и восторженно не только поняли, но прочувствовали первые русские христиане, как явствует из знаменитого "Слова о законе и благодати" митрополита Илариона).

Ранние христианские общины не знали мелочной регламентации фарисеев и кумранитов. Существовала лишь традиция совместных трапез — в память о трапезах Спасителя и апостолов. "Христиане действительно делали взносы на общие нужды, — пишет И. Свенцицкая, — но эти взносы совсем не означали, что люди продавали свое имущество". Историк продолжает: "...Добровольность взносов была важнейшим принципом первых христианских объединений, выступавших против жестокой регламентации поведения верующих, присущей ортодоксальному иудаизму".

Дух любви и свободы, вдохновляющий христианство ("Ты свободен!" — этот призыв к человеку прозвучал в начале нашей эры из уст христианского мыслителя и подвижника Макария Великого), нашел живой отклик в душах новообращенных христиан. Русская крестьянская община продолжала традиции ранних христианских объединений. Она не знала мрачного наследия иудаизма: жесткой регламентации, обезличенного коллективизма, суровой иерархии.

Наш крестьянский мир не имел ничего общего и коммунистической общиной, продолжавшей традиции иудаизма. По сути он прямо противостоял ей. Это отмечал исследователь русской общины видный экономист князь Александр Васильчиков: "Наш русский мир имеет в виду не общее владение и пользование, а, напротив, общее право на надел каждого домохозяина отдельным (разрядка моя. — А. К.) участком земли; обработка сообща и дележ продуктов, хлеба или сена в натуре, при уборке, никогда не были в обычае русского крестьянства и совершенно противны мирскому быту". Исследователь прибавляет: "Общественные запашки, огульные работы всегда внушали нашим общинникам неодолимое отвращение, и когда подобные меры принимались помещиками или начальством (в удельных имениях и военных поселениях), то они использовались только по принуждению и часто с помощью насильственных средств, военных команд и экзекуций, а при освобождении крестьянства были совершенно отменены" (А. Васильчиков. Община против коммунизма. "Наш современник", № 7, 1994).

Иные теоретики социализма склонны сегодня видеть прямых наследников русской крестьянской общины в колхозах. Сторонники социализма любят говорить: не все было плохо при советской власти — смотрите, в Израиле не спешат распускать их "колхозы" — кибуцы. Действительно, не спешат. Потому что кибуцы соответствуют иудаистской традиции. Первые кибуцы были основаны в начале XX века — намного раньше наших колхозов, созданных по чужеземному образцу.

Сейчас часто повторяют емкую формулу В. Распутина: Россия к восьмидесятым годам "переварила" социализм. В сущности, того же мнения придерживается и Глушкова (что не мешает ей с ритуальным постоянством поносить писателя). Но при этом как бы забывают, что все семьдесят с лишним лет процесс был двусторонним: социализм "переваривал" Россию.

Эти не слишком приятные пищеварительные метафоры можно охарактеризовать с должной научной респектабельностью. Обратимся к разработанной Л. Н. Гумилевым теории этнических контактов. Ученый выделял три основных формы контактов: симбиоз, ксения и химера. Симбиоз — это сочетание этносов, при котором каждый занимает свою экологическую нишу, сохраняет национальное своеобразие. Ксения — когда этносы (коренной и пришельцы) живут изолирован-

но друг от друга. И наконец, химера. Она возникает, когда этносы-пришельцы прорастают на теле коренного, питаясь его жизненными энергиями и разрушая его. "Представители иного этноса, проникая в чуждую им этническую среду, начинают ее деформировать, — пояснял Л. Н. Гумилев. — Не имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще говоря — жить за его счет. Устанавливая свою систему взаимоотношений, они принудительно навязывают ее аборигенам и практически превращают их в угнетаемое большинство".

Примером государства-химеры ученый считал Хазарский каганат. По словам Гумилева, коренное население, давшее название государству, было в полном подчинении у иудеев. Правда, им была оставлена видимость национальной власти — Каган, назначавшийся из хазар. Но на деле страной управлял иудейский царь.

Попытка введения в научный оборот понятия государства-химеры оказалась взрывоопасной. Когда Ю. Бородай — пожалуй, самый глубокий и тонкий интерпретатор Л. Гумилева — попытался изложить идею учителя в статье, ее появление в 1980 году вызвало резкие санкции ЦК и привело к разгрому журнала "Природа", отважившегося ее опубликовать. Видимо, цековские идеологи прекрасно понимали, к а к о е государство напоминал давно сгинувший Хазарский каганат.

Русская история XX века, действительно, дает основание говорить, как в случае с Хазарией, о г о с п о д с т в е этноса-пришельца (или даже группы пришельцев) над коренным этносом и о его эксплуатации. Это то, о чем писал, обращаясь к еврейской общественности, В. Шульгин в известной работе "Что нам в них не нравится": "...Вы фактически стали нашими владыками. Не нравится нам то, что, оказавшись нашими владыками, вы оказались господами далеко не милостивыми; если вспомнить, какими мы были относительно вас, когда власть была в наших руках, сравнить с тем, каковы теперь вы, евреи, относительно нас, то разница получается потрясающая. Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов: они не имеют даже силы грызть свои цепи. Жаловались, что во время правления "русской исторической власти" бывали еврейские погромы, детскими игрушками кажутся эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинен за одиннадцать лет (книга вышла в 1928 году. — А. К.) вашего властвования!" (Ш у л ь г и н В. В. Что нам в них не нравится. СПб., 1992).

Огромная роль, которую играли евреи в революции и в первые десятилетия советской власти, общеизвестна. Это признают и серьезные еврейские исследователи (из старых — И. Биккерман, Д. Пасманик, из современных — М. Агурский, А. Абрамович). Во время и после войны правящая коммунистическая партия вроде бы "русифицируется". Но дух и приемы "отцов-основателей" остались неизменными. Посмотрим, кто занимал ключевые посты в ЦК на таком важнейшем направлении, как "художественная культура". Обратимся к последнему периоду деятельности КПСС. В 70—80-е годы отделом культуры ЦК, отвечавшим за работу с творческой интеллигенцией, долгое время руководил В. Шауро — белорус, сирота, воспитанный в ортодоксальной еврейской семье. Он прекрасно владел ивритом, дружил с М. Вильнером — и вообще почти четверть века (!) курировал отношения КПСС с компартией Израиля. Его заместитель А. Беляев, "демократическая" деятельность коего в годы перестройки, полагаю, хорошо известна, "руководил" литературой (отвечал за работу Союза писателей СССР). Свои антипатии к "русопятам", "деревенщикам", "шовинистам" он никогда не скрывал — и, напротив, всячески лебезил перед В. Катаевым, Г. Баклановым, А. Вознесенским...

А вот еще, казалось бы, малозаметная фигура из числа партфункционеров — С. Потемкин. В качестве многолетнего инструктора отдела культуры ЦК он курировал Союз писателей России, Московскую организацию писателей и ее журналы, в том числе "Наш современник". Помню, всегда приезжал в редакцию с "указивками" (его любимое словечко) и разносами. Неудивительно — направление журнала было ему чуждо. Сам русский, он исповедовал "последовательный интернационализм", был женат на еврейке.

Но не только евреи (и люди из их окружения) заполняли органы центрального аппарата. "Ввод в основные отделы ЦК националов", — формулировал И. Сталин важнейший принцип партийной политики (Соч., т. 5, с. 339). Сменяя друг друга, но не убывая в числе, "националы" работали в ЦК и Совмине до последнего дня существования СССР (и сейчас, после выхода республик из состава

Союза, они остаются в Москве и трудятся в руководящих органах России).

Впрочем, было бы неверным списывать все наши беды на засилье в центральном аппарате "инородцев". Их поведение было естественным: они заботились в первую очередь о своих национальных интересах — та же борьба с "русским шовинизмом" была мощным средством, позволяющим блокировать наши притязания — не только идеологические, но в первую очередь экономические. Наша беда заключалась в том, что у нас не было — нам н е п о з в о л и л и вырастить, сформировать духовно — руководителей, способных отстаивать интересы России и русских.

В результате многолетней целенаправленной политики Россию удалось-таки поставить в "более низкое по сравнению с другими" положение. Печальное отставание РСФСР от других республик буквально во всех жизненно важных сферах — от образования до экологии — к восьмидесятым годам стало очевидным для всех фактом. Именно в Россию первым долгом сажали вредные производства, железобетонные монстры индустрии — предприятия тяжелого машиностроения, химической, оборонной промышленности. Передо мной официальная Записка, подготовленная уже в наши дни администрацией небольшого города Центральной России: "Красноармейск является типичным примером монофункционального города. Все 4 градообразующих предприятия ориентированы на выпуск продукции для обороны. В городе отсутствовали предприятия, выпускающие какую-либо продукцию народного потребления".

Сколько у нас таких красноармейсков, "военных поселений", где жителям, вздумай они питаться делами рук своих, пришлось бы завтракать снарядами и обедать ракетами! В то же время в соседних республиках наращивали производство товаров народного потребления, так что накануне развала Союза оголодавшее русское население набивалось в электрички и за десятки, а случалось, и сотни километров ехало к прибалтам, белорусам, украинцам, чтобы запастись самым необходимым: колбасой, чаем, печеньем, даже мылом... Вот это и есть живая (настолько, что кулаки сжимаются от ярости) иллюстрация к теоретическим рассуждениям о государстве-химере.

Основные лозунги коммунистической теории — формирование единообразного "нового человека" и преобразование природы — типичное порождение государства-химеры. Они ориентировали на слом традиционных форм жизни и нравственных ценностей, деформацию ландшафта. Волга, этот символ величия России, — на всем своем 3960-километровом протяжении искалеченная выдающимся советским гидротехником Сергеем Яковлевичем Жуком, расчлененная плотинами на деградирующие стоячие водоемы, — лишь один из наиболее зримых примеров реализации этих установок. Другой пример, может быть, столь же выразительный, хотя и не такой масштабный — мы сами. Люди, отсеченные от корней национальной культуры. В 30—40 лет, после университета, открывающие то, что в исторической России было дано каждому с детских лет — согревающие и возвышающие душу обряды православия, красоту традиционного быта, очарование народных песен и сказок. И ведь это еще оптимистически сказано — открывающие: для большинства И. Кобзон и А. Пугачева являются народными певцами России, выразителями ее души...

Другие народы СССР также подверглись химерическому всесмешению. Однако нажим на них не был столь мощным и грубым, как на русских. Им удалось спасти многое. Традиции культуры, национальное мышление. Положение русских в "братской" семье народов образно и метко выразил И. Глазунов. Художник рассказывает, что как-то видел плакат, где изображены дети из всех пятнадцати республик. Все в национальных нарядах. И только русский мальчик — в трусиках и майке. И впрямь, мы остались не только без национальных одежд, но и без штанов. В прямом и переносном смысле слова.

Обращение к исторической конкретике позволяет яснее обозначить наши разногласия с Глушковой. Казалось бы, и ей в ее апологии социализма уместно было бы обратиться к рассмотрению процессов и событий прошлого. Но странное дело! Публицистка как будто боится красноречия фактов. Перечитайте ее многочисленные публикации: предмет спора, в сущности, интерпретация нашей новейшей истории. Однако об этих десятилетиях Глушкова умудряется почти ничего не сказать. Ее работы в о п и ю щ е в н е и с т о р и ч н ы! Только интервьюерам удается выжать несколько скупых фраз. Спросили про семнадцатый год — ответила о "жрецах катастроф". И сразу же эта к о н к р е т н а я характеристика

оказалась в противоречии с ее исторической концепцией. Представляете, какой взрывоопасный материал история — для любителей схем, начисто игнорирующих реальность!

Понятно, что на историческом поле Глушковой не выиграть спор со своими оппонентами. И она переносит его в область политической казуистики, где д о л ж н о е подменяет б ы в ш е е. А в последних статьях Глушкова вообще отказывается от ведения спора. Она предпочитает суд. Суд над писателями, где ей заранее уготовано место о б в и н и т е л я. Обвинитель избавлен от необходимости доказывать свою правоту. Его дело — обвинять, и Глушкова с упоением берется за эту работу.

Ее лексика, манера обращения, сам стиль ее мышления трансформируются. Перед нами уже не публицист, а судебный чиновник, поднаторевший в параграфах кодексов, чувствующий себя как рыба в воде в атмосфере судебных кабинетов. Грозные слова скрипуче разворачивают казенный строй: "Ввиду этого антисоциалистическая деятельность и пропаганда не могла и не должна была рассматриваться иначе, чем ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА. Под антисоциалистической и тем самым противогосударственной пропагандой я разумею ту деструктивную и огульную "критику социализма", в которой преуспели..." ("Молодая гвардия", № 1, 1995).

Увы, это не Крыленко и даже не Вышинский. Здесь нет подлинной страсти, веры в свою — если не правоту, то силу. Сталинские трибуны (при всей гнусности их ремесла) не боялись истории, жизни. Они широко зачерпывали из нее примеры, уверяя себя и слушателей — а случалось, и обвиняемых — в том, что ход событий подтверждает правоту победившего строя и никакие ухищрения противников не способны остановить его.

Глушкова механически повторяет пыльные казенные слова, как рядовой клерк, не верящий в их силу. Она боится столкнуться с реальными судьбами, с живым человеческим страданием. А если жизнь не удается укротить с помощью формул юридических, она обращается за помощью к эстетике. "Страдание, по Пушкину, входит в "цветущую сложность" (К. Леонтьев) жизни" ("Молодая гвардия", № 2, 1994).

А теперь, мадам, послушайте свидетеля подлинных, не литературных страданий. "Сколько горя мы пережили, русские: семья наша в раскулачку попала, в Казахстан спровадили. Потом раскумекали — неправильно раскулачили, а отца и старшего брата уже нет, не выдержали холодной зимы в голодной степи, в землянке. Мы с матерью вернулись, а скоро и война. После пришел: дом развалился, мать больна, во дворе пусто. В рыбаки пошел, огородом кормиться начал, женился, коровенку завели, а тут налогами душить начали. Веришь, детишкам молока почти не оставалось, все сдавали. А Хрущев воцарился, совсем корову пришлось ликвидировать: веди, говорят, в общественное стадо на совхозную ферму, там тебе будут молока отпускать... А теперь эта перестройка, все идет что-то кувырком..." Документальная запись слов колхозника из очерка В. Дроботова. Фронтовик, сталинградец, В. Дроботов не покидал провинцию. Он умер накануне юбилея Победы, но пока жил, был ближе к своим героям из толщи народной, чем дамы, теоретизирующие в столичных гостиных.

Конечно, не все было плохо и не всем плохо. Но таких вот историй, поездив по стране, я слышал немало. Горожане были избавлены от многих тягот, но они ложились на плечи крестьянства, деревни — Сталин еще в двадцатые годы сравнил ее с "колонией", призванной дать средства для развития города и индустрии. А ведь в деревнях до шестидесятых годов, когда крестьянам отдали паспорта и началась массовая миграция в город, жила большая часть населения России.

А теперь я спрошу Глушкову: о какой измене она талдычит? Об измене этому русскому колхознику? Но писатели-патриоты борются и за его равноправие. За его благополучие. За его правду, которую они поведали всему миру!

Или же эта правда и является, по Глушковой, свидетельством измены? Еще бы — противоречит курсу истмата и партийной истории! С каких позиций выносится приговор в "государственной измене"? С позиций народа или режима — наша история показывает, как часто они расходятся.

Мы добрались до сути второго обвинения, выдвигаемого Глушковой против патриотов. В формулировках она мстительно неистощима — тут и "измена", и "клевета", и "антисоциалистическая деятельность". Но насколько она красноречива в обвинениях, настолько сбивчива в определении своих исходных позиций.

Ч ь и и н т е р е с ы представляет обвинитель? Лишь однажды в выступлении на съезде писателей она отважилась сформулировать положение, лежащее в основе всех ее инвектив. В свойственной ей манере — от противного — Глушкова утверждает тождество режима — государства — Отечества. В "параноическом расщеплении" таких "исторических единств, как отечество и (пресловутый) режим (или система), русский и советский, Россия и империя", — обвиняет она писателей-патриотов. В расщеплении, как она выражается, "неделимого — на уровне клетки и ядра" ("Литературная Россия", № 27, 1994).

Позитивной отваги — наконец что-то у т в е р ж д а ю щ е й, а не отрицающей, как в обычае у Глушковой, — хватило всего на несколько строк. Вот ядро ее собственной концепции, золотое зерно, изроненное в схватке с противником. Логика, видимо, такова: режим, Отечество и народ едины, а потому, выражая несогласие с режимом, бунтарь посягает на страну и народ.

Всего несколько строк, рожденных желанием создать что-то свое, устойчивое, а не зыбкое, позитивное, а не разрушительное — но какая бездна невежества приоткрывается за этими строчками! Сформулированный в них принцип прямо противоречит русской общественно-политической традиции. Причем — редчайший случай! — противоречит равно взглядам "левого" и "правого" направления. "Левые" — революционные демократы XIX века, а вслед за ними революционеры века XX, склонны были рассматривать режим и общество (Отечество, народ) как непримиримых антагонистов.

"Правые" — славянофилы, главные оппоненты революционных демократов — не были столь радикальны. Однако и они не расщепляли, но различали — власть, тождественную с государством, и "землю" (чрезвычайно емкое понятие, объединяющее народ, общество и Отечество). Славянофилы не призывали к свержению власти и разрушению государства, но от разумной критики ее со стороны "земли", от борьбы "земли" за свои права никогда не отказывались.

В начале XX века наметился некоторый поворот общественного мнения (вернее, небольшой части интеллектуалов) в сторону более терпимого отношения к власти (в поисках взаимопонимания и компромисса с ней общества). Показателен в этом смысле сборник "Вехи" — впрочем, как и реакция на него большей части предреволюционного общества. Революции 1917 года положили конец робким поискам компромисса. С этого времени мыслящая часть общества, как в эмиграции (Ильин, Солоневич, Франк, Бунин), так и внутри страны (в дополнение к привычным именам назову М. Бахтина, Л. Леонова, А. Лосева и даже чуждавшегося политики В. Шукшина), резкой чертой отделяла режим от страны и народа.

Конечно, Глушкова вольна отказаться от этой традиции, вступить с ней в спор. Однако честный мыслитель не имеет права умолчать о разрыве, выдавать свою позицию за единственно возможную. И конечно, попытка обосновать нетрадиционную концепцию должна подкрепляться особенно обстоятельной аргументацией. Чего нет у Глушковой.

Пока мы говорили о теоретической стороне проблемы. Но есть еще и практика, реальная политика, о которой ни на минуту не следует забывать. С ней концепция Глушковой находится в еще более вопиющем противоречии, чем с теорией. Попробуем на минуту принять ее утверждение. Допустим, что режим, государство, Отечество, народ — все это нерасчленимое единство. Значит, сегодня противники Ельцина — это противники России, отщепенцы общества, враги Отечества. Проверили! Не желаете еще?

Но если исходное положение Глушковой несостоятельно, что из этого следует? Очень многое. Система обвинений, выстроенная ею в статьях, зиждется на одном-единственном "догмате" — о непогрешимости обвинителя. Опровергнете его — и все рушится, как карточный домик.

Словно из темного лабиринта попадаешь на свет. И вместо двоящихся контуров видишь явления, как и положено, ясно и четко. Режим — это режим. Не обязательно враг, но и не обязательно благо. По делам его да судим будет. Отечество — это Отечество, с большой (оно ведь у нас одно), а не с маленькой, как у Глушковой, буквы. Народ, русский народ для патриота — это мера всех вещей. Режим, государство, социальный строй — все имеет ценность не само по себе, а постольку, поскольку служит интересам народа. Режим может быть народным или антинародным. И борьба с ним может стать преступлением или благом.

Оставляя за собой рухнувшую идеологическую схему Глушковой, мы выходим из области раз и навсегда заданных данностей. В нормальную жизнь, где

каждое явление оценивается по его свойствам, с каждым случаем следует разбираться особо. И если перед лицом глушковских данностей Распутин и Михалков-Кончаловский — заведомые русофобы, а Шафаревич и Сахаров — диссиденты, в равной мере повинные в развале СССР, то в нормальном мире становятся очевидными важнейшие оттенки смысла, определяющие различия в позиции этих людей. Потому что горькие слова о народе Распутин говорит из любви (желая направить к возрождению), а Михалков-Кончаловский из ненависти (или просто холодной неприязни). Потому что Сахаров боролся со страной, а не с системой (к социализму он относился достаточно лояльно), тогда как Шафаревич боролся именно с системой, угнетающей страну.

Можно спорить с Распутиным, не соглашаться со взглядами Шафаревича, возразить ему: разрушили систему, а облегчения не почувствовали, еще хуже стало. Оспаривайте на здоровье — но взгляды самого Шафаревича, а не взгляды Сахарова, приписанные Шафаревичу! А то получается даже не советский суд, а суд из сказки "Алиса в Стране Чудес" или, иначе говоря, форменный дурдом.

Между прочим, в советских судах и в "компетентных органах" диссидентов (типа Сахарова) и националистов (типа Шафаревича) различали, а не путали, как Глушкова. Достаточно заглянуть в Записку, представленную в свое время Комитетом госбезопасности в ЦК КПСС (теперь она опубликована в журнале "Источник", № 6, 1994).

Читайте материалы, подготовленные Ю. Андроповым, и учитесь. А то что это Вы, Татьяна Михайловна, щеголяете специфическим лексиконом — "антисоциалистическая деятельность", "государственная измена", строите из себя профессионала — только народ путаете!

Ну, с диссидентами и националистами с помощью действительно компетентных органов разобрались. С "антигосударственной деятельностью" русской литературы тоже. Осталось обвинение в том, что в публикациях патриотических изданий зачеркиваются семь десятилетий советской истории.

Почему же зачеркиваем? Это только если глядеть с былой агитпроповской колокольни, семь десятилетий советской власти предстают как официальная летопись свершений и побед. Но если поглядеть с точки зрения простого человека, того же сталинградского мужика из очерка В. Дроботова, история видится иначе. Как естественное стремление человека к счастью, перемежающееся неудачами, несправедливостями, невзгодами, а они преодолеваются трудом до пота да бесшабашным русским весельем. Чтобы лучше пояснить мысль, продолжу цитату из очерка. Поведав свою невеселую историю, старый колхозник обращается к другу: "Дай-ка, Сашок, гармошку, что ли". И далее происходит самое главное — то, что озаряет смыслом и этот бесхитростный рассказ, и всю нашу трудную, без слез и крови не дающуюся большую Историю: "Он взял гармонь, уверенно пробежал заскорузлыми пальцами по клавишам. И рассыпались над Волгой частушки, и голос треснутый с вызовом зазвучал, со слезой:

Живы будем, не помрем,
И сыграем, и споем.
И сыграем, и споем,
Живы будем, не помрем.
Денег нету, песня есть,
Никому нас не известь".

Как широк и как в широте своей красив этот размах — от тоски к веселью, от подавленности к удали, избытку сил. От жалобы: "Сколько горя мы пережили", до победного жизнеутверждения: "Никому нас не известь". Вот она, правда жизни наших отцов, где было место всему — отчаянию и торжеству, поражениям и победам, в том числе той, что с заглавной буквы вписана ими в мировую историю — Победы 1945 года.

Да кто же осмелится вычеркнуть это из истории! И заклятому врагу такое не под силу. А русские писатели подавно не станут вычеркивать. Это они, деревенщики, авторы "Нашего современника", дали слово простому русскому человеку с его болью и удалью, это они увидели в нем не безгласный винтик системы, а участника истории страны, подлинного ее творца.

Да что же Вы пишете, Татьяна Михайловна! Это кто — Белов с "Канунами" и "Годом великого перелома", Распутин с "Пожаром" и "Живи и помни", Крупин с только что напечатанной у нас повестью "Слава Богу за все" зачеркивают отечественную историю? Пусть трудную, которую под силу выдюжить только

русскому человеку, но все равно дорогую в каждом моменте, в каждой минуте ее. Как дороги им судьбы их подлинно народных героев. Перекреститесь и отгоните от себя морок головных концепций, плод бессильной гордыни одинокого, ни в чем опоры не находящего ума. Рассейте наваждение и увидите то, что давно уже замечено другими: современная русская литература — это и есть история страны. Самая честная, прочувствованная история ее.

Написал и понял: мы наконец приблизились к развязке. Глушкова сама литератор. И нерв ее исторической концепции следует искать не столько в полемических статьях, сколько в стихах. Параллельно со своими "разоблачительными" публикациями Глушкова напечатала программное стихотворение ("Завтра", № 27, 1994). Тоже полемическое. Название "Современники" позволяет предположить, что оно создавалось в споре с авторами нашего журнала. И действительно, правда простого человека, которая у современных русских писателей определяет видение истории, отвергается с первых же строк:

У ненависти нет конца,
а только гневное начало.
Кто мстит за ссыльного отца,
что пал среди лесоповала.

Кто — за не знавшую любви
сестру ("И увели до света").
Кто — за расстрелянного деда
("Свинцом гремели соловьи").

За раскулаченных дядьев.
За опороченную тещу.
За полный черепами ров.
За окровавленную рощу.

Последние откровенно вялые строчки показывают, что обличительный порыв автора выдохся. Но перед этим — какая ярость клокотала в стихах! Какой "оригинальный" ход придуман Глушковой. Перед читателями, как в каком-то диковинном хороводе, проходят пары. Но хоровод — "брокенский", где тени убитых движутся вместе с живыми людьми, скорбящими о потерях. Глумиться над ними? Окарикатуривать? Их обвинять в ненависти? Не знаю ни одного автора, кроме Глушковой, способного на это! Из литературных ассоциаций приходят на ум разве дьявольские штучки Шатаницкого — персонажа леоновской "Пирамиды". Помните его шутку "в том же стиле" — отправить расстрелянного юношу "на побывку" к ничего не знающим о его судьбе родителям. "Цветущая сложность" жизни, обильно приправленная, по прихоти Глушковой, людскими страданиями, предстает здесь как зловонный омут.

А по контрасту со стонущими и проклинающими фигурками автор возносит в надчеловеческую высь образ победоносной Державы:

...И проклинает всякий год
с того семнадцатого лета...
А было имя ей — Победа,
стране, где маялся народ.

И шла, как водится, она
в крови по щиколотку: право,
нет у Побед иного нрава,
у них у всех сестра — война.

Итак: кровь — и Победа, кровь — и Держава, кровь — и Власть (кстати оказывается упомянутый тут же "кремлевский горец"). Поначалу Глушкова снисходит до успокаивающей человеческое благоразумие связки: кровь — война. Но движение стиха неумолимо выносит ее за пределы человеческого круга — слишком гуманного, чересчур, видимо, склонного к состраданию к тем, кто обречен корчиться внизу. И уже не нуждаясь ни в каких бытовых рациональных мотивировках, в финале торжествует Кровь — одно из тех начал, которые магически притягивают Глушкову:

Не на воде стоят державы —
лишь на крови-то и растут.

Вот она, яростными штрихами обозначенная историческая концепция Глушковой. Хотя ярость эта невдохновенна. Да и сама концепция не нова: державное

ковой. Хотя ярость эта невдохновенна. Да и сама концепция не нова: державное строительство не обходится без крови. И все-таки автор привносит в нее неповторимо личное: безумную абсолютизацию насилия и крови. Вместо обыденного: в том числе на крови растут, Глушкова с нажимом утверждает: "лишь на крови".

Стихотворение — не научный трактат. Многое здесь едва обозначено и может быть постигнуто только интуитивно. Рискну предположить, что именно за сверхчеловеческое величие, воздвигающееся поверх судеб, ломающее и преображающее их, проливающее кровь, питаемое ею (на крови — растут), Глушкова и любит Державу. Исступленной, болезненной любовью. Не просто Державу — Власть, тот самый режим, который она так отчаянно защищает.

Не жалеете Вы русского человека, Татьяна Михайловна. А ведь нас и так сравнительно немного осталось — на бескрайние евразийские просторы. Вместо предсказанных когда-то Менделеевым 500 миллионов подданных Державы, 300 миллионов в СССР, 150 — в России. Расточился великий народ. Видно, не "по щиколотку", а много больше крови выпустили из него равнодушные к чужим страданиям строители Державы. И вот она в руинах, а ее безлюдные леса, урочища, побережья некому обживать. Некому защищать от придвинувшихся к границам соседей.

Ваш "творческий" принцип, яростная наша обличительница, — уязви русского, унизь его. А наш принцип: русский — ободри русского; русский — помоги русскому; русский — защити русского. Вот, в конечном счете, где причина наших разногласий.

И что же случилось с так называемой читательской аудиторией, если "державостроение" на крови, безумно попирающее и человеческие чувства, и дальновидный государственный расчет, воспринимается кем-то как проповедь истинного патриотизма? Посмотрите — здесь полный разрыв с русской традицией — милосердной в своей основе. Вспомните "Медного всадника": Пушкин (которого всуе поминает Глушкова) дал грандиозный образ государственной мощи, торжествующей в своей надчеловеческой воле, но исполинский образ Петра не заслонил от поэта одинокую фигуру несчастного Евгения. Мудрый певец Империи не отказал взывающему о помощи человеку в том, в чем он больше всего нуждался — в сострадании.

Тяга к насилию — вот основной пафос программного стихотворения и многих статей Глушковой. Эта тяга, без сомнения, родилась в интеллигентской среде, как своеобразная интеллектуальная плесень, результат чрезмерно бурного, не находящего выхода брожения. Та же среда в начале века дала певцов и практиков насилия и распада, сверхчеловеков, прихотливо заявлявших: "Я люблю смотреть, как умирают дети".

Ее воодушевление над "полным черепами" рвом — сродни сатанизму, говоря языком церковным. Не случайно, не решаясь окончательно порвать с Православием (что разоблачило бы ее в глазах значительной части читателей), Глушкова уже не может сдержать ненависти к Церкви. Это выражается в ядовитом передразнивании дорогих для сердца верующего понятий и имен ("православствующая", "Христы", "Иоанны Кронштадтские" и "Серафимы Саровские").

С кем Глушкова выйдет на брань завтра, "покончив" с русской литературой? Видимо, с Православием. Мрачный пламень жжет ее изнутри, и, уже не в силах удержаться, она нападает на все, где видится отблеск духовного и светлого.

Любящая дочь России

Одним из первых музыкальных дисков нового года стал компакт-диск известной исполнительницы русских народных песен и романсов Татьяны Петровой. Сама природа наделила ее двумя замечательными дарами — русской красотой и удивительным, самоцветным голосом. “Чтобы стать Татьяной Петровой, которой мы сегодня восхищаемся со сцены, — говорит Валентин Распутин, — нужна была огромная работа, но благодаря ей и произошло полное счастливое слияние в одно целое: таланта, внешности и духовности”. Эти слова известного писателя помещены на буклете компакт-диска вместе с высказываниями о ярком таланте певицы Ильи Глазунова, Вадима Кожинова, Владимира Крупина, Никиты Михалкова, Александра Шилова.

Диск называется строкой из песни В. Панченко на стихи Н. Клюева “Вы деньки мои — голуби белые...” и выпущен фирмой САУНД (продюсер Виктор Кузин) при содействии мецената Александра Дубовицкого.

Поклонники певицы встретятся с замечательными русскими песнями и романсами: “Вот мчится тройка”, “Вечерний звон”, “По диким степям Забайкалья”, “Лучинушка”, “Очи черные”, “Ухарь-купец”, познакомятся с народным обрядовым пением и фольклором.

Большая часть песен записана в сопровождении оркестра русских народных инструментов Государственной телерадиокомпании “Останкино” под управлением народного артиста СССР Николая Некрасова.

Цена договорная Индекс 73274

“Наш современник”, 1995, № 3, 1 — 192